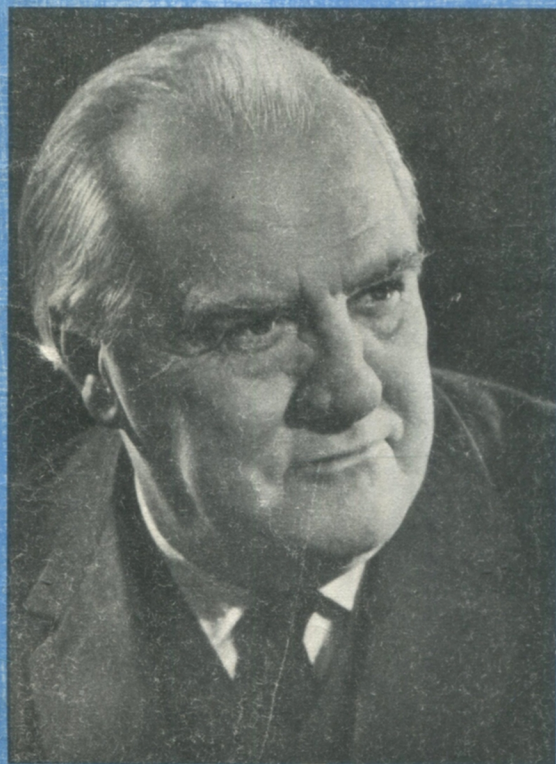


№14(588)·1967

1927 – 1967

# РОМАН ТАЗЕТА



НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ПОВЕСТИ





В июле 1927 года вышел первый номер «Роман-газеты». Он выглядел совсем не так, как нынешние номера. Это была газета большого формата, набранная мелким шрифтом. Отсюда и название нового издания, призванного продвигать в массы художественную книгу, сделать ее орудием политического и культурного просвещения трудящихся.

Владимир Ильич Ленин еще в 1921 году в статье «О работе Наркомпроса» писал о необходимости выпускать романы для народа в виде пролетарской газеты по невысокой стоимости. Ленинские принципы были положены в основу двухнедельника, названного «Роман-газетой». Созданная при содействии А. М. Горького, она стала живым воплощением ленинской мысли.

Писатель А. Серафимович отмечал, что «Роман-газета» делает исключительно полезное дело. Весьма положительно оценивал характер нового издания А. Фадеев, считая его нужным начинанием в деле продвижения художественных произведений к массовому рабочему читателю. Уже в первые годы издания «Роман-газета», утвердившаяся на позициях партийности и народности, установила теснейшую связь с читательскими массами. По образному выражению одного из авторов «Роман-газеты» Ю. Либединского, она «проломила стену, которая была между широкими слоями наших читателей и нашей литературой».

С тех пор прошло 40 лет. «Роман-газета» прочно вошла в духовную жизнь народа. Тот литературный ручеек, у истоков которого стоял А. М. Горький, собиравший творческих сил молодого Советского государства, превратился в могучую, полноводную реку, питаемую литературными всеми национальностей, населяющих нашу страну. Более четырехсот художественных произведений в 588 выпусках напечатала «Роман-газета», более трехсот авторов выступили с ее трибуны.

«Роман-газета» сделала достоянием миллионов крупнейшие произведения советских писателей, вошедшие в золотой фонд мировой литературы. В ней представлена почти вся советская классика. С появлением от времени обложке «Роман-газеты» на нас смотрят дорогие и знакомые лица: М. Горький, А. Серафимович, Д. Фурманов, Н. Островский, А. Толстой, Ф. Гладков, А. Фадеев, М. Шолохов, К. Федин, Л. Леонов. Лучшие произведения ветеранов советской литературы не просто выдержали проверку временем — они определили магистральную линию развития советской литературы и до сих пор продолжают оставаться на переднем крае борьбы за коммунизм.

Непрерывно расширяется круг авторов «Роман-газеты». На ее страницах печатаются произведения крупных мастеров художественного слова: А. Новикова-Прибоя, Ф. Панферова, Ю. Либединского, И. Ильфа и Е. Петрова, В. Василевской, К. Паустовского, В. Катаева, И. Эренбурга, Л. Соболева. И по-прежнему в центре внимания редакции — произведения высокого идейного накала и партийной страстности, покоряющие глубиной и правдивостью художественного отображения революционной действительности, написанные на генеральные темы советской литературы: Родина и революция, партия и народ, становление и укрепление Советского государства, патриотический подвиг советских людей на всех этапах его истории, торжество идей мира и коммунизма на всей земле, рождение и воспитание человека нового мира...

«Роман-газету» неизменно привлекали произведения, рассказывающие о славных трудовых делах рабочего класса, о крупнейших достижениях современной науки, о жизни колхозной деревни. Читатели по достоинству оценили «Поднятую целину» М. Шолохова, «Соты» Л. Леонова, «Бруски» Ф. Панферова, «Танкер «Дербент» Ю. Крымова, «Сердце на ладони» И. Шамякина, «Небит-Даг» Б. Кербабаева, «Журбинных» В. Кочетова, «Битву в пути» Г. Николаевой, «Знакомьтесь, Балуева» В. Кожевникова, «Иду на грозу» Д. Гранина, «Вишневый омут» М. Алексеева, «Стрежень» В. Липатова, «Утоление жажды» Ю. Трифонова, «Горькие травы» П. Проскурина.

«Роман-газета» держит в фокусе внимания главное, прогрессивное, неизменно сохраняя высокое уважение к непреходящим ценностям истории. Немеркнувшие подвиги Чапаева, Кожуха, Корчагина, Давыдова, Изаекова, молодогвардейцев, Мересьева и многих других героев революционной эпохи, воплощенные в яркие художественные образы, всегда вдохновляли на большие дела и свершения.

Грандиозную панораму Великой Отечественной войны воссоздают опубликованные в «Роман-газете» «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Василий Теркин» А. Твардовского, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Знаменосцы» А. Гончара, «Белая береза» М. Бубеннова, «Весна на Одер» Э. Казакевича, «Водоворот» Г. Тютюнника, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются» К. Симонова, «Эхо войны» А. Калинин. Эти поистине «сражающиеся» книги показывают неодолимую силу советского патриотизма, освободительную миссию советского солдата.

В «Роман-газете» печатаются и наиболее яркие произведения советских национальных авторов, проникнутые чувством «семьи единой». Читатель хорошо знает по выпускам «Роман-газеты» талантливые книги лауреатов Ленинской премии М. Стелмаха, А. Гончара, Ю. Смула, Ч. Айтматова. Популярны романы В. Лациса, Л. Первомайского, И. Авижюса, Ю. Марцинкявичюса и многих других. Публикация в «Роман-газете» произведений писателей самых разных национальностей способствует сближению братских литератур, их взаимному обогащению. Первый писатель чукотского народа Ю. Рыт-

(Окончание на третьей странице обложки).

# РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№14 (588)  
1967



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА

## НИКОЛАЙ ТИХОНОВ ПОВЕСТИ

### ВОЙНА

#### ПОВЕСТЬ

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Самые простые тела  
могут быть сложными.

*Химия*

1

#### Вперед

— Вперед! Вперед! Скоты, вперед! Не ленись!

Лежавшие солдаты немедленно вскочили, неуклюже согнувшись, пробежали между кустами и упали. Им ничего больше не оставалось делать. Приказ надо было исполнить сейчас же. Они упали. Это называлось перебежкой.

Лейтенант Рупрехт Шрекфус, называемый друзьями просто Руди, стоя на одном колене позади стрелковой цепи, был наполнен азартом неопытного и прирожденного воина. Руди Шрекфус мог всерьез говорить только о войне. В другое время он был просто служакой, был лейтенантом. Он играл в карты, делал долги,

жил не по средствам, хвастался автомобилями, которых не имел, рассказывал о своих конюшнях, которых у него никогда не было. Если иной раз он загонял солдата в госпиталь, исполосовав по всем правилам, то это происходило от вспыльчивого нрава, не больше.

— В больших семьях, — говорил он в оправдание, — дети тоже иногда страдают от случайного бессердечного отношения родителей, подмастерья бьют учеников, чтобы научить их уму-разуму, а мужа — жен, чтобы направить их на правильный путь. Все в этом мире благополучно, особенно в такой боевой летний день.

Ему нравилось сегодня все: жаркое солнце, кусты, в которых залегла его цепь, каски в защитных зеленых повязках, небо, сухие rocket перестрелки, бутафорские удары орудий, скакавшие на горизонте ординарцы, свистки, трещотки, заменявшие пулеметы, вся пестрая бестолочь маневров, — это все-таки были только маневры, а не война, которую он обожает и которую он никогда не видел.

— Форт синих смолкает... Внимание, Руди, — закричал ему товарищ, махая биноклем,



На свете есть дисциплина и армия. Деревня сеет для нее хлеб, мастераские шьют обмундирование и обувь, заводы поставляют оружие и снаряды. Да здравствует новый шанцевый инструмент, новые матовые ремни на мундире и нововведение — колючая проволока.

Ему сигнализировали с левого фланга. Он вскочил.

— Вперед! Вперед!

Солдаты бежали, не удерживая в голове устава. Они бежали слишком открыто.

— Владек! — Руди выходит из себя. — Нагни голову, винтовку не так высоко. Славянский гусь! Познанская требуха! Владек, тебе я говорю!

Немного утомительно вести такой образ жизни несколько часов подряд, но зато форт будет сейчас взят. Если судить по упорному насадному шуму пушек и по трещоткам, изображающим пулеметы, по густоте цепей, ползающих в траве, сзади которых ползают такие же, как Шрекфус, лейтенанты, — форт окружен.

Цепи обрастают восклицаниями. Неожиданно перед ними возникло то, к чему они стремились все утро: серая стена гласиса, бруствер, бойницы. Над всем этим серым, как макет, видением стало молчание. Неприятель расстрелял все патроны.

И тогда Руди крикнул последний раз, уже ни с кем не согласуя:

— Вперед! Штыки!

У него в голове плескала картина побоища, равного штурму Меца или Седана. Это было простиительно: он не ел с утра. Мечты голодного человека, как известно, болезненно обостряются.

Сейчас его стрелки ворвутся в укрепление, его будет благодарить за службу господин майор Хольст, к нему навстречу выйдет комендант и отдаст саблю. Гордые, Руди! Сколько разговору! Сколько воспоминаний! Великие германские солдаты добежали до рва, спустились в ров и остановились в недоумении.

Вместо белого флага на стене форта появились пожарные. Штурмующие растерянно перелядывались. Штурм прервался. Это комедия или война? Почему здесь пожарные с каничками щеками и большими саперными лопатами, в которых вот-вот появится усмешка? Но нет, она не появляется. У них в руках брандспойты, направленные на победоносных солдат Руди.

— Что это значит? — закричал он в бешенстве. — Что это значит?

На форту раздалась команда, и брандспойты начали извергать громадные потоки мутной воды. Водяные кулаки ударили в каски, в лицо, в плечи, в грудь. Солдаты бросали винтовки, падали, спотыкались, фыркали, как лошади, и бежали изо рва, да, они бежали, мокрые и униженные, мутная вода была им в спину. Это было вне правил игры, это был анекдот, и

о нем долго будут говорить во всех военных клубах от Рейна до Вислы. Сам Руди был мокрым с ног до головы. От утреннего изящества не осталось и следа.

— Что за животное придумало пустить в дело пожарных?

— О, за это ответит комендант, даже если он сошел с ума!

— Где посредник? Куда он девался? Где же, в самом деле, посредник?

Форт весь, как на пожаре, сверкал пожарными касками. Брандспойты неистовствовали. Атака была явно отбита. Ни один солдат не приближался к гласису. Они толпились за сценой. Они ругались вполголоса, стреляли в воздух, обтирали винтовки и выжимали штаны. Руди почти плакал. Вода стекала за гордый воротник. Мундир был испорчен, матовые ремни поблекли. Точно Руди упал с понтонного моста в реку и его выудили багром за ногу. У него не было слов — он метался среди мрачных и мокрых стрелков.

Через кусты шел господин майор Хольст, и с ним шел посредник. Появка на рукаве делала его почти иностранцем, он был на особом положении. Он был неуязвим и бессмертен. Посредника нельзя было ни убить, ни взять в плен. Он же на каждом шагу наносил армии громадные неприятности. Ординарец вел его лошадей в поводу — рыжего гунтера с белым пятном на лбу.

— Имею честь доложить... — Руди не находил голоса, он готов идти под арест сразу, он понимает, что его мокрый вид шокирует армию. Случай слишком необыкновенен. Первый раз в германской армии на императорских маневрах случается такая дикая выходка.

— Отбой!

Ворота форта раскрылись. Склонный к полноте человек с фиолетовым лицом и надутыми щеками, согнув нос, как клюв ястреба, выходит в сопровождении своего штаба. Посредник кричит ему, не скрывая злорадства:

— Отличная защита! Остроумнее не придумаешь! Благодарю вас! Вы открыли Америку.

Мокрые солдаты и офицеры толпятся сзади. За плечами коменданта выстроились пожарные каски. Люди шептались не зря. Уже комендант получил прозвище «Саксонского клоуна». Почему — не знал никто, но всем нравилось прозвище.

Фиолетовое лицо коменданта начинало ясно синеть, только глаза, расширенные волнением, смотрели твердо в лицо посредника. Может, он решил выкинуть еще какой-нибудь номер, которого не придумает никакой полевой устав.

Господин майор Хольст хочет начать говорить. Господину майору не удается начать говорить, потому что откуда-то принеслось слово, действующее, как удар тока, — мокрые солдаты застыли в рядах, мокрые офицеры преврати-

лись в изваяния, посредник бросил руки по швам, его лошадь перестала перебирать ногами. Форт замер. Каски пожарных перестали блестеть.

— Кайзер! Внимание! Кайзер!

Серебристая шинель плотно обтянула плечи мерно шагавшего человека. Тяжелые глаза не мигали. Бронзовое лицо, на котором щетинились плоские усы тигра с копытообразными концами, чуть скуластое, обращало окрестности в неподвижность. Все застывало, терялось и тянулось перед этим идущим в звонком цокоте шпор фантомом. Он придумал себе все: походку, биографию, Германию. Он хотел придумать судьбу. Но всякий раз, когда он заносил руку, глаза начинали мигать, и это был плохой признак. Каждый раз такое волнение имело название. Название последнего волнения было Агадир. Из-за этого маленького африканского сухого имени он мог двинуть армию, но глаза замигали.

Он не был пророком, хотя в поисках судьбы его и тянуло на восток. Его тянуло правильно. Судьба лежала на востоке. Там она имела имя, место и дату. Эта судьба называлась Са ра е в о. И еще она называлась: эрцгерцог, но сейчас этот эрцгерцог гулял в Ишле и имел маленький насморк, только маленький насморк. Человек в серебристой шинели шел прямо к Шрекфусу, не сворачивая никуда. Собственно, он шел к армии, ибо из всех причуд он любил одну игру больше всех, эта игра была армия, это была любимая игра, ради нее существовало все. Если бы отняли от него ее — блестящую, муштрованную, белощтанную, сине-зелено-черно-мундирную, с громкими пушками, с храпом лошадей и вытянутыми по нитке рядами, — что бы ему осталось в жизни?

Правда, в жизни он хотел быть всем: художником, артистом, писателем, инженером, профессором, моряком, путешественником, — он рисовал картины — плохие, читал экспромтом стихи — плохие, ездил в Иерусалим — неудачно, писал статьи — неудачно, давал советы фабрикантам — легкомысленно. Он одевался в одежды разных профессий, он перепробовал все, от профессорской мантрии до синего пиджака яхтсмана — и все это было не то. Серебристая шинель, высокие сапоги и стек — сабли он не любил, он не владел правой рукой, она была как мертвая, сухая, глупая рука. Шинель, сапоги и каска — это шло к нему больше всего, и это называлось еще: война. И разве не для войны он готовил все эти живые игрушки, которые когда-нибудь двинутся, подчинятся красным молниям штабных карандашей на картах Франции, Бельгии, Польши, Англии?

Разве не для него исползал лейтенант Руди Шрекфус все поля и кусты вокруг этого несчастного форта? Разве не для него пожарные не пожелали воды для защиты? Разве не для него сошел с ума комендант?

Кайзер приближался с огромной свитой. Золотоклетчатые мундиры гусар, черные сияющие дощечки на уланских киверах, черное сукно артиллеристов, расцветенный штандарт, монументальные адъютанты, зеленые мундиры пехоты, множество палашей и шашек и причудливых шпор сопровождало его.

Комендант форта был синий, точно его поразила молния. Он был синий весь — до кончиков пальцев.

Кайзер прошелся глазами по мокрым каскам и мундирам. Посредник знал, что первый вопрос будет обращен к нему, но он ошибся.

Кайзер подошел к коменданту и остановился. Он любовался пронзительно синевой комендантского лица, он любовался верно поданным страхом боевой машины.

— Комендант, — он протрубил это слово, и бронзовые щеки его стали еще суше, — капитан.

— Отто фон Штарке, ваше величество, — прерывающимся голосом ответил комендант.

— Ты, кажется, наколдовал здесь дождь?

Нет, Руди не хотел бы быть на месте коменданта. Проклятое сукно, если его хорошо пропитать водой, оно долго удерживает холод. Руди незаметно ежился.

— Ваше величество, — без запинки кричал в иступлении Штарке, собрав все морщины на лбу, — как офицер резерва германской армии я должен непрерывно совершенствоваться в способах ведения боя. Израсходовав все патроны и все меры к защите вверенного мне форта, я прибег к способу, позволившему мне отбить атаку превосходящих сил противника. Принимая во внимание условность маневренного боя...

Штарке задохся. Кайзер ударил стеком по сияющему сапогу. Это был жест из его коллекции жестов, и все знали, что этот жест означает недовольство.

— Да, принимая во внимание условность маневренного боя, ты дал им холодный душ. Плохой психолог.

Комендант снова обрел голос. Он уже ревел от волнения и преданности:

— Принимая во внимание условность маневренного боя, я приказал поливать ряды атакующих струями горячего масла.

Тут наступила тишина. В этой тишине водной анекдот перерастал в нечто большее, но было еще время оставить его анекдотом. Все зависело от положения стека. Стек поднялся, но не ударился о сапог, он повис в воздухе, потому что рука уперлась в бок и сломалась в кулак. Этот жест обозначал бодрое раздумье.

— Возможно ли это? — сказал кайзер. — Возможно ли жечь горящим маслом атакующие войска?

Анекдот умер. Осталось недоумение. Осталось ответить на безумный, собственно говоря,

вопрос по всем правилам субординации, но вся свита не знала, что ответить. Кивера и каски зашептались. Анекдот возвращался снова во всей силе, теперь он делал смешным и кайзера.

И тогда кайзер, взглянув в глаза коменданту, скороговоркой сказал:

— Благодарю тебя за службу, — и повернулся, как на шарнирах, к свите, не успевшей даже переглянуться. — А теперь мы разберем маневр, господа.

Сухο треснули ножки складных стульев, полевых столов и пюпитров, зашуршали карты, извлекаемые из полевых сумок и портфелей. Наступил торжественный час итога.

Штарке обтирал лоб и сгонял морщины, дрожа, как заведенный мотоцикл. Плотный и очень высокий офицер взял его за руку, прибрилиз тонкие бритые цинковые губы к его уху и сказал отчетливо:

— Вы изложите ваш проект точно и возможно скорее и вручите его мне. Понятно, капитан?

## II

### Мудрецы

В доме профессора Бурхардта гости засиделись очень поздно. Виноват в этом был сам хозяин. Он говорил больше всех.

— Все обстоит благополучно, — между прочим говорил он, — средняя продолжительность жизни увеличивается, число неизлечимых болезней падает, конституции государств год от году улучшаются. Все это делает закон превращения энергии, закон сосредоточения человека на пользу государства. Люди, занимающиеся сразу несколькими профессиями, ощущаются как случайности...

— Однако, — сказал влюбленный в свое дело Фольк, историк культуры, — однако если мы вспомним тысяча трехсотые годы, то из пяти самых великих художников: Чимабуэ, Иоанна Пизанского, Арнольфо, Андрея Пизанского и Джотто — четыре были одновременно живописцами, архитекторами, скульпторами, временами даже инженерами. Позднее живопись поглотила все. Законы Рима — Амстердама — Фьезоле, живопись, светотень и колорит. Рафаэль, Рембрандт и Фра-Анжелико охватили мир. Германские музеи приняли их в свои хранилища. Вы хотите сказать, что реализм завладел жизнью. Посмотрим же область той же живописи. Ван-Эйк был, несомненно, первый реалист. Конечно, не итальянцы. Итальянцы слишком много видели руин и старых статуй, чтобы быть реалистами до конца. Земля, которая под своим тонким слоем хранит то обломки барельефа, то отбитую руку, не может ощущаться до конца реально. Нидерландцам было легче. Там уверенно выставляли богатые

купцы и их жены свои некрасивые лица и тяжелую роскошь одежды на картинах. Это, конечно, реализм. Но на тех же картинах Ван-Эйка, Петера Кристоуса мы видим выпуклые зеркала, висящие на стене, в которых отражаются фигуры, удлинённые и искаженные, а у Петера Кристоуса отражается даже то, чего нет на картине, — отражаются улица и фигура на ней. Таким образом, выход из реализма был найден четыреста лет тому назад, и вот возьмите путь от этих выпуклых зеркал до Кандинского и футуризма. Автопортрет Дюрера. Вы видите даже отражение окна в глазах, и все-таки это не реально. Если форма доведена до полной чистоты, то это уже не реально. Значит, футуризм от бессилия? Может быть, и да. Я хочу сказать, что пути искусства исчерпаны, нужно начинать сначала. Великое потрясение войны может возродить германское искусство. Рост реклам и развитие промышленности вряд ли оплодотворят наших художников. Я могу учить, как историк, только прошлому. Правда, мы имеем еще некоторых изумительных мастеров, но это умирающее племя. Требуется свежая кровь.

Бурхардт взглянул на свои стены. С них смотрели на него зализанные портреты Лембаха, наивные аллегории Морница Швинда, тяжелобедные валькирии Каульбаха, толстозадые кельнерши, выдаваемые Штуком за вакханок.

— Мы сами живем в могучий век, — сказал Бурхардт, — и я не жалею, что не живу во времена Джотто или Генриха Птицелова. Если даже на целые столетия останется действующий термин — то содержание его изменяется совершенно. Читали вы послание папы римского католическим рабочим союзам? Он, конечно, против христианских союзов, где объединены католики и протестанты, и он решительно против всякой экономической борьбы. Воображаете, какая сумятица в рядах центра и какая свалка в христианских союзах, где одни спешат целовать Ватиканскую туфлю, а другие плюют на нее. Это уже не крестовые походы. Папа подчинен статистике. Статистика обняла все. Германия учитывает каждую мировую цифру и делает вывод. Я бы не сказал, что это вывод убийственный для нее. Мы можем смотреть на будущее самыми светлыми глазами...

— Простите, уважаемый профессор, — слегка покраснев, громко сказал Эрнст Астен, называемый друзьями за свою женственность просто Эрн. При его молодости бросаться в атаку на Бурхардта было почти неприлично, но пусть смотрят Алида и господа профессора, он должен напасть. — Я хочу сказать, пока массы находятся на границе нищеты, говорить об оптимизме странно. Возьмите рост самоубийств. Они не только не прекращаются, они неизменно растут. А смертность детей? В Гер-



мания есть области, где в первый год умирает около половины новорожденных.

— Я вам могу сказать, что это значит, молодой человек, — ответил Бурхардт, — не будем только горячиться. Индустриальное развитие буржуазного общества стоит в самой близкой связи с увеличением самоубийств. Рост эгоистических стремлений, страшная борьба за материальное благополучие, голод и нищета, ненасытная жажда наслаждений, пониженное чувство государственной ответственности и патриотизма, особенно среди неимущих...

— Добавьте бессилие личности в лабиринте капиталистического города, — сказал Астен, — угнетение рабочих...

— Вы слишком молоды, чтобы перебивать меня. — Бурхардт повысил голос. — Все, что я перечислил, я знаю как ученый. Бессилие личности я не исследовал. Это меня не интересует. Я даже скажу вам цифры, очень характерные для успокоения вспыльчивых и увлекающихся молодых людей, — в Германии на сто женских самоубийств из-за любви приходится только двадцать три мужских. Почему же мне не быть оптимистом? Закон жизни отбирает сильнейших. Мы, германцы, не боимся воздействия частных фактов. Мы воспитываем свою волю не сомнительным самоистязанием славян, не арифметической истиной латинян и не спортивной мускульной логикой англичан. Вспомните французского кумира Вольтера, говорившего, что в Лондоне со религий в одном соусе, а в Париже со соусов и ни одной религии. У нас есть религия, у нас есть страна, у нас есть мировая задача. Что же значит частные факторы? Молодой человек, — Бурхардт усмехнулся, — в европейских государствах смертная казнь, как правило, производится при помощи гильотины; так будет вам известно, молодой человек, что в Пруссии до сих пор употребляют простой топор. Простой топор. И я уважаю палача не за его искусство, а за то гражданское мужество, какое дает ему такую уверенность, что его рука не дрожит. Германский палач воспет германской поэзией, и в этом есть нечто от национального духа, как мы его понимаем. Я только объективен, как должна быть объективна наука. Последний съезд криминалистов признал смертную казнь в системе европейских законов совершенно необходимой. Наука знает только последовательность, молодой человек.

— Позвольте мне, господин профессор, — сказал юноша с квадратным лицом, иссеченным шрамами. — Я слышал недавно доклад уважаемого доктора фон Троппау о том, что Америка открыта не Колумбом, а германским выходцем Христианом Мюнстерским, отплывшим с дружиной исландских братьев Зенно из Рейкьявика задолго до Колумба. Мы сидели и слушали, потеряв головы от гордости.

— В этом нет ничего невероятного, — сказал Фольк, — если это даже и легенда, то вполне справедливая. Латинская раса в области действий всегда приходит на готовое. Возьмите хотя бы мысль Наполеона о создании по существу Карловой империи. Самая большая легенда двадцатого века — это сегодняшняя Германия. И когда эта легенда ворвется в жизнь, это будет самое величественное зрелище века. Конечно, не надо понимать меня вульгарно. Мы не будем подражать черноморскому князьку, который, чтобы сварить себе яйцо на завтрак, поджиг Европу. Нет, речь идет об обновлении мира через германскую культуру...

— Это несправедливо, уважаемый профессор, — сказал уже совершенно красный Астен. — Если все народы будут так превозносить свое, то они окажутся в ловушке, ослепленные ненавистью друг к другу; к счастью, этого пока нет. Я прошу прощения, что говорю так резко.

Бурхардт ответил:

— Народы, молодой человек, ничего не значат: значат люди, стоящие во главе народов, — вожди народов и избранные. А народы разны сами по себе, и мы всегда горды тем, что мы германцы, а не англичане. Эти люди, пробуя выдать себя за римлян, не больше как величайшие сутяги, торгующие даже свободой. Нынешняя продажность политических партий Англии общеизвестна. Сесиль Родс купил английскую армию для завоевания Трансвааля, оплатив все издержки из своего кармана. Страна, которая тратит ежегодно на охоту за лисицами ради удовольствия и на скачки двести пятьдесят миллионов марок, не может быть страной, которая обновит мир. Британское презрение, которое позволяет англичанам гнать в могилу целые народы, нескороенимо. Я не говорю о таких мелочах, как то, что в суде англичанин будет всегда прав против цветного; я не говорю о том, что любой английский мальчишка может в шену вытолкнуть владетельного индийского князя со всем его багажом из вагона. Я говорю о рабском труде и о систематическом голоде. За сто лет войны всего мира пожрали пять миллионов человек, за десять лет, с девяноста первого года по девятисот первый, хроническое голодание стоило Индии девятнадцати миллионов. Вот система управления, достойная подражания.

Астен сказал на ухо Алиде:

— Мне немного страшновато от нашего уважаемого Бурхардта...

— Эрна, не кажется ли тебе, что ты ведешь себя сегодня почти смешно? Почему ты все время вскакиваешь и перебиваешь? Я не понимаю тебя. Научись воздерживаться когда-нибудь...

— Когда-нибудь научусь, — сказал Эрна, — но я не могу, я не могу, когда они так спойконы, как будто все в том, чтобы сидеть

и разговаривать, и какую они накапливают ненависть!

— Перестань шептать, на нас смотрят.

Профессор Бурхардт не смотрел на них. Он внимательными глазами окинул собрание. Маститый теоретик искусств сидел, нагнувшись над машинкой для обрезывания сигар, и тщательно ее изучал. Юный корпорант с квадратным лицом смотрел глазами бульдога, готового завизжать. Молчаливый художник, не сказавший за весь вечер ни одного слова, рассматривал швиндовского рыцаря, как будто узнавал в нем знакомого и еще не решил: поклониться или оставить вопрос открытым. Две молодые женщины рассматривали альбом. Советник магистрата старательно переваривал его речь. И тогда Бурхардт заговорил снова:

— Есть народы, сохранившие в зрелом своем возрасте привычки детей, вошедшие в основную исторический их характер. Они упорно их держатся и по временам платятся за это. Таковы хотя бы японцы. Они упрямы и нелогичны, смертельно капризны и непонятны нам. Один мой ближайший друг, профессор, недавно экзаменовал одного представителя этой нации. Молодой японец хорошо знал немецкий язык и очень плохо свой предмет. Словом, японец провалился на этом экзамене и исчез с горизонта. Прошло некоторое время, и мой друг получил следующее странное письмо от японской девушки — сестры этого студента. В письме стояло буквально следующее: «Вы опозорили нашу семью и принесли ей несчастье. Я кончаю самоубийством и жду, что вы сделаете то же самое».

Слушатели не знали, как принять это сообщение. Эрнст хотел встать, но Алида остановила его. Бурхардт смотрел холодно, как всегда. Казалось, он был даже рад, вызвав некоторое замешательство и смущение среди гостей, более глубокое, чем он предполагал. Никто, кроме корпоранта, не выразил своего мнения. Корпорант дико усмехнулся и изобразил японца, скосив глаза. Бурхардт равнодушно продолжал:

— Что касается Колумба, то среди наших ученых есть люди, о коих следует говорить с непокрытой головой. Никогда еще страна не имела такого количества умных и целеустремленных голов, как сейчас. Я упомяну только моего друга профессора Фабера, работы которого в области химии можно назвать путешествием в новую Америку. Благотелии человечества — явление довольно редкое, но те изыскания, которые произвел этот человек, и те открытия, какие он уже имеет в руках, способствуют делу мирного процветания больше, чем десять Гаагских конференций. Вот пример германского ученого. Он никогда не отказывался подвергать свою жизнь опасности, если опыт приносил добрый результат. Профессор

Фабер обещал зайти сегодня после научного диспута. Возможно, что позднее время...

Дверь отворилась так, как будто человек слушал речь Бурхардта и решил прервать ее самым недвусмысленным образом. В комнату вошел гость, очень мягкий, улыбающийся, осторожный и вполне светский.

— Бурхардт, ваша речь походила слегка на разогретое мороженое, — сказал он, поправляя манжеты.

Бурхардт дружески расцвел: все знали, что профессор Фабер, большой любитель острот и шуток, сам не умеет острить.

### III

#### Молодость

Скверный аппарат превращал экран в арену действия смешных призраков. Люди на нем то становились похожими на серые макароны, то расплывались в серые блины. При каждой любовной сцене зрительницы ахали и говорили: «Чудесно, чудесно», — склоняясь друг к другу. Более простые щипали друг друга от восторга.

После драмы запрыгала и засияла разноцветная феерия. Толстый добродушный дровосек натыкался, возвращаясь домой, на сморщенную маленькую заморажающую старушку, лежащую в сугробе под грудой хвороста. Дровосек звал жену, размахивая добродушными руками. Жена помогала ему привести разноцветную заморажающую старушку в разноцветный мирный их домик. Они кормили ее сытным ужином, отдавали ей свою постель и отказывались от медных денег, предлагаемых старушкой. Старушка плакала, трясла своими локотьями и целовала им руки. Потом супруги засыпали. Приходило розовое с синим утро. Старушка, загадочно улыбаясь, подкрепившись кофе и сдобными булками, вела супругов на снежную поляну, где цвели среди зимы необычайные цветы. По залу шли вздохи. «Это чудесно», — перекачивалось от стула к стулу. Такие цветы увидишь не в каждом цветочном магазине. Старушка благодарно набирала огромный букет невероятных цветов и дарила его супругам. Они улыбались и бежали домой, обрадованные на всю жизнь. Старушка смотрела им вслед недолго и превращалась в фею и роскошно исчезала среди громадных пышных клумб. Качались лилии. Дровосек вносил цветы в свою комнату и ставил букет на стол. Из цветов вываливались два толстых, как поросята, младенца. Супруги подымали руки к небу и благодарили судьбу. Потом шла хроника. Летел граф Цепелин, и ломались автомобили на гонках в Реймсе. В зале вспыхнул свет. Фисгармония дребезжаще оканчивала свой

каторжный урок. Многие сморкались. Многие дожевывали бутерброды и шоколадные плитки.

— Хорошенькая благодарность, — сказал Эрн, — подкидывать младенцев. Идем отсюда, Алида, ни одной минуты больше в этом жутком месте.

Они, смеясь, вышли на улицу. Они долго гуляли по городу, не отдавая себе отчета, какими улицами они ходят, им не хотелось оставаться.

— Смотри, какие звезды, Эрн: ведь это же Сириус, а это, несомненно, Орион; как жаль, что мы рождены не под ними. Если бы мы родились под этими звездами, мы бы не были такими маленькими. Мы были бы, как...

— Как профессор Бурхардт, — сказал Эрн, — или как профессор Фабер со всезнающей неподвижностью. Воображаю, какую Америку он откроет и какая это будет неподвижная и, как он, убийственная страна, несомненно, с мягким климатом.

— Почему мы не могли смеяться там, в кино, как все, и почему я не хотела говорить «чудесно», и почему мне на вечере у Бурхардта временами хотелось плакать? Тебе не кажется, Эрн, что случай с японским студентом был не у ближайшего друга Бурхардта, а у него самого? Ты помнишь, как он медленно, с удовольствием рассказывал о самоубийстве той девушки? Эрн, неужели она в самом деле покончила с собой? Как ты думаешь?

Они стояли на берегу пруда в парке. Иней висел на деревьях. Пруд был покрыт тонким, как лимонная кожура, льдом. Эрн поднял маленький обледенелый камешек и пустил его рикошетом. Камешек со странным жалобным визгом долго подпрыгивал и бежал по льду, пока не исчез в синем тумане.

— Я думаю, милая, что профессор Бурхардт все рассказывал о себе. Разве он может рассказывать о чем-нибудь другом? Но от этого не легче. Не правда ли, моя маленькая?

Они прошли вдоль пруда и остановились у незамерзшего заливания. Утки темной стаей теснились на воде, им было холодно, они вытягивали шеи, как бы высматривая гостеприимный ночлег. Эрн подошел к самой воде и сказал маленькую речь:

— Дорогие птицы! Вы никогда не будете профессорами, и в этом ваше счастье. Уважаемые утки, вы единственные в этом городе существа, не чувствующие страшной тяжести патристизма, кризисов и угнетенной личности. Вы ничего не знаете, чудные малютки. Вы не знаете, что преданный социализму студент Эрн Астен, враг предассудков, вчера дрался на рапирах с корпорантом новой Германии. Эрн Астен, не любящий корпорантов, и дузлей, и шрамов на лбу и на щеках, и рассеченных носов, проколол руку своему противнику случай-

ным ударом, примите это к сведению, почтенные птицы. Почему же корпорант дрался со мной? Только потому, что он не вынес моего замечания, что Америка открыта не германцем. Я обмотал свое туловище и ноги толстым пеньковым канатом, в кожаном переднике, с предохранительными очками на глазах, со специальным щитом, закрывшим сердце, сердце, принадлежащее этой девушке, а подставил свой лоб и щеки ударам рапиры и остался жив, дорогие птицы. Я стою перед вами и клянусь вашим зимним оперением, что этого больше не будет...

Утки закричали.

— Ты глупый! — сказала Алида. — Мне холодно, пойдем.

Но они ходили еще долго по аллеям и разговаривали, прежде чем у Алиды замерзли ноги и они подошли наконец к дому Штарке.

— Что делает твой дядя теперь? — спросил Эрн, смотря на освещенные окна.

Она удивленно посмотрела на него.

— Что он делает? Одно и то же. Он тушит пожары день и ночь и ездит по всему городу. Он все-таки брандмайор.

— Кто-то мне говорил, что он изобретает нечто вроде византийского огня.

— Ах, правда, у него есть работа, которую он прячет от всех нас. Да, он что-то изобретает. Но ведь ему скучно без дела, а потом, он все время повторяет, что надо работать на пользу общества.

Она замолчала. Они стояли и никак не могли расстаться.

В доме залаяла собака.

— Это наш Бек, — сказала Алида, — прощай. Он чувствует, что я пришла.

Они поцеловались на ходу, и Алида вбежала в дом. Большой пес положил ей лапы на колени. Проходя мимо гостиной, она задержалась на минуту. В гостиной стоял ее дядя, брандмайор Отто фон Штарке. Он стоял вытянувшись, как на параде. Перед ним, как черный столб, красовался офицер в наглухо застегнутом сюртуке. Они оба скрылись за дверьми кабинета. Алида вспомнила, что портрет этого военного она видела неделю назад на странице еженедельного популярного журнала, только там он был в каске и при всех орденках.

#### IV

#### Тихий разговор

Черты лица высокого военного, сидевшего в глубоком кресле, были как бы вырезаны из дерева. В них напрасно посторонний наблюдатель искал бы теплоты. Это отсутствие теплоты как раз и радовало Штарке. То, о чем он собирался говорить, требовало внимания сугубо и холодного.



— Ваше превосходительство почтили меня своим личным посещением. Я готов вам рассказать все. Каким временем вы располагаете?

Генерал посмотрел на брандмайора так, точно он взвешивал рассказчика и думал по его весу определить вес рассказа. Затем он заговорил как бы сверхчеловеческим голосом, и Штарке представилось поле, уставленное колоннами войск, конями и пушками, — его ноги на минуту приросли к полу, и холодок рабского поклонения пробежал по спине. Он положил сигару и слушал, не шевелясь, генеральские слова.

— Прежде всего я хочу знать, какие наблюдения привели вас к столь неожиданному выводу. Вы изложите мне весь путь ваших мыслей, не горюясь и ничего не забывая. Столь любопытный факт освежения военного оружия, само собой подлежащее строжайшей тайне, должен быть известен во всей полноте нам и никому другому... Международное положение напряжено до отказа, я говорю это вам открыто, и может быть, этой весной, этим летом... Словом, я вас слушаю.

Штарке дал руке генерала спокойно лечь на валик кресла и встал. Генерал легким кивком головы вернул его в кресло. Штарке сел. Он много раз рассказывал о своих бесконечных пожарах и в дружеских компаниях, и на официальных докладах, но сейчас речь должна была идти не о том: речь шла о будущем, бурные волны которого уже подкатывали к его ногам, пена неизвестных дней взлетала до колен. Нужно было сосредоточиться и решиться войти в нее — это было страшнее, чем если бы он сейчас в одном сюжете распахнул дверь, и вышел на мороз, и пошел бы к большому театру покупать билет на «Зигфрида». И он распахнул дверь.

— Вашему превосходительству известно, что я всего только брандмайор, скромный защитник имущества, страж частной собственности перед лицом бессмысленной стихии, человек, который каждый день видит огонь, видит за месяц огня столько, сколько обычные люди не видят за всю жизнь. Огонь бывает разных цветов, разной силы, разного характера. Огонь — очень большой художник. Я видел, как он фантастически играет домами, обстановкой, людьми, прежде чем их уничтожить. Он выгибается и танцует, он марширует длинными желтыми рядами, он прячется, садится на короточки и ждет, он ставит западню. Я хорошо знаю лицо огня, и я всегда чувствовал в нем врага. Так, вероятно, рыбаки ощущают море. Я знаю силу, которую веду против огня. Я люблю моих храбрых молодцов, взвизгивающих в небо по свежесмазанной лестнице, я люблю водяные смерчи, и однажды при мне огонь по чистой случайности вылетел узким и длинным языком и свалил замертво моего лучшего

штейгера Людвига Кубиша. После него остался сын Иоганн — умный, добрый мальчик. Я на всю жизнь запомнил этот десятиметровый язык огня и черный труп моего солдата. В ту ночь я не мог спать, я сидел до утра и курил. Утром весь пол был усыпан окурками сигар, но мысль, рожденная в этом дыму, была так велика, что я испугался, я прятался от нее в дыму, и утро застало меня на ногах, зеленого от изнеможения и все же радостного. Почему бы нам, сказал я себе, почему бы нам не заменить дорогостоящие артиллерийские орудия легкими брандспойтами, жгущими врага, почему нельзя заменить воду горящим маслом? Я представил наших храбрых ребят, выжигающих враждебную армию, как негодную траву. Я верю в бога, ваше превосходительство, и я гордый человек. Мне не пристало быть смешным и по чину моему, и по смыслу службы, и по пониманию долга. Но если всевышний вручил мне эту мысль, если он сделал меня проводником своего дела, мог ли я отказаться от идеи, правда вначале меня испугавшей? Вначале я отгонял ее как искушение, как дело, которое выше моих слабых сил, но мысль крепла и росла. Я сам не подозревал, какие длинные ростки она пустила во мне. И когда на маневрах мне приказали защищать форт всеми возможными силами, я не знал, что через десять часов боя я буду настолько во власти моей навязчивой мысли, что отдам приказ поливать наступающих водой. Я фантазировал. Я вел себя, как зеленый юноша. Они меня не поняли, я уверен, они приняли меня за сумасшедшего. Вы были свидетелем, ваше превосходительство, этого боя — и вы оправдали меня.

Генерал смотрел не отрываясь на покрывшиеся мелким потом фиолетовые щеки Штарке. Он не двигал руками, и они лежали, цинковые, холодные, серые, на валиках кресла. Он чуть нахмурил брови, когда Штарке запнулся.

Брандмайор продолжал:

— По вашему приказу я связался с людьми, которые мне были рекомендованы. Нет, мы не создали мира в шесть дней. Это заняло гораздо больше. Но я уже, как молитву, знаю закон моего аппарата. Легко воспламеняющееся масло выбрасывается под действием сжатого газа через брандспойт на глубину от двадцати до пятидесяти метров, в зависимости от силы и размера аппарата. Когда вы открываете кран шланга, масло загорается само, вырываясь большой струей, совершенно смертельной для человека. Мы жаждали начать опыты поскорей. Мы перебрали сотни сортов и комбинаций масла, сотни резервуаров, шлангов и брандспойтов. Мы давно оставили простую пожарную трубу, мы усовершенствовали образцы наших огнеметов, и тогда, к нашей великой радости, возник огнемет, страшный для врага

и удобный для нашей армии. С каким трепетом мы приступили к первому опыту! Мы взяли десятки соломенных фигур, объемом в среднее человеческое тело, мы поставили их так, что они изображали атакующих. И когда я skoмандовал: «Огоны!» — я был близок к обмороку. Напряжение наших бессонных ночей сказалося. Мне показалось, что если я skoмандую «огоны!» и огнем откажется действовать, то эти соломенные чучела с яростным криком ворвутся в форт и передавят всех, перетопчут и будут танцевать на наших останках. И — о, чудо! — огненные струи зажгли их все. Они горели, трещали, и смрад закрыл солнце, но он нам казался благоуханием. Я шел через скрюченные соломенные черные тела, они падали со штурмовых лестниц, они валялись по руву, я шел по ним, как жнец после убранной жатвы.

И тогда мы повторили опыт и позвали врачей. И они смотрели во все глаза, и я задал им только один-единственный вопрос: «Достаточно ли действие этого орудия, чтобы вывести из строя неприятельских солдат?»

И один из них засмеялся, а другой сказал, что ничего более ужасного он не видел в своей жизни, — и тогда засмеялись мы все...

Генерал чуть пошевелил плечами.

— Как вел себя рекомендованный вам инженер Мориц?

Штарке почувствовал неожиданную слабость. Он понял, что генерал недоволен его выпендривом, слишком отвлеченным изложением и возвращает его на землю.

— Инженер Мориц, — сказал Штарке, — вел себя как примерный патриот. Он посоветовал мне употребить густое масло, синее масло — смесь каменноугольной смолы и каменноугольного масла, так как оно дает при горении очень хорошее пламя и очень большой дым, который заглушает врага...

— При помощи какого же газа вы бросаете огненную струю?

— Мы взяли азот. Кислород разорвал у нас четыре аппарата. Он негоден. Сжатый воздух тоже не представилось употребить. Наша мысль работала все больше и больше. Инженер Мориц жил в Африке. Он рассказал мне, как негры поджигают сухую траву, и пылает вся степь. Когда пожар проходит, они подбирают и едят зажатую в огромном количестве дичину. После этого я придумал новый вариант действий с применением огнемета. Местность, по которой проходит неприятель, перед атакой поливается горячим маслом, и, когда ряды атакующих попадают на нее, мы начинаем поливать их огнем из огнеметов, и все вспыхивает, и мы делаем настоящие огненные ловушки, мы располагаем огнеметы по зигзагам, чтобы враг был охвачен со всех сторон. Трещащие, как саранча, тела неприятельских солдат — вот новая музыка боя. И, наконец, когда ударит исторический час нового Седана, ваше превосходительство, мы не забудем, что у нас в тылу могут оказаться лже-немцы, будут социалисты всех мастей, пацифисты и революционеры, рабочие, которые выйдут на улицу с красными тряпками, чтобы воспользоваться нашими затруднениями. Представляете себе, ваше превосходительство, какие у них будут морды, когда они увидят перед собой прекрасно начищенную сталь моих огнеметов? После команды «готовься» улицы будут пусты.

В первый раз за весь вечер легкая усмешка протянулась по лицу генерала.

— Как называется общее боевое действие огнеметов в бою? — спросил он.

— Мы назвали его: «фанг» — Feuerangriff, огненная атака. Это хорошее слово — фанг, оно поясняет нашу мысль и служит предостережением.

— Держите ли вы дома что-либо из чертежей, относящихся к этому делу?

Штарке развел руками почти весело.

— Ни одной чертежной линейки. Все хранится, как вы приказали, в цитадели.

— Знает ли кто-либо, кроме вас, об этом? Ваша жена, племянница, прислуга?

— Знают в этом деле только двое: вы и я. Генерал встал и прошелся по кабинету.

— Не кажется ли вам, уважаемый Штарке, — сказал он почти фамильярно, — что это один из маленьких эпизодов начала новой военной эпохи?

Штарке испытал неожиданный прилив радости. Это было не только одобрение — это была похвала, веская, как медаль. Он стоял, опираясь на стол своей фиолетовой, в буграх и жилах, рукой, и улыбался, сам того не замечая.

— Моя жизнь будет оправдана, — сказал он, как школьник, вспомнивший давно забытую пропись.

Генерал перестал ходить по кабинету. Он подошел к Штарке и, взглянув ему в самые глаза, положил руку ему на плечо и так стоял минуту. Потом он медленно снял руку, подобрал лицо, так что весь цинковый его профиль заблистал сухим жаром, и сказал:

— Верховный шеф армии интересуется вашими опытами.

Они сели снова в кресла и беседовали целый час.

В передней Штарке сам помог генералу надеть шинель. Генерал стоял как серьезный манекен, не понимающий шуток и не позволяющий себе шутить ни в каких случаях жизни. И, однако, он пошутил. Он подманил пальцем Штарке к себе и, как бы колеблясь, стараясь придать словам наибольшую невесомость, сказал почти небрежно:

— Да, между прочим, ваша племянница должна прекратить знакомство с Эрнстом Астенном. Мы не хотим этой дружбы. И потом, у нас есть сведения...

## V

### Сцена у мольберта

Весенний город лежал под ним. В городе была весна. В окно с высоты пятого этажа это казалось убедительным. Там, в городе, стояли острые колокольни с добрыми колоколами, добрые полицейские, указывавшие дорогу, там жили добрые граждане, пьющие и непьющие, автомобили дружески гудели, парки предлагали прогуляться в майской зелени их аллей, множество газет регистрировали добрую жизнь, в Пруссии добрыми топорами кое-кому рубили голову...

Эрна отвернулся от окна. Комната была завалена холстами, альбомами, папками, рисунками, кусками разноцветной бумаги и красками. Краски в тубиках, краски на палитрах, краски, раздавленные на полу, краски на неоконченных этюдах ощущались им как некое недоброе, а потому дружеское начало. Краски были неблагополучны, комната была неблагополучна, Алида была неблагополучна.

Самым неблагополучным и привлекающим глаз предметом был большой загрунтованный пустой холст, дышавший полной готовностью служить искусству, но не использованный мастером. Этот пустой холст, одинокий в своей жажде быть перевоплощенным, врезался серыми очертаниями в оживленную цветными пятнами комнату. Кроме того, он стоял на черном мольберте. Эрнст смотрел на него, как на друга. Этот холст походил на его думы о будущем. Готовый характер ждал применения. В чьих руках были кисти и краска? В чьих? Эрнст погладил шершавую ткань.

— Мне странно подумать, — сказал он, — что в такой весенний вечер два человека в огромном городе не могут ускользнуть от дурного государственного глаза. Я не хочу, Алида, чтобы за мной по улицам шagal человек, который не сможет сказать ничего человеческого, если я к нему подойду и спрошу: «Кто дал вам право следить за мной?» Я боюсь, что они вокруг заболели шпиономанией. Я не уверен, что там, внизу, меня не кланет за долгое отсутствие такой машинной слуга полиции, механически переставляющий ноги и механически напоминающий мои движения. Это началось с того дня, с того вечера, когда ты устроила сцену дяде, и твое упрямство было странно наказано: я получил тень. Что они от меня хотят?

— Эрнст, развеселись! Сейчас же развеселись. Это чепуха. Ну, на что ты нужен государственному глазу? А может быть, ты, посто-

янный ниспровергатель порядка и протестант, действительно делаешь бомбы из старых консервных банок, как русские или болгары? Тогда признавайся и покажи, как это делается, и я тебе раскрашу эти банки под морские щипцы или под абрикосы. Ну, развеселись, посмотри, какой чудный гвардеец...

Она держала за край вытащенный из кистей рисунок, сделанный цветным карандашом. Рисунок не был кончен. Гвардеец в огромной каске рассматривал в гигантский монокль, нижний край которого поддерживался сухими бескровными губами, сидевшую на его лакированном ботфорте трехцветную козавку. Замысел был не совсем понятен.

Тут Алида, вертя рисунок, принялась хохотать.

— Я вспомнила сейчас одного такого молодого офицера со странной фамилией Шрекфус; меня познакомили с ним зимою в одном доме. Он был здесь проездом, но его родственники живут недалеко от нас. Над ним все хихикали, но осторожно, и он смутился, когда нас познакомили. Мне потом рассказали причину его смущения. Он был из числа офицеров, которых когда-то на маневрах мой дядя облил водой с ног до головы, пустив в дело по привычке пожарных вместо солдат. Ты представляешь себе таких воплощенных, самодовольных, гордых воинов, мокрых как курица? Они все время говорят: «Железный крест, железный солдат», — но они могут заржаветь от душа моего дяди. Сознайся, что он временами не лишен юмора. Когда я представляю себе этого лейтенанта заржавленным, как гвоздь, мне всегда смешно.

— Алида, ну сядь, подожди, не смейся, не смейся... ну не смейся! Мне смертельно надоела эта военщина. Я никогда не буду солдатом. Меня освободили в свое время по болезни. Обидно, когда все смеются и не боятся анекдотов, из которых любой можно премировать за идиотизм. Этот Шрекфус, вероятно, любит говорить, как наши германские казарменные мудрецы, сто раз подряд, что сначала был бог-отец, а потом ничего, а потом кавалерийский офицер, а потом ничего, а потом его лошадь, а потом ничего, а потом ничего, а потом ничего, а потом пехотный офицер. О, скудость воображения! Я ненавижу этот блеск начищенных сапог, эти звенящие шпоры, эти распыленные мундиры. Я свободен от церкви, религии и государства. Тебе запретили со мной видеться. И здесь я уверен, что это работали они: я не знаю, но здесь не обошлось без этих высокобортных шютюков. Они все мудрат, мудрят, обманывая всю страну. Мы ничего не знаем об их настоящей политике. Ну, к черту их! У нас есть свои дела, и тут тоже надо разоблачать нас, Алида. Ты уедешь, тебя посылают в Помера-



нию посмотреть гусей и дюны, которых ты не видела с детства. Большое пренебрежение, не правда ли? Мой чудный профессор язвит со мной каждый день. Он говорит шутливо, как подобает разговаривать с субъектом пониженного развития. Он говорит: «Из вас выйдет плохой ученый, плохой статистик, вы слишком много лишнего пишете на полях, вы слишком много читаете между строк. Вам не хватает хладнокровия». Да, мне не хватает хладнокровия, и, кроме того, все запуталось.

— Эрна, я сама думаю целыми днями, к чему это приведет. Я плохая художница, но я верю, что в мире свободно только искусство. Один мастер сказал, что художник должен писать не только то, что он видит перед собой, но что он видит внутри себя. Если же он не видит ничего внутри себя, то пусть он бросит писать то, что перед ним. Иначе картины его будут напоминать ширмы, которыми скрывают больных, а иногда и мертвых. Сам же он, этот мастер, писал только чистые и холодные ландшафты. Он всюду в картинах — и в парках с видом на горы, и на берегу Северного моря, и среди поля ранним утром — помещал худенькую угловатую женскую фигуру. Она же стоит у окна его ателье, а в окне видна мачта корабля. И всегда она смотрит, только смотрит, так тихо и с таким уважением, что менять в природе нельзя ничего, и оттого, пожалуй, холод, нежность и грусть от сознания своей беспомощности. Конечно, наше искусство всегда как-то женственно, но все же свободно; если бы ты был художником, ты бы не чувствовал себя таким одиноким.

— Но, милая, они же заставили меня рисовать и генералов, и то, что они хотят. Что искусство прекрасно, глубоко и, может быть, женственно — это правда, но что искусство не свободно — это тоже правда. Самое сильное рабство — ведь это и есть то рабство, когда ты живешь в нем и его не замечаешь. Тебе кажется, что искусство свободно, но ведь это тебе кажется, и это не выход. Не будем об этом говорить.

— Эрна, я не хочу потерять тебя. Я общаюсь сейчас всех, начиная с дяди и кончая ближайшими друзьями. Наш Фольк, что так пышно говорит о Фра-Анжелико и о прерафаэлитях, заметил, что я изменилась, что я стала совсем другая, и он намекнул, что это твое влияние. Но изменилось и еще что-то. И не только у нас с тобой. В доме дяди никогда не было столько военных, как сейчас. Ведь не сказки он рассказывает им, в самом деле?

— Пересмотрим еще раз все сначала. Я еду в Берлин, ты в Померанию, но через два месяца, когда ты вернешься, мы встретимся и тогда убежим на все лето в горы. Какая сила — горы. Какая это мощь — горы. Я не такой кровавый бунтарь, как это кажется иным. Мы

убежим в горы. Ты будешь рисовать. Я буду лазить по скалам, вечером мы будем сидеть в чудесном горном кабачке, полном горцев, где висят оленьи рога, трубки и ружья, предметы, полные простоты и природной честности. Хозяйка приветствует всех входящих своим «grüss Gott», ставит каждому пиво, приговаривая: «На здоровье». Мы пойдем по снегам, по которым проходят только легкие козы, спускаясь с вершин, мы будем смотреть на громадные утесы, на ледники, мимо нас будут проноситься лавины, обдавая снежной пылью. Вся наша кровь, весь наш организм обновятся в этой изумительной ванне. Ведь здесь же можно задохнуться от отсутствия воздуха. Все пропитано тайным лихорадочным жаром. Недавно я встретил туриста, какого-то англичанина; он заблудился и спрашивал дорогу: он прекрасно говорил по-немецки, и мы разговорились. Он сказал: «Ах, какая чудная ваша страна. Мне нравится голова статуи Баварии: какая огромная, свободная от мыслей голова... С нее видны чудовищные горизонты...»

— Ты плохой германец, — сказала с досадой Алида. — Я все-таки из военной семьи, и так нельзя говорить безнаказанно. Мы все родились на этой земле и как-то это чувствуем. Ты испепеляешь все.

— Подожди, Алида, подожди, этот англичанин еще сказал: «Мне нравятся ваши колоссальные магазины, скупающие товары прогоревших мелких фирм, выбрасывающие на прилавок вещи, удивляющие добротностью и дешевкой. Я в восторге от вашего умения нажать марку на марку чисто домашним путем». Он сказал: «Мне нравится Рейн, он действительно как струя вина на закате, но лампы ваших бесчисленных генералов все же еще красивее. Больше всего мне понравился один памятник в Берлине. Там сидит на коне вверху, как полагается, император, и у ног его четыре льва. И первый лев обращен к Франции, он обнимает грудю трофеев и воинственно облизываясь, глядит вдаль, второй лев самый тихий, он полускрыл глаза, потому что смотрит на юг — Италия все еще союзница, потом лежит славянский лев, обращенный к востоку. О мастер, какое это чудовищное зрелище! Лев яростен, как будто его укусил скорпион. Ему не сидится на месте. И четвертый лев, готовый к внезапному прыжку, не обижайтесь, — сказал он, — смотрит в нашу сторону, он встревожен. И его глаза глядят через наш канал — на Англию». — «Почему вам нравится это?» — спросил я. Он пожал плечами и дружески тронул мое колено. Я не отодвинулся, мне было все равно. «Почему мне это нравится? Потому что, по крайней мере, это откровенно». — «И вы верите, что эти львы прыгнут когда-нибудь все сразу?» — «Если захочет укротитель, а потом,

не забудьте, в каждой стране есть свои львы: они пока ищут блох, но это не основное их занятие». И он исчез в тумане, но какой туман, какой липкий туман остался после его речей. Алида, почему ты так смотришь?

— Я не понимаю тебя, Эрна: это мог говорить иностранец, но ты... разве все так просто? Ты же учил меня сам, что жизнь складывается из очень сложных частей. Я боюсь, что ты запутался. Я боюсь...

— Чего ты боишься, Алида?

Она взяла свой плащ и накиннула на плечи. Она надевала шляпу.

— Я боюсь, что я много буду думать в Померании, и только тогда мне будет ясен конец. Сейчас я ничего не знаю.

— Ты не уедешь в Померию, — сказал Эрна, побелев, как лунатик. Пустой холст насмеялся над ним своей готовностью служить, но где кисть? Где краски? Серый холст ничем не мог помочь. — Ты не уедешь...

— Этого ты не можешь запретить мне, — сказала она. — А потом, посмотри на часы: вероятно, уже семь, скоро придет Адольф, ему нужна мастерская, и ты торопился сегодня вечером в библиотеку.

— Алида, — сказал он, но она остановила его.

— Милый Эрна, послушай. Мне кажется, что и тебе следует отдохнуть от тяжести многих мыслей. Ты, представитель германской интеллигенции, должен взять пример воспитания воли хотя бы...

— Хотя бы с лейтенанта Шрекфуса, ты хочешь сказать? С мокрого лейтенанта Шрекфуса, который хочет казаться сухим, всегда сухим, во что бы то ни стало сухим.

— Хотя бы да, — сказала Алида, покраснев. — Я думаю, что ты переутомил нервы, тебе всюду кажутся призраки. Я не верю больше и в твоих сычковых. А теперь пусти меня.

Они молча сошли по лестнице. Когда они вышли из подъезда, человек на соседнем тротуаре неловко нагнул котелок на глаза и начал искать спички в кармане. Сигара у него действительно не курилась.

## VI

### Ракетка и пуговица

Когда Алида проснулась, первое, что бросилось ей в глаза, была ракетка, желтая ракетка для тенниса, висевшая на стене перед ней, схваченная тисками. Красноватые нити жил вспыхивали на солнце. Было уже поздно. В саду пели птицы. Горячий воздух чуть колыхал занавеску.

В ее глазах еще стояли пейзажи Померании, хотя прошел уже месяц, как она покинула

ее. По ночам ее преследовали серые дюны, с разрезающимися вершинами сосен, и огромные серые волны, бежавшие на широкие, унылые отмели. Над волнами иногда проносились яхты. Вдали висел дым пароходов. И если смотреть сквозь ветви сосны в серую слоду волны, то в ней разбегалось лицо. И это лицо никак не могло собраться в единое целое, всегда отсутствовала какая-нибудь нужная деталь. И это лицо было лицом Эрны Астена. Два моряка из яхт-клуба были по-разному похожи на него. У одного была его походка, у другого — глаза и подбородок, а может, это только казалось.

Алида села на кровати, рассматривая ракетку. Он оставил ее голову и освободил глаза.

— Жила-была девушка, — сказала она, — девушка портила краски и заодно жизнь близким людям. Она не умела веселиться по-настоящему, и ей не хватало характера, а близким людям тоже не хватало характера. И так шло время, и никто не жалел девушку по-настоящему... Однако уже поздно, — сказала она.

Летний день жил за спиной этого загородного домика, куда она так счастливо убежала от городской паники. Какая безумная паника в городе! Неужели они все-таки будут воевать? Алида закрыла снова глаза. Она увидела вечернюю теннисную площадку, белые, мягкие, упругие мячи, летящие вверх и вниз, сухого рефери на белой лесенке. Мячи летели все быстрее, люди кричали со скамеек, она отбивала мячи, не устая бегать между меловых квадратов, перед неподвижной сеткой. Потом подошел профессор Фабер и сказал своим веселым голосом, от которого всегда хочется съежиться:

— К вам очень пойдет костюм сестры милосердия, да, да. — Это сказал он, и белые туфли его блистали, как меловая бумага.

Дядя уехал в Берлин и уже неделю не возвращался. Профессор Бурхардт пишет из Италии жене, что изучает норманские замки в Сицилии и что ему теперь ясно, что влечение германцев на юг всегда было исторической необходимостью.

Эрна Астен — почему сквозь четкую решетку ракетки она не видит его лица? Только три коротких письма за все время. Нет, она не поехала в горы. Он в горах один. Он один наедине со своими ледниками, скалами, снегами, горцами, и он пишет, что он несчастлив. Конечно, он приедет.

Она идет мыться. Дача совершенно пустыня. Проходя, она распахивает окно в столовой. Перед окном на ветке сидит лазоревка. Сад совершенно пуст. Садовник копается где-нибудь на грядах. Старуха ушла на рынок. Бека оставили в городе. Он нездоров. К нему вызывали врача. Неужели они все-таки будут сражаться? Люди рвали газеты на улице друг у друга. Газеты заполнили все. Она садится у окна,

пьет молоко и ест бутерброды по-гамбургски. Ее научили в яхт-клубе: ломтик белой булки, ломтик шведского хлеба, посередине масло и сыр.

Кто-то хлопнул калиткой. Она слышит спешные шаги по хрустящему гравию. Бешеный человек срывает дверь на балконе, так что целую вечность стоит грохот. В серой померанской волне вырастает лицо. Алида залила руки молоком. Она бежит навстречу, и в комнате, пустой и залитой летним светом комнате, стоит человек. Он весь серый, он зеленоватосер с ног до головы, как будто он стоит в волне дыма. Почему у него зеленая каска на голове? Так это же солдат. Что случилось, если солдат ворвался как ураган в дом и никто не знает, что будет дальше. Она смотрит в это лицо, на котором не хватает детали. Каска падает на стул, гремит, как маскарадная ненужная чепуха. Это Эрн, но у него нет волос на голове, он наголо обрит.

— Ракетка, — говорит она, сама не зная почему, — эти партии в теннис...

— Мы начали мировую партию, — говорит Эрн. — Я думал, что я тебя не найду, никогда не найду, что я умру на дороге. Мне дали отпуск на четыре часа, а уже прошло... Мне все равно, сколько прошло. Кажется, прошло три дня, пока я тебя нашел...

И тогда они больше не находят слов. Они их и не ищут. Она бросает руки ему на плечи, и ее волосы прижимаются к незнакомой одежде, и в грудь ее врезается пуговица, толстая пуговица, огромная пуговица с золотым орлом, обшитая толстым, зеленым, проклятым сукном.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

#### Ф а н т

Штарке никогда, даже в детстве, не любил леса, кроме того, он ненавидел деревянные постройки еще за то, что они сгорали при пожаре очень быстро, и все его знания и усилия старого борца с огнем были напрасны. Правда, лес, в котором он сейчас находился, мало походил на обыкновенный лес.

Прежде всего, деревья не имели верхушек. Верхушки лежали на земле. Расцепленные гранатами стволы и разбитые ветви были, особенно на закате, печальны так, что при взгляде на них сжималось сердце. Они пострадали в самом деле ни за что. Местами огромные просеки образовались на месте, где плясали несколько часов подряд снаряды тяжелой артиллерии. Часть леса пошла на одежду окопов и на блиндажи. Кусты были перепутаны

проволокой. Ни единая птица не пела, и не кричал ни один зверь.

Несколько тысяч людей притаились в лесу ниже поверхности земли, иные так и не подымались из своих нор. Вместо них на родину приходила узкая бумажка с кратким извещением: «На поле чести...» — но это было не поле, это был все же лес.

И в этом лесу стоял Штарке наедине со своей мировой идеей. Она была шире леса и выше самого высокого grenадера. Она наполнила душу Штарке особым пламенем, когда с наблюдательного пункта он смотрел в глубину леса и ждал той минуты, когда он, Штарке, станет народным героем. Колумб, на борту своего добродушного корыта, оказался бы наряду с ним простоватым мужичком, который должен был обмануть голых дикарей, тогда как перед Штарке, на расстоянии пятидесяти метров, скрывались вооруженные с ног до головы враги кайзера, и он сделает так, что они побегут, как стадо, забыв все и не рискуя сопротивляться. Америка Штарке — это путь в Париж, это конец войны, сожженной дотла. И войну сожжет он, Штарке, и никто другой.

Не так сильно ему верили в разных штабах, где сидели привыкшие ко многим головоломкам люди. Разве их чем-нибудь удивил? А потом было столько неудачных изобретателей. Единственное оружие — честные гранаты, тысячи гранат, миллионы гранат, вот настоящие плуги, взрывающие поля войны. Нет, ему не верили до конца.

Штарке выпрямился. В темных квадратах леса сверкнули косые лучи, сошлись и снова сверкнули отдельно. Это вернулись разведчики.

В тесных впадинах перед бруствером у проволоки неслышно возились люди. Они старательно очищали узкое пространство от обломков, от груды сухих ветвей, от камней. Они сами не знали, зачем это нужно. Кроме того, их могли застрелить каждую минуту. Они привыкли за долгие месяцы войны к скотскому образу жизни — ползанию на четвереньках, лежанию часами на животе; они, как крысы, рыли землю, как собаки, прятали в нее свои припасы, как быки, бежали с красными глазами вперед, чтобы подняты на штыки все, что будет встречаться. Отупевшие от постоянной грязной, тяжелой работы, от страха, не допуская других мыслей, они ползали сейчас между бруствером и проволокой и, стараясь не шуметь, работали.

— Помешает ветер, — сказал Штарке.

— Последняя сводка: сила пять метров. Это пустыки, — отвечал наблюдатель.

— Чтобы ничего не было перед бруствером, — сказал Штарке.

— Там осталось только двое убитых на проволоке, но это не помешает.



— Посмотрим ступеньки, — сказал Штарке, — никогда нельзя быть спокойным, пока не проверишь всего.

Он поймал себя на том, что волнуется больше, чем ему полагается. Они прошли по окопу и маленькими электрическими фонарями нащупали ступеньки. Ступеньки были вырезаны тщательно и плотно. По этим ступенькам должны были его огнеметчики найти дорогу к славе.

— Поправьте эту лесенку, здесь можно поскользнуться, — сказал он, и сейчас же саперы осторожно, напирая на лопаты, начали сглаживать неровности. Они обрезали торчавшие корни тесачами.

Несколько человек прыгнули в окоп. Земля сыпалась с их грязных плеч. Они только что, ползая между проволокой, очистили проходы. Шинели их, замызганные и скоробившиеся, сейчас еще порванные о собственную проволоку, представляли целую многострадальную повесть.

Штарке не обратил на них никакого внимания. Люди в его представлении всегда были слишком мягким воском в опытных руках государства. И воску этого было много, — во всяком случае, достаточно.

Тут он подошел к аппаратам. Закрашенные в защитный цвет, стояли детища его сердца и ума. Он погладил их. Он вспомнил, как несколько месяцев назад случайно попал в место расквартирования пленных. Вокруг него сидели и стояли французы, русские, бельгийцы, сербы, англичане. Низкие нары не могли вместить всех, и все же им всем хотелось лежать, и они лезли, как тараканы, набивая все щели. И, наконец, нары не выдержали. Постройка была возведена в безбожно краткий срок. Нары не выдержали и рухнули. Все народы Европы барахтались с ругательствами в общей куче. Они вылезали один за другим из свалки и мрачно потирали ушибленные места. Штарке равнодушно смотрел на них. Ни ругань, ни мучительные гримасы, ни стоны не могли его вывести из себя. Наконец из-под нар появился англичанин, и, когда он встал, грязный, запятанный, мятый, он оглядел всю рухнувшую постройку и сказал язвительно (он скорее выплюнул, чем сказал), подмигивая на развал:

— Made in Germany.

Штарке погладил вторично холодную сталь аппарата.

Он не мог ответить иначе сейчас этому неожиданному воспоминанию. Что у него есть, кроме двух слов: кайзер и аппараты? Может быть, Штарке вообще не существовал? В дымном воздухе окопа среди людей-теней стояло нечто в капитанских погонах, сосредоточенная энергия, воображение, обернувшееся предметностью, — он не замечал, как равнодушно смотрели на него из своих нор окопные люди,

он видел только тьму леса, где иногда разноцветные молнии чертили один и тот же шифр: война, война, война.

Штарке и его свита осторожно курили сигары. Они прятали их, как новобранцы, в руку и закрывали рукавом. Сейчас эти сигары вошли в словарь войны, потому что при слабом свете их красновато-злых, раскаленных огрызков люди проверяли манометры. Коленчатые отростки азотных бутылей были серы и неподвижны и казались безобидными. Их могли найти мальчишки среди мусора и поиграть ими. Здесь они были на положении мировых статистов. Малейшая неисправность сгубила бы всю их карьеру.

— Сверим наши часы, — сказал Штарке. Красный блеск пробежал по шести стеклам и удостоверился в одинаковом положении всех стрелок. Все стрелки, как одна, держали свой путь, но когда Штарке пыхнул снова своей сигарой, она вырвала из ночи белое пятно, на котором стоял красный крест.

Красный крест был ни при чем; он был даже не совсем приятным намеком. Человеку с таким знаком нужно было сказать что-то начальственное, чтобы он не загордился своим одиночеством и независимостью от начальства.

Сигара исчезла, прикрытая рукавом, и Штарке спросил санитарного унтер-офицера:

— Если брызги холодного масла попадут в глаза...

— Так точно, мазь от ожогов и кокаин...

Штарке стоял против огнеметчика. Сколько труда он положил на этих людей, рабочих и служащих, не подозревавших за всю свою мирную жизнь, что они понадобятся мрачному изобретательству Штарке. Сколько он положил труда, чтобы сделать из них нерассуждающих, забывших иные привычки рабов огнеметных аппаратов... Не всегда это удавалось. Высокий солдат стоял у блиндажа, вытянувшись, как будто его подвесили за воротник на крюк.

— Лейтенант, — сказал Штарке, — проверьте вооружение.

Лейтенант направил свет фонаря на чье-то посеревшее лицо с водянистыми глазами. Лицо не входило в вооружение. Оно было совершенно безоружно перед этим желтым лучом фонаря и черными руками своих повелителей. Лицо было нейтрально. И это взорвало лейтенанта. Как на аукционе, сопровождая тихие ворчанье невидимыми ударами молотка, лейтенант выкрикивал про себя, на самом деле он спрашивал вполголоса:

— Котелок...

Котелок висел сбоку, он показал свой выгиб и кольцо и уступил место брандспойту с рукавом.

— Мешок для инструмента на шейном ремне...

- Мешок...
- Один комплект прокладок...
- Прокладки. Так.
- Клеи для труб...
- Клеи.
- Кольт.
- Кольт.

Лейтенант перенес свет.

— Сумка на портупее. Откройте сумку.

Солдат исполнил приказание, оставаясь напряженным. Он чуть не качался от напряжения. Впрочем, он мог качаться и от усталости.

— Запасная вилка зажигателя, — сказал лейтенант. — Покажите зажигатели. Что вы с ним сделали? Он сырой?

Штарке вздрогнул. Солдат закачался, как будто его ударили.

— Я сидел в блиндаже, — сказал он. — В блиндаже, господин лейтенант.

— В блиндаже, будьте вы прокляты, вы сидели в воде, черт возьми! Сейчас же перемени-те зажигатели. Идите сейчас же!

— Фамилия? Его фамилия? — задыхаясь, пробурчал Штарке.

Солдат обернулся:

— Ганс Немландер.

— Лейтенант, когда кончится бой, — лейтенант, мы проверим всех после боя и всех таких в пехоту, обратно в пехоту, к черту!..

Штарке вспотел при мысли, что со всеми зажигателями может произойти то же самое. Тогда он положил свое брюхо на французскую проволоку и умрет. Высочайший шеф армии интересуется этими опытами... Высочайший шеф — ради этого стоит умереть...

— А факелы...

Факелы были тут же, факелы стояли в стойке. Солома, окрутившая палки, была суха, действительно суха. Штарке смягчился. Он осматривал людей поодиночке. Все было в порядке. Порядок мог быть лучше, но тут уже ничего не поделаешь.

«Огневая струя состоит из горящего масла и горящих масляных газов...» — пронеслось в мозгу.

— Соберите людей, — сказал Штарке.

Команды стояли на второй линии, их было совсем немного. Штарке сказал несколько слов. Собственно, говорить не стоило, но устав предписывал разговоры. Душа Штарке не имела, кроме устава, никакого символа веры.

— Солдаты! — сказал он, — бодрость, бодрость прежде всего. Вы, спортсмены войны, — вы должны стать чемпионами. Бейте их в глаза, бейте им морду, смотрите, чтобы не было протечки масла, помните команду «стой», останавливайтесь сразу, не зарывайтесь, наше дело — дело чести. Через заградительный огонь несите во что бы то ни стало, во что бы то ни стало огнеметы. Вперед, вперед, вперед!

Солдаты стояли, как отобранные к закланию молодые быки. Они здоровые ребята, они пронесут огнеметы через заградительный огонь. Они спортсмены — пусть будет так, в чем дело? Этот пожилой человек мог говорить все, что приходило ему в голову. Это ведь не меняет дела. Дело состояло в том, что нужно выйти из окопа и поливать первый раз в жизни людей горящим маслом. На празднике в деревне, конечно, бывает веселее, чем здесь, но там не видишь такого зрелища. Кроме того, за это могут дать отпуск или бело-черную ленточку. Попробуем!

Штарке ощутил прилив нежности. Он отыскивал на дне своего сурового сундука красноречия особые слова, которые, несколько заикаясь, сошли с его языка. Ему захотелось приласкать этих людей, как будто он стоял перед пожаром, перед огнем, куда лезут его пожарные, и лучший штейгер уже погиб.

— Ребята, — сказал он, — вы получили сегодня колбасу, да, правда, хорошую колбасу, вы получили сегодня сигары и какао, вы получите завтра славу, которую еще никто не имел. Бодрость, бодрость, прокричим в душе трижды верховному шефу армии «ура».

Кричать было нельзя. Кричали ли в душе солдаты «ура» — Штарке не сильно беспокоило. Он верил, что они кричали. Что они съели колбасу, выпили какао и выкурили сигары — это он знал. То было особый паек для невиданной специальности.

Штарке протянул руку к каске и резко опустил ее. Ходы сообщений поглотили людей. Штарке долго курил сигару. Часы на руке выросли в огромный циферблат, качавшийся и стучавший на весь лес. Легкая перестрелка часовых проходила через него полетом одиноких ос.

Стрелка качнулась и замерла.

Пора!

Это могли сказать сотни людей одновременно. Светящийся снаряд прошел по лесу и, расхлестывая мрак синим светом, сгорал, обжуривая пространство. И сейчас же люди устремились вверх по ступенькам. Сквозь лес шли облака, через которые с белым свистом летело горящее масло. Оно горело на блиндажах, на ветвях, на столбах с проволокой, на пулеметных гнездах, оно горело на шинелях, на винтовках, на шлемах, шиня и свертываясь.

Раскаленные струи настигли врага на бегу, и уже горели мясо и кожа, и уже лопались глаза и жилы. В лесу поднялся вой, сквозь который шел Штарке, непоколебимый выходец из легендарных саг. Сага развевалась перед ним. Его огонь сжигал все. Западная действительность! Ослепляющие струи текли безостановочно. То они взвивались вверх, то, переменяя цель, сбоку ударили по неприятелю, ночь ожила вспышками гранат и гулками ударами,

непонятными, как все в ночном бою. Западная захватила врага врасплох. Однако враг пробовал еще стрелять без прицела, с отчаяния.

Перед Штарке упал огнемечик, сраженный, видимо, в голову, так как он поднял руки и не донес до лица. Из пробитого пулей аппарата вытекало масло. Горящий аппарат, казалось, корчился на земле, извергая живые внутренности. Штарке нагнулся и закрыл кран. Он стал легким, как самый молодой солдат его роты.

Огонь жег лес, людей и все препятствия. Враг или умер, или выл от страха, закрыв глаза. Люди закрывают глаза, они больше всего боятся потерять глаза, они до конца хотят видеть все.

Пехота бежала рядом с огнемечиками. Штарке соскочил в окоп. Это был французский окоп. Под бруствером и над бруствером лежали люди, но они не были людьми. Они были теми черными обугленными мешками, соломенными куклами, в какие играл Штарке, когда его огнемет переживал первые огненные дни юности.

Вокруг Штарке бесновалось масло. Казалось, оно только и ждало этой ночи, — всю свою долгую жизнь бок о бок с человечеством оно ждало этой ночи, чтобы прыгать, свистеть, жечь, истреблять. Надо было подавать отбой. Надо было не дать измочить этому могучему потоку.

Наверху, над окопом, появился человек, и три струи обдали его, как таракана. Он завертелся на месте, стал подпрыгивать, и пламя крутилось на нем, точно щекотало его со всех сторон. Человек скакал на одной ноге, и при свете горевшей одежды видны были его горевшие волосы и черный лоб, широко раскрытый рот, беззвучно захлебывающийся от горя. Человек пропал. Вдруг он начал трещать, как хлопущка. Огонь дошел до подсумка, который он не сумел сбросить. Подсумок вспыхнул, подсумок взорвался, пламя взметнулось к лицу человека, серому, как пемза. Взорвался второй подсумок, и человек свернулся, как бабочка, долго кружившая в ламповом стекле и наконец упавшая пеплом.

Гренадеры с гранатами в руках стояли у входа в блиндажи и предлагали садиться оставшимся в живых. Бой был кончен. Аппараты гасли один за другим. Французские пушки били по окопам, и снаряды швыряли обугленные тела, ставя их на голову, перевертывая и разрывая на куски, чтобы убедиться, что действительно произошло нечто необычайное. И тогда начали приводить пленных.

Мимо Штарке прошел толстый французский сержант, кровь текла с него, как с бара. Он твердил одну и ту же фразу:

— Так воевать — это дерьмо, это дерьмо, как это называется...

Штарке остановил его и взял за руку.

— Это называется фанг, — сказал он.

Но француз скинул его руку и пошел вперед, обливая кровью, твердя все одно:

— Так воевать — это дерьмо, это дерьмо, как это называется.

## II

### Вода и огонь

Это не было простой попойкой, собственно говоря, это была вовсе не попойка. Офицеры частей особого назначения сидели на разрушенных диванах и на уцелевших стульях. И посреди них возвышался Штарке. Он возвышался, разрывав плечи, и серые брови его, и загорелые до полной багровости щеки, и неподвижность фиолетового подбородка, и тяжелые, медленные движения рук делали его похожим на нечто богоподобное. Такое богоподобное существо из военной мифологии пило большими глотками вино, потому что оно имело право пить.

Вино было завоевано, ночь была завоевана, кресло, в котором он сидел, было завоевано. Это называлось жизнью, другой не было. Стаканы стучали. Все пило, крича:

— Тысяча четыреста пленных, два полковых командира, шестьдесят восемь пулеметов.

Под лейтенантом сломался стул, но он пересел на ящик с санитарными принадлежностями. Он не упал.

— Четырнадцать орудий, склады ручных гранат.

Все топали ногами от удовольствия. Штарке разбил стакан об пол. В его глазах сиял четырехугольный огненный загон фанга. В этом слове было даже нечто восточное, китайское. Можно было изогнуть это слово в огненного дракона, испепелявшего все живое. Только этого и хотел Штарке. Но сегодня он был великодушен. Он мог делиться победой.

— Слава пехоте, — сказал он, — слава котам, рвущим вражескую землю. Слава артиллерии, кроющей их с перцем... Шеф армии...

Все вскочили и пили стоя. По темным лицам ходило пламя керосиновых ламп и фонарей, висевших на веревках. Трехцветное пламя делало каждое лицо трехцветным: красным от загара, черным от возбуждения и пятнисто-золотым от вина. Штарке был багров, как никогда.

— Последнее донесение французов, — кричал человек с перевязанной рукой, — пресвятая дева и святая Елизавета ранены шрапнелью... Плевал я на этих баб. Пророки валяются в обломках. Да здравствует святая Берта и ее сорок два сантиметра, хлопающие их по боку. Колокола слетели к чертям. Святкой Ремигий сбжал — от него не нашли следа. К черту все сборы! Пьем здоровье артиллерии!

— Они засовывают своих наблюдателей во все дыры. Все дороги кишат их шпионами. Они добивают раненых. Отравляют колодцы.

— Резервуар с маслом, шланг и брандспойт очищаются сырым бензолом, — сказал Штарке. — Дорогу огнету, пришли новые времена...

Денщики и вестовые, серые большие обозные лошади, убирали битую посуду с ящиков, изображавших стол.

— Прощу слова, — сказал лейтенант, его скулы ходили от возбуждения. В клубе гольфа он считался лучшим оратором. Он был возбужден так, что мог взлететь над столом от возбуждения.

— Слово лейтенанта Геринга...

— Лейтенант Геринг...

— Пришли времена, о которых мы мечтали, играя в гольф, мы, в сущности говоря, играли все время в войну. Капитан Отто фон Штарке, украшение германских специальных войск, начал величайший матч огненного гольфа. Поднимаю тост за открытие новой эры, за французскую партию капитана Штарке.

Он шагнул и зацепил шпорой рваный ковер. Серый, как лошади, вестовой нагнулся и освободил его ногу из западни.

Стаканы наполнялись. Трехцветные лица уже попадали на флаги, расквашивающиеся на выступах балконов, флаги, встречающие победителей. И тогда все услышали шум. Шум шел с улицы от открытых пространств, из ночи, за разбитым домом, в котором они сидели, не снимая шинелей, обвешанные оружием. Они вышли толпой на улицу.

Хлестал дождь. Дождь хлестал уже много часов. Они его не замечали. Отдыхающий имеет право не замечать ничего. Теперь иные из них, с радостью раскрыв рот, ловили воду, чтобы освежиться.

Перед ними шли войска. Тесными рядами, не в ногу шагали солдаты, солдаты, солдаты. Никого, кроме них, не было вокруг. Дождь пробил их насквозь, он стекал со лбов, он шел тоненькими струйками вдоль спины по голому телу, он забирался в вещевые мешки сквозь незаметные отверстия, он уже шипел в сапогах, он расстилал лужи перед ними, он бил по глазам. Мокрые руки держали мокрые винтовки, мокрые груди вздымались отвратительным кашлем или проклятием.

Месиво мокрых человеческих тел, стремившихся мимо с неотрывностью лунатиков с закрытыми глазами, спотыкавшихся, было бесконечно. Точно море вернуло всех утопленников, и они, сплоченные общей гибелью, не могли оставить друг друга. Огромные сапоги, огромные шинели, огромные каски, казалось, сами тащили легкий студень человеческих тел, вещи завладевали этими людьми, их повертывал уже не голос команды, а свисток. Винты висели на шеях, на головах, руках и ногах. Дождь размыл их и превратил кровь, вату и марлю в холодный каркас, плотный и мучительный. В ря-

дах шли легкораненые, оставшиеся в строю. Люди сквозь зубы сплевывали кровь. Грязное бурное небо над их головой резали холодные пилы прожекторов, и тогда дождь еще сильнее набрасывался на идущих, точно находил недостаточно мокрые отряды. Люди текли безостановочным потоком, и если смотреть им на ноги, то откуда-то со dna души подымалась тошнота.

Лейтенант Геринг, возбуждение которого требовало выхода, закричал в эту ночную, дикую армию привидений:

— Да здравствуют баденцы!

Никто не ответил, никто не оглянулся. Дождь заглушил крик. Геринг и другие кричали поочередно, как иступленные:

— Да здравствуют вюртембергцы, баварцы, саксонцы...

— Да здравствуют пруссаки, ганноверцы, гвардия...

Они кричали как помешанные в лицо проходящим, и у этих проходящих действительно было одно лицо, изможденное, серо-зеленое, мокрое лицо с глазами, ушедшими внутрь, как бы спасающимися от дождя. Возбуждение при виде этих молчаливых фигур, загрозоздивших ночь, бесконечность их мрачного шествия, переливавшегося, как поток, из улицы в улицу, между развалин и воронок от снарядов, доводила компанию Штарке, как игроков, только что вышедших из азартной игры и ставших свидетелями чужой азартной игры, — до неистовства.

Худошавый, дрожащий от холода офицер подошел к ним.

— Все, что осталось от Шрекфуса, — сказал он, как бы вынимая откуда-то издалека свое имя. — Нет ли у вас папирс?

Шесть портигиров щелкнули ему навстречу. Он взял папирсу и держал ее, не закуривая. Его задевали проходившие, он не обращал внимания. Он дышал, как лошади, идущая в гору, и пальцы его дрожали. Струйки воды выбегали из рукавов шинели.

— Из всей роты осталось тридцать шесть человек, семь рядов проволоки, волчьим ямы.

Его не слушали, он говорил сам с собой, он подводил итог, не думая: проволока, проволока — по двадцать человек в каждом ряду.

Папирса вспыхнула и с шипеньем погасла. Мрак около его лица сгустился. Он бросил папирсу и пошел дальше, и ноги его тонули в грязи почти до колен.

Серые стада людей все двигались и двигались. Иных поддерживали товарищи. В интервалах хлюпали лошади. Всадники, закутанные в стального цвета плащи, старались не шевелиться, зная, что единственное сухое место в мире — это седло. Ниже седла начинался океан. Противно было касаться мокрой гривы, мокрого повода, собственных рук.

Штарке смотрел поверх их, туда, где была

только тьма, которую резали белые пилы прожекторов. Перед его глазами ходили ослепительные гибкие щупальца огнеметов. Вражеские прогики валяются в обломках. Вчера ликвидировали деву Марию, парижанку с черными волосами и маленьким французом на коленях.

— Огнемет, господа.

И все повиновались ему. Вся толпа пошла закоулками под дождем. Он вел ее, как хозяин ведет гостей показать свое поместье, он шагал, как пророк, по завоеванной земле — показать меч, покаравший ничтожных.

Часовые стояли размокшими грибами. Было странно, что винтовки сохранили какую-то твердость в этой жидкой, как месиво для свиной, ноци.

Дежурный с воспаленными глазами рапортовал, держа перчатку у каски. Он мог держать ее целое столетие. Штарке наслаждался этой изогнутой мощной рукой. Фонарь держал вестовой. В глубине старинного парка спали огнеметы. Он знал их наизусть.

— Огнемет номер десять, — приказал Штарке, — пробное испытание.

Дождь не переставал. Казалось, что деревья выйдут из почвы и упадут на жидкие стены домов. Огнемет стоял под деревянным навесом. Он жил, как холостяк на даче, в маленьком сарае. Команда выстроилась у огнемета. Толпа офицеров переступала с ноги на ногу. Вино переставало греть. На шпорах висели комья грязи.

— К огню — готовься, — командовал Штарке.

Люди или привидения переместились, словно в балете. Бурная чернота ночи колебала пустынный парк. В такую ночь можно делать все. Человечество не имеет голоса в такую ночь. Где оно? Да есть ли оно вообще, это человечество? В тех серых толпах, переливавшихся сквозь ночь, нельзя было различить старых и молодых, умных и дураков, артистов или рабочих, все они были одинаковы. Ими правил свисток. В интервалах шли лошади. Прожектора указывали места их смерти. Никто не верил, что ночь кончится. Тьма лежала по горизонту.

— Смирно, — командовал Штарке, — огонь!

Круг дыма взлетел вверх и ушел вперед. За ним последовала трещащая, сильная, как кулак, толстая огненная жила, рассекавшая пространство. Острые этой жилы, светясь в черном дыму, как тысяча раскаленных проволоч, вонзались в деревья, они шипели, покрываясь смертельными ожогами, кусты трещали, в ночном мраке открывалась трещина, пробитая страшной струей.

— Стой! — Голос Штарке дошел до черных манекенов у аппарата. Огонь погас.

— Держатель освободи!

— Продуй...

Лейтенант Геринг, лучший оратор в клубе гольфа, больше не ощущал действия вина, но

он забыл и все речи. Нервная лихорадка перебирала кости. Губы его, плотно сжатые, старались удержать стук зубов.

— Князь Тьмы, — сказал кто-то за его спиной.

Штарке усмехнулся. Он уже знал, что это прозвище идет за ним через штабы и обозы, через вокзалы и сборные пункты, через окопы и блиндажи; оно было как светящийся транспарант, оно нравилось Штарке, он сделает его своим знаменем.

Устрашая врагов, иди к победе, пусть им останутся только глаза — оплакивать свое поражение. Глаза останутся, ведь они всегда закрывают их руками, когда на них летит его пламя, пламя Штарке.

Чтобы согреться, офицеры поспешно и громко говорили:

— Да, это изобретение...

— Я бы не хотел быть французом.

— Тысяча четыреста пленных, четырнадцать орудий в пять минут.

— Нужно делать полки этих игрушек, тогда дело пойдет по-настоящему.

— А если у них?

— Что у них?

— А если и французы?..

— Они... они не успеют обернуться, как все будет кончено.

— Дежурный, — сказал Штарке, — я забыл — Ганс Немландер.

Поднятая рука в перчатке, могуче изогнутая, замечательна. Символ дисциплины и порядка. Она может висеть у каски целые столетия, но два пальца перчатки пусты.

— Так точно. Ганс Немландер не может быть откомандирован в пехоту. Он убит третьего дня.

### III

#### Князь Тьмы

Князь Тьмы! Сколько уже недель работают его огнеметы, сколько уже цифр прибавилось в донесениях, сколько обугленных трупов, закопанных в воронках и окопах, в глубине пулеметных гнезд, среди разбитых бревен, среди лисьих нор, — но ведь это только начало. Этого мало. Мысль Штарке работает днем и ночью, и только в одном направлении: чего они медлят, эти штабы? Почему они всегда, всегда тормозят, не верят, сомневаются, эти господа? Париж был бы давно в немецких руках, выход на Ла-Манш — тоже. Англия была бы сломлена, если бы они поторопились, но они никогда не торопятся.

Эти люди, кажется, гордятся своей медлительностью. Они как будто ждут, что у него появится соперник, человек, который отобьет его славу, его труды. На что они вообще на-

деются — на то, что французские заводы остаются, на то, что Англия испугается своего будущего и пойдет на мировую, — нет, они положительно непонятны.

Мотоцикл отлетел в сторону, чтобы пропустить медленно идущий грузовик с мотками проволоки. Проволока свешивалась с него, угрожая во все стороны рыжими иглами. Они затягивают всю армию в этот колючий корсет, они роют землю днем и ночью, они выпускают тысячу снарядов, чтобы выварт у врага несколько метров, на которых трудно дышать от пороховых газов и необрушенных мертвецов. Нет, они положительно делают не то.

Майор — уже майор — Штарке приподымается в каретке. Тяжелый мотоцикл лавирует между развалин и останавливается, недовольно треща. Большой зеленый «бенц» со штабным значком зарылся в край воронки передними колесами и не может выбраться. Десяток солдат потеет около него. Мотоциклист останавливается — прохода нет. Штарке смотрит на выезжающих из «бенца» людей с ненавистью.

— Всегда поперек дороги, всегда поперек дороги...

В группе офицеров в новеньких блестящих плащах, в ослепительных гетрах, — в группе этих сытых красачиков, вырабатывавших годами решительное выражение лица и надменность поступи, глубокомысленные морщины и снисходительную улыбочку, он видит штатских.

Они тоже таскаются на фронт. Читать лекции. Смотреть и умиляться на вшей, на солдатские бордели, на окровавленные битвы, на свежие официальные героев.

Майор Штарке лишается спокойствия, «бенц» кричит под дружным натиском серых рабов, стоящих по колено в воде и в грязи. Один из штабных недовольно смотрит на часы.

— Мы опаздываем, профессор, — говорит он человеку с круглым симпатичным лицом, такому милому весельчаку, которому на фронте только и дело, что разъезжать в штабном автомобиле и завтракать в штабе. Может, это представитель нейтральной державы? Тогда его нужно облизывать со всех сторон, чтобы к нему не пристало ничего мрачного, ни одной кровавой пылинки.

Тот, кого называли профессором, смотрит сквозь автомобильные очки зеленоватыми глазами в зеленоватое небо и пожимает плечами.

— В крайнем случае мы пересядем — мы сейчас устроим.

Штабной оглядывается с чрезвычайно умным видом.

— Профессор Фабер смог бы воспользоваться мотоциклом, — говорит бритый под англичанина офицер, указывая глазами на Штарке.

Штарке не слышит этой вопросительной

фразы. Он презирует штатских сейчас, как никогда. Он выключает слух. Профессор подымает на лоб автомобильные очки.

— Сколько времени займет эта операция с нашим автомобилем? — спрашивает он.

— Фельдфебель, сколько времени вы будете копаться? — кричит штабной.

Лицо старого служани сосредоточивается, точно его сейчас ударят. Он накидывается на своих серых рабов, и те бросаются из последних сил, без крика, пот выступает под перепрелыми шинелями, они существуют сейчас только для этой машины, для этой лужи, для этой группы штабных, — потом им скамандуют «вольно», потом велют разобрать винтовки.

Они выкатывают «бенц» на дорогу, шофер садится на свое место, и его меховые перчатки ложатся на руль. Все в порядке. Штаб снова на колесах. Он проносится мимо Штарке. Штарке надолго запоминает профессора Фабера, забывшего опустить автомобильные очки.

#### IV

#### Баллоны

Стрелки в узком ходе сообщения прижались к стенкам, чтобы пропустить тяжело дышавших, ежeminутно спотыкавшихся людей, тащивших непонятный груз. По-видимому, эти люди тащили свою ношу давно и держали путь к первой линии. Стрелкам сначала показалось, что несут труп, потом — что несут снаряд, и они удивились, что таким образом происходит невесть зачем доставка снарядов в полной тьме, и каких огромных снарядов.

Люди тащили на палках загадочный металлический баллон, и мутное дыхание их с хрипом и задущенным кашлем показывало, что груз не легкий.

— Что это такое, эй, товарищ? — спросили стрелки, но тащившие мотнулись вперед и, шатаясь, исчезли в темноте.

Навстречу стрелкам шла следующая пара, тащившая на палках точно такой же снаряд. За ними двигались на недалеком расстоянии еще другие. Казалось, темнота рождает этих носильщиков неизвестного по странному и причудливому капризу.

Стрелки стояли затаив дыхание, а люди с баллонами все шли и шли мимо них. Стрелки насчитали уже двадцать четыре баллона, а шестивью не предвиделось конца. Ничего подобного они не видели за всю окопную жизнь.

— Товарищ, что это за чепуха? Чем они набиты?

— Морковным мармеладом, — сказал один мрачный носильщик, отирая пот рукавом.

— Почему я знаю, мы сами не знаем, — сказал другой, повеселее. — Я думаю, что мы



так дотащим как раз до Парижа, если не содохнем раньше.

— Что за часть? — спрашивали стрелки. — Уже сорок третий баллон.

— Штрафная рота, арестанты, пулеметное мясо, — почти громко ответил остановившийся солдат, прислоня баллон к стенке узкого хода.

Стрелки тихо свистнули.

— Пулеметное мясо мы сами, — сказали они, и уже злорадно начала просыпаться в них на это заморозное шествие, на дурацкую остановку, на этот узкий ход, не позволяющий разойтись; вылезать на край никому не хотелось. По небу бродили прожектора, и всякий знал, что это значит.

Товарищ солдата, назвавшего себя пулеметным мясом, тоже прислонился к стенке, несмотря на то что к нему уже приближалась новая пара.

— Не пойду, — сказал он. За воротник ему сыпалась земля, но он испытывал громадное удовольствие отдыхать, вытянувшись, стоя после длинного перехода, где он шел, согнувшись, как обезьяна.

— Астен, не глупи, — сказал его товарищ, — подымай-ка палку, пойдем дальше; если нас затрет и мы загремим, что будет?

— А если пуля ударит в этот сволочный баллон, ты думаешь, мы уцелеем?

— А что в нем — черт его дерн, он весит, по-моему, сто фунтов; если он трахнет, тут, я думаю, будет пахнуть жареным мясом на целый километр. Идем, идем.

Они двинулись дальше в темную ночную жизнь бесконечных ходов, изломанных, нырявших то в глубину земли, то выходявших к черным постройкам, скудно освещенным, где прятались люди. Они шли дальше.

Эрне временами казалось, что он спит. Он на ходу впадал в самое призрачное забытие. Он чувствовал тяжесть груза и палку на плечах, ноги его передвигались, но тьма залезала в рот, глаза, уши и превращала всякое человеческое движение, всякую человеческую мысль. О чем можно думать в таком мраке, задыхаясь от усталости, с исцарапанными руками, побитыми ногами, головой, переполненной усталостью?

Его запрятали в штрафную роту, сохранив за ним право открытой ненависти по отношению ко всему, что он видел. Он знал, что люди штрафной роты в глазах командования — материал, от которого нужно избавиться в первую голову, но избавиться с умом. Ночная тайна баллонов, однако, не была им угадана. Да и никто, кого он ни спрашивал, не мог сказать, в чем дело. Многие думали, что это что-нибудь взрывчатое, вроде мин.

Прошедшая жизнь его осталась где-то в другом веке, в другой стране. Грязный, всклокоченный, загнанный в черные ходы земляных лабиринтов, голодный, низведенный до живот-

ного, он не мог бы сегодня возразить профессору Бурхардту с книжной горячностью увлекającego молодого человека. Он мог взять в свой карман кусок этой земли, искрошенной лопатами и динамитом, перемешанной с кровью и костями, и принести его в подарок профессору на его званый ужин, когда он будет доказывать, что все благополучно — конституции государств совершенствуются.

Он ударился о забытую шанцевую лопату, которая разрешила ему штаны и провела глубокую борозду ниже колена. Боль не показалась ему острой: одним шрамом больше, одним меньше, разве в этом дело?

— Алида, — сказал он почти вслух и ощутил всем существом неведомое чувство того последнего страха, от которого трезвеет голова и ноги делаются ватными. Он еще не видел ничего, а уже дыхание остановилось и жила на виске выгнулась такой дугой, что он услышал, как она набухает кровью.

Товарищ его, как будто он передал ему свое ощущение, нагнул голову и закрыл глаза, не выпуская, однако, палки. И тотчас же белое пламя вырвалось где-то вблизи, и дикий удар расколол ночь. Внутри белого облака прошли синие с красным полосой, и черный, чернее ночи, косой столб упал с таким скрежетом, что свело челюсти.

Они очнулись, когда их толкнули сзади; они побегли вперед и снова втянули головы, потому что черный столб возник теперь справа, и один комок грязи лег поперек лица Эрны, как след мокрой линяющей черной перчатки. Эрна размазал грязь, и они пошли дальше.

Теперь остановились передние, как будто им приказали остановиться. У развороченного перехода скопилась целая вереница носильщиков. Прожектор шел на них, неумолимо разворачивая свою широкую белую пилу. Прожектор дошел до них. Люди застыли. Лица стали мелочными. Руки поснели, точно их опустили в спирт. Тусклый блеск баллонов покрылся морозной корой. Щеки у людей ввалились. Кто-то заплакал от страха. На него цыкнули. Люди стояли неподвижно. Прожектор обшарил лица, задержался на баллонах и резко ушел в сторону. Люди потащились дальше. Но едва они прошли несколько десятков шагов, как с веселым свистом в небо вышла ракета. Она шла, набирая высоту, все выше и выше острым рубчатым огоньком, потом остановилась, лопнула, и на белых трех нитях повисли три маленькие луны, и эти луны начали превращать ночь в день. Им это удалось на такой промежуток времени, что можно было умереть от разрыва сердца.

Луны красовались над полем мертвых, потому что люди стояли, как прислоненные к стенам мертвецы. Никто не дышал. Эрна царапал

землю свободной рукой, и земля была мертвая, холодная, безотрадная.

Луны погасли. Шествие все продолжалось. Мимо них протиснулся человек, глухо шептавший:

— Осторожней, осторожней, шире расстояния, последние шаги, нагнитесь; передавайте назад, чтобы шли тише, как можно тише.

Ходы стали разветвляться. У каждого разветвления стояли ожидающие люди. Они указывали дорогу дальше. Как можно видеть в такой темноте — об этом никто не думал. Шли безостановочно. Нет, они уже не шли. Они тащили ноги с таким трудом и с такой тяжелой озабоченностью, точно несли стеклянные вазы. Эрн был полон злобой по самые плечи. Он никогда не ощущал смерть как распыление и исчезновение всего его существа так ясно, как сейчас. Он не помнил, сделал ли он сознательно это, или он действительно оступился. Баллон звякнул в полной тишине, баллон соскользнул с его палки и с ясным звоном ударился о какое-то дерево внизу. Была ли то обшивка окопа, развороченная бомбардировкой, случайное бревно — этого он никогда не узнал.

Кровь отлила от головы, потому что сейчас же как будто рядом началась стрельба, затем прошла очередь дежурного пулемета, рикошетирующие пули, отскакивая от невидимых щитов, фигурно отсвистывали свой конец.

Разрывные пули светились. Казалось, сейчас все покроется яростным припадком повсеместного огня, но суматоха исчезла так же внезапно, как и началась. Последние пули, кувыркаясь, зарылись в землю. Перед Эрной стоял человек, трясший его за грудь, и у самого своего рта ощутил он холодный запах маузера. Человек кричал придушенным голосом:

— Если ты, если ты еще раз уронишь баллон, я застрелю тебя на месте!

И он пошел сейчас же следом, так что его дыхание Эрна слышал так близко, точно тот сидел у него на плечах. Когда он спотыкался, дуло маузера тыкалось в его затылок. Четыре человека приняли от него баллон и унесли его так бесшумно, словно он ничего не весил. Эрн облегченно вздохнул. Офицер исчез.

Все носильщики, держась за руки, погружались в самую глубокую темноту, и это был блиндаж. Жаркое дыхание нескольких десятков людей согрело его. Эрн смутно вспомнил эскимосов, зимующих в снежных хижинах вповалку со свонми собаками; это было первое воспоминание из мира книг, из мира, давно погибшего, как Атлантида. Он лег между двумя невидимыми соседями. Огни папирос забегали перед ним.

Чей-то голос возник сверху. Человек говорил с лестницы блиндажа, не заботясь, слушали его или нет. Он привык говорить в тем-

ноту простуженным, лающим голосом, не внушающим никакого доверия.

— Отдых полчаса — не курить, — эй, вы там, аристократы!

Голос исчез, но огоньки остались. Люди на дне океана, считающие себя утопленниками, могут позволить себе роскошь не бояться простуженных голосов.

Эрне кто-то вложил в руку ломоть хлеба. На пальцы стекал холодный жир. Товарищ его, несший с ним баллон, сказал тихо:

— Жри, я украл две банки там, на пункте. Это консервы, не бойся.

И он начал есть липкое, пахнущее потом и землею, волокнистое мясо. Он насыщался поспешно, оберегая каждую крошку. Сосед слева хралел. Гул сдержанного разговора шел по блиндажу. Кто-то начал кашлять, закрыв рот рукой. Было впечатление, что этого человека непрерывно бьют в спину. Сосед справа перестал жевать. Он перегнулся к Эрне.

— Ты не спишь, Астен?

— Я не сплю, Фриц. Что ты хочешь? Спасибо за консервы.

— Брось. Я узнал сейчас, в чем дело. Раздери меня гранатой, но я мало понимаю. Ты, ученый, может, объяснишь. Знаешь, что в этих баллонах, которые мы тащили?

— Ну? — Эрна, облизывая пальцы, равнодушно слушал шепот.

— В них газ.

— Газ? Какой газ?

— Так я тебя и спрашиваю: какой газ? Что горит на улицах, что ли?

— Вставать! — сказал простуженный голос с невидимого порога. — По одному, тихо выходи. Не курить!

У

Кенс и

Жан Кенс и был весь день в прекрасном настроении.

Там, где он увидел вчера толстую крысу, там он увидел ее и сегодня. И даже крыса его развеселила.

— Тебя тоже призывали, — сказал он, не двигаясь с места. — Где же твоё оружие, собака? —

Крыса сидела, почесываясь, толстая окопная крыса, отвратительный законченный представитель своего племени. Она показала Жану мелкие узкие зубы, покрытые какой-то плесенью.

— Ты, оказывается, умеешь и смеяться, — сказал он. — Еще бы, ты живешь с нами жирно — это видно, но только это неправильно. Нам все опасности, а тебе все удовольствия. Ты жиреешь на нашей крови, как банкир на бирже, — это не дело. Ты подумай об этом в свободное время, его у тебя достаточно. И устрой как-нибудь так, чтобы это поскорей кончилось,

Он неосторожно сдвинул винтовку, крыса убежала. Ее узкий колючатый хвост минуту торчал из ямы, потом и он исчез. Кенси поглядел через бруствер. Тоскливые ряды проволоочного заграждения, низкие окопы германцев, воронки, налитые водой, размытая земля, проволока и столбы с пустыми консервными банками, висящими там и тут. Скучно!

— Я так привык к этому пейзажу, как к набережной Луары. Вот только кончится война... — Он задумался.

Он разговаривал сам с собой, потому что все его товарищи спали, кроме часовых, изучавших бронированную щель в щите, заложенном мешками. Ближайший часовой глядел в его сторону, делая знаки. Кенси подошел к нему. Деревенский парень не знал, стоит ли звать капрала.

— Капрал бредется, — сказал Жан. — Зачем он тебе?

— Немецкий аэроплан, смотри, как он крутится. Крутится, будто подбит, того и гляди, сядет.

Они стали смотреть оба. Немецкий аэроплан не думал падать.

— Вон там лежит Барак, — сказал часовой, — на той вон проволоке уже третий день. Я хочу просить капрала пустить меня за ним.

— Зачем он тебе понадобился?

— У него в кармане кости, которыми мы играем. Скучно без них, а с ними они пропадут. Я и хочу прогуляться за ними сегодня вечером. Они в таком хорошеньком стаканчике. Они, наверное, целы. Он прятал их во внутреннем кармане.

— Я пойду тоже с тобой. Кто-нибудь из нас донесет их благополучно. Как ты думаешь?

— Смотри-ка, что делает эта свинья!

Немецкий самолет сбросил черный столб дыма, и дым повис. Едва он достиг земли, как где-то взметнулись пушки и первые гранаты упали перед окопом, вспарывая мешки, разбивая доски, рубцую щиты прикрытий. И это уже была бомбардировка. Капрал выскочил сам. Появился лейтенант. Пространство за бруствером с надоевшей проволокой, с опостылевшими воронками через десять минут стало неузнаваемо. Все недолеты приходились на это пространство. Черные фонтаны земли следовали один за другим так часто, точно там резвилась целая партия необыкновенных китов.

Все лежали на животе с зелеными лицами. Гранаты, как электрические пуги, взрезали землю. Так было три дня назад, так и теперь.

— Приготовиться к атаке, — сказал лейтенант, и унтера подхватили его распоряжение. В блиндажах проверяли ручные гранаты. В пулеметных прикрытиях готовились к контратаке. Так было три дня назад, так и теперь.

Веселость Кенси не проходила, несмотря на то что он жевал щепоть табаку, чтобы утишить

зубную боль, которую вызвала у него бомбардировка. Ливень гранат прошел. Повсюду, как после майской грозы, ходили лиловые тучи, то свертываясь, то расплываясь, залезая в воронки. Так было три дня назад, так и теперь.

За обрывками туч шел зеленовато-ржавый туман, не смешиваясь с облаками гранатного дыма. Этого не было три дня назад, этого не было никогда. Туман надвигался, как на море, ровный, спокойный, не имевший никакого желания дотянуться до неба, он, скорее, шел, как бы согнувшись, и в его зеленоватой мути исчезало поле сражения. Бруствера уже не было. Все бросились бежать. Никто не знал, что произошло. Кенси вскочил в блиндаж, но мысль об атаке выгнала его оттуда. Погибнуть, как крыса, разорванным ручной гранатой, или получить удар по черепу — это не дело.

Он выскочил наверх. Он наступил на лежавшего капрала. Капрал лежал на животе. Он не был ранен. Он судорожно мямл всем лицом землю, грязную, темную землю окопа. Капрал сошел, по-видимому, с ума. Кенси бежал по окопу, и всюду в тумане лежали люди. Он наступал на них, падал, вставал и ничего не мог сообразить. Вдруг все поплыло перед глазами. Потом сознание вернулось к нему. Он задыхался. Непонятно было, от чего он задыхался. Он начал делать руками движения пловца, но плыть было некуда. Он начал кашлять, как чахоточный. Он чихал, из носа текла не то кровь, не то вода, он не смотрел, в голову стоял звон. Горло стало сжимать резиновое кольцо, сотни игл кололи небо, он вздохнул, он проглотил кусок зеленовато-желтого тумана.

Набережная Луары поплыла мимо, как картинка из кино. Она была ненужна. А что было нужно? Нужно было отыскать что-то совершенно необходимое. Пересмотреть молниеносно все впечатления памяти. Звон в ушах стал непереносим. Рот был полон мокрой слюзы, точно он наелся тины. Зеленые луга, деревья летели, как страницы разорванной книги, но это было все не то. Винтовка упала из его рук. Он вбежал на бруствер. В разрывы тумана он увидел громадное одиночество. Мир кончился. Всюду бегут и падают люди. Это и есть конец войны. Как странно она кончается.

Сердце останавливалось. Надо было искать скорее, скорее. Пронеслось белое здание лаборатории, кафель стен, кривое лицо налилось зеленоватой водой, но он не сдавался. На него обрушились разноцветные пробирки, вытяжные шкафы, языки спиртовых горелок, белый балахон. Да, конечно, Жан Кенси вспомнил: он же химик.

Стоя на бруствере, шатаясь и размахивая руками, он вдыхал зеленый туман, и дневная веселость возвращалась к нему удесятенной. Он уже не чувствовал резинового кольца на горле, он уже не знал, остались ли на его лице

рот или глаза, но, ныряя в зеленый мрак, он кричит — ему кажется, что он кричит, — то единственное, что нужно было крикнуть.

— Это хлор, — кричит он, — ведь это простой хлор!

И в мире наступает последняя тишина, которую разрушает черный гром. Это не граната и не взрывы сапы. Это башмаки, солдатские башмаки Жана Кенси и солдатские плечи Жана Кенси ударились о дно окопа.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

#### Анни

Стая голосистых подростков ворвалась в кафе, забросав столики листьями свежих газет. Они кричали со всем упоением возбужденной молодости, их глотки будущих солдат работали уже сейчас на оборону.

— Колоссальный успех!..

— Впервые в истории войн!..

— Достойный ответ врагу!..

— Кровавый разгром союзного фронта. Тысячи убитых. Колоссальный успех. Смертельные газы. Впервые!..

Люди бросали чашки и тарелки и хватали газеты, перегибаясь через спинки стульев, читали через плечо соседа, кричали «ура», кто-то требовал гимн.

Молодая женщина, сидевшая у окна, вздрогнула при первом крике мальчишек и долго искала мелочь, чтобы расплатиться за газету. Она развернула газету и начала читать, вглядываясь в каждую букву. Никто не обращал на нее внимания. Каждый по-своему толковал известие. Да, мальчишки кричали верно. Женщина читала: после сильной бомбардировки между Лангемарком и Биксшутом были выпущены удушливые газы. Вся позиция перешла в наши руки... Атаки были повторены двадцать четвертого и двадцать пятого апреля с большим успехом в районе к востоку от Ипра. Наши потери ничтожны.

Женщина дальше не читала. Она сложила газеты и оставила кафе. Она шла, точно сама наглоталась газа, почернев и дрожа. Прохожие уступали ей дорогу, некоторые оглядывались. «Верно, она потеряла кого-нибудь на войне, — думали они. — Ну, что ж, обычное дело». Временами женщина приходила в себя и останавливалась, чтобы перевести дыхание. Потом она снова бежала и бежала неопределенно куда, казалось, гонимая преследователями, и ее действительно преследовали. Газетчики и газеты захватили улицы, это был час вечернего выпуска. Казалось, женщина страшится именно этих газет. Она сворачивала в сторону всякий раз,

когда плотную подходила к людям, остановившимся с газетой в руках. Отчаяние не сходило с ее лица. Если бы рядом была река, она, не колеблясь, перешагнула бы мостовую решетку. Никогда в жизни она не тосковала так, как в этот вечерний час.

В домах зажглись огни. У подъезда стоял под фонарем человек с газетой. Женщина кинулась через улицу; прямо перед ней явилась в воздухе гладкая конская морда и лаковая гладкость шорных дощечек. Пена висела на треньзельной цепочке. Из рта шел пар. И сейчас кто-то схватил ее за спиной, повернул, и высокий человек укоризненно сказал, возвращая ее на тротуар:

— Сударыня, это неосторожно!

Она подняла голову, голос показался ей знакомым.

— О! — сказал человек уже растерянно. —

Анни, Анни, что с вами, вы больны?

Анни вцепилась в его руку.

— Это очень хорошо, что это вы, Винни. Ведите меня куда-нибудь, куда-нибудь. Я схожу с ума, Винни. Если бы вы знали...

Бурхардт вел ее под руку. Он вел ее, как раненую на перевязочный пункт. Пункт был далеко. Собственно, Бурхардт вел ее к себе домой. Анни шла, смотря в сторону, кусая губы. Она села на большой бурхардтовский диван и заплакала. Бурхардт смотрел на ее энергичное лицо, смягченное горем, и думал, что она еще красива. Долг дружбы обязывал помочь ей. Он погладил ее по плечу.

— Анни, — сказал он, — первый раз я вижу вас плачущей, Анни, успокойтесь. Неужели случилось что-нибудь с Карлом? Я принесу вам сейчас воды. Кто вас обидел?

Он принес воды, она резко отстранила воду и выпрямилась. Потом голова ее снова опустилась, и она чуть слышно сказала:

— Мне очень тяжело. Простите меня, мне слишком тяжело, Винни...

Новый поток слез хлынул ей на руки. Бурхардт ходил по комнате, мрачно смотря на женщину. Она вынула платок и зажала его в рот, ломая пальцы. Отчаяние ее достигло предела; она сидела с закрытыми глазами, платок упал.

— Удите, — сказала она.

Бурхардт, пожав плечами, вышел из комнаты. Он знал, как можно утешать своих легкомысленных приятельниц. Он знал, как разговаривать с женами приятелей. Он умел угождать их вкусам, ничем не жертвуя. Он гордился, что имеет твердый характер. Но Анни Фабер была особым человеком. Никогда в жизни он не думал, что она будет сидеть на его диване, захлебываясь слезами, как нервная девочка, она, холодная, умная, спокойная фрау Фабер.

Когда он услышал, что она встала с дивана, он вернулся в комнату, Анни стояла у стола.

— Нет ли у вас одеколона? — сказала она.

Он принес ей флакон и полотенце. Она вытерла слезы и освежила лицо.

— Не удивляйтесь, Винни, — сказала она печальным и ясным голосом. — Я не пробую улыбаться, ничего не выйдет, больше ничего не выйдет. Анни Фабер нет, как нет и Карла Фабера.

Бурхардт взял ее холодную руку и поцеловал.

— Я вас давно знаю, Анни, но я ничего не понимаю во всем, что сейчас происходит, — ничего.

Анни вернулась на диван. Она подняла с пола платок и разглаживала его.

— Вы читали вечерний выпуск? — спросила она, глядя в упор.

Его поразила огромность ее глаз.

— А, — сказал он, — газы... Вы, конечно, хотите сказать о газовых атаках. Это, должно быть, забавное зрелище, Анни...

— Забавное зрелище?! Вы сошли с ума! Вы ничего не знаете. Один человек сделал это. Мировой ученый, ваш друг, Карл Фабер, по доброй воле стал убийцей.

Она говорила, и плечи ее сводила судорога.

— Говорите все, — попросил он, — все, Анни, вам будет легче...

— Винни, вы знаете Карла. Не было человека, преданного науке больше, чем он. Я — химик, я была его помощницей. И не было человека счастливее меня, Винни. Меня упрекали за серьезность, за постоянную серьезность, но я умела смеяться и веселиться. Мы знали, что в жизни выше всего наука, и когда я влезала в свой лабораторный халат, я становилась юной, Винни.

Это были счастливые времена. Карл был окружен прекрасными помощниками. Его открыты известны всему миру. И недавно я узнала, что часть лаборатории давно стала тайной, закрытой для других лаборантов, охраняемой, как крепость. И в лаборатории появились военные. Они приходили, как к себе. Я думала, что они производят случайные опыты, и я спросила Карла, что происходит. И он смутился, мой честный Карл стал путаться, стал лгать мне и объяснять так, что мне стало ясно: дело идет о серьезной и громадной вещи, не будет же сам Карл заниматься случайными вопросами. Я сказала ему все, что думала. Я сказала, что люди вдвоем проводят жизнь, делают все пополам, или же они исчезают в разные стороны. Так у нас было до сих пор. Что поделать, у меня такой характер, Винни. И он открыл мне то, что я подозревала. Я не имею права говорить вам это, Винни, вы должны забыть то, что я вам говорю, — если об этом узнают другие, вам будут большие неприятности, — но я не могу, не могу не говорить.

Я узнала, что он разработал применение отравляющих газов в боевой обстановке. Я по-

холодела в ту минуту. Вы не химик, вы не можете себе представить ужас и мерзость этого дела. Никогда в мире ни один химик не решался на это. Я узнала, что дело зашло далеко, так далеко, что, как пишут сейчас там, в газетах, достигнуты большие успехи...

Анни говорила хриплым от слез и усталости голосом.

— Я умоляла его отказаться от мысли участвовать в этом деле. Солдат против солдата — честная битва, судьба которой решается искусством оружия, равным соревнованием сил, личной храбростью, я не знаю как, или намеренное страшное нападение на людей, ничем не защищенных. Он говорил мне, что англичане применили газ в снарядах, что нужно ответить им для спасения родины. Я не верю — об этом бы кричали наши газеты. Я не спала ночи с того дня, но я верила, что Карл в последнюю минуту откажется, найдет в себе мужество не стать палачом тысяч, легким палачом, Винни, человеком, сидящим далеко от всякого риска и хладнокровно, как крыс, умерщвляющим себе подобных. Для этого ли он прошел такой блестящий, такой изумительный путь ученого, чтобы завалить его трупами, бесконечными трупами, потому что, знаете, Винни, — такое оружие нельзя безнаказанно вынести на свет. В этом его проклятие. Оно сильнее всего существующего в мире оружия. Никакая граната не сравнится с газом. И у газов есть неисчислимый запас смертоносных комбинаций. Химики всех стран из патриотизма или из чувства самосохранения начнут такую же работу, Винни, что будет с человечеством? Человек, изобретший пулемет, ангел по сравнению с Карлом. Он дал слово, что он не будет участвовать в этом деле, и я жила три дня, как будто я только что вышла за него замуж, счастливая, такая счастливая, что вся моя лаборатория шутила надо мной, не понимая, в чем дело.

И потом он уехал... Он уехал, как он сказал, в научную командировку. И он не вернулся до сих пор. Прошло много времени, и его все нет. Он присылает записки, что командировка скоро кончится. Где он, я не знаю. И вдруг по секрету мне сообщили, задолго до нечести, о газовой атаке.

Мне рассказали подробности, от которых, Винни, у меня волосы стали дыбом. Я не могла есть, у меня пропал сон, я не могу больше ходить в лабораторию, я не могу видеть эти стены, я не могу смотреть в глаза людям, я не смогу больше видеть Карла, а без него я не смогу жить, Винни. Вот и все. Это так просто. Он нарушил слово, данное мне. Значит, он сделал выбор. Значит, все кончено. Зачем мне его объяснения? Я знаю, что он все объяснит. Он умный — умнее его мало людей на свете. Я ждала газет, но газеты молчали. И сегодня вечерний выпуск подтвердил все, все, и то, что

я не ожидала, — что это только начало уясов, только первые опыты, но не последние.

— Анни, я ваш старый друг, — сказал Бурхардт, — мы живем в тяжелое время. Много не под силу нам. Мы сгибаемся под тяжестью войны, но, Анни, вы не правы; некоторая мечтательность в вашем характере, удивительное сочетание ума и женственности...

— Не фальшивьте, Винни, не пробуйте меня утешать, я не хочу двигаться на каких-то духовных костылях. Ведь вы подумайте, Винни, пока мы здесь сидим, он там убивает новые тысячи, он душит их, как душат бандиты, хватая за горло, потому что хлор, которым он душит, парализует дыхание.

— Анни, а если вы ошибаетесь, — сказал Бурхардт, — а если это все-таки не он? А если он спокойно сидит где-нибудь в лаборатории и вовсе не думает ни о каких убийствах? Где у вас доказательства?

Анни нахмурилась. Она глядела на Бурхардта почти враждебно.

— Где доказательства? — Щеки ее сморщились, она дурнела на глазах. — Доказательства? Доказательства я получу сегодня же.

Она встала.

— Я не отпущу вас, — закричал Бурхардт. — Преступление отпустить вас в таком состоянии. Вы не доберетесь до дому. Вы попадете под автомобиль. Вы не смотрите, куда идете. Я силой задержу вас, но не отпущу. Карл не простит мне, если я отпущу вас сегодня.

— Я не девочка, и смена впечатлений уже не играет роли. Я понимаю вас, Винни. Конечно, незачем возлагать на вас ответственность за сегодняшний день. Вы были старым и добрым другом. Спасибо вам! Я уже спокойна. Если хотите, можете проводить меня домой. Я устала действительно и хочу отдохнуть. Простите меня за слезы. Я сама не знала, что могу так плакать...

Бурхардт проводил ее домой. Он шел и говорил о незначительных вещах и незначительных людях, чтобы развлечь ее. Ему показалось, что это удалось. Они спокойно вошли в квартиру Фабера, и она позвонила и велела дать чай. Потом она ушла и переделалась. Они пили чай, и она больше ни одного слова не сказала о происшедшем.

Уходя, он попросил позволения позвонить ей утром по телефону.

— Звоните, — сказала она, и они простились, как будто ничего не было.

Она стояла у окна и смотрела, как он шел по улице. Когда он завернул за угол, она поспешно собралась и вышла на улицу. Она остановила авто и сказала шоферу:

— Королевский институт.

Тяжелое здание каждым освещенным окном посылаю ей вызов. Первый раз она удивилась сухости воздуха и ослепительному равнодушию

коридоров. Прежде она этого не замечала. Фогель стоял перед ней, как всегда, растягивая рот в улыбке почтительной и удивленной.

— Уважаемая фрау, профессор... — начал он, но она остановила его, и Фогель померк; он убрал улыбку и насторожился. Пухлые руки его забарабанили по столу.

— Фрау Анни, давненько вы не были у нас, разрешите предложить вам стул.

Анни не села, она стояла перед Фогелем. Она была выше Фогеля, ненамного, но все-таки выше, его глаза были под ее глазами. Она смотрела на него сверху вниз. Это было естественно, но немного обидно.

— Фогель, скажите мне, где находится профессор Фабер?

Фогель изобразил изумление. Он потряхнул головой, и глаза его подпрыгнули.

— Профессор Фабер находится в лаборатории в Майнце. Разве вам это неизвестно, фрау Анни?

Анни села на стул. Рука ее прошла по столу и нашла руку Фогеля. Фогель сел по другую сторону стола. Анни сжала его руку.

— Вам известно, Фогель, куда он отправится из Майнца?

Рука Фогеля подалась назад. Анни задержала ее на столе.

— Он поедет в Леверкузен и Херст.

— Вы сочиняете на ходу, Фогель, или вы так хорошо выучили инструкцию?

Фогель убрал руку со стола, он даже убрал ее в карман. Он смотрел растерянно.

— Фогель, — сказала простым и тихим голосом Анни, — Милый Фогель, я знаю, что вы меня не сильно любите, но сегодня я буду вам говорить только неприятности — что делать: скажите мне, где находится мой муж, профессор Карл Фабер. Обойдитесь только без уворток, без вашей постоянной дипломатии. Фогель. Я прошу вас.

Фогель молчал. Он покраснел и начал жевать губы. Анни смотрела ему в глаза. Фогель молчал.

— Фогель, я спрашиваю вас, будьте раз в жизни мужчиной. Неужели у вас душа вытяжного шкафа, где проходят аккуратные воздушные вихри, и только?

Фогель молчал. Он выпятил нижнюю губу и был похож на рассерженного бульдога.

— Фогель, я отвечу за вас. Я знаю, где находится он. Я все знаю. Вы читаете газеты, Фогель? Я боюсь, что нет...

Фогель испугался, испуг прошел тенью по его лицу.

— Я уже три дня не видел газет. Я уже два дня не выходил из института, я питался бутербродами. Сейчас такая горячка. Я буду благодарен, если вы скажете мне, что в газетах, фрау Анни...



Анни сказала медленно, как стих:

— В газете напечатано, что профессор Фабер находится не в Майнце, дорогой Фогель, и не в Леверкузене, и не в Херсте, — вы ошиблись сегодня, — он находится в Бельгии, между Лангемарком и Биксшутом, восточнее Ипра, вот где находится мой муж, правда это, Фогель?

Фогель смотрел страдающими глазами.

— Правда это, Фогель? Зачем же вы скрыли от меня?

Фогель скрипнул зубами и закрыл глаза.

— Так, Фогель, и он проводит там газовые атаки. Газовые атаки, Фогель, имеют большой успех, это вы должны знать, вам это интересно знать. Вы имеете долю в этом успехе. Отныне ядовитые газы крещены вашим именем. Требуйте прибавки жалованья и железный крест. Вы заслужили. Правда ведь, Фогель?

Фогель стоял с закрытыми глазами. Анни перевела дыхание.

— Больше мне ничего от вас не нужно. Покойной ночи, Фогель! Можете не провожать. Прощайте и не очень сердитесь на меня. Передайте мой привет профессору Фаберу, когда он вернется из... Майнца.

Фогель стоял, опираясь на стол пухлыми пальцами, и рот его кривился. Анни вышла из института. Холодный ветер тряс весенние ветви. Вся ночь была в ее распоряжении.

Она шла ровным, медленным шагом, глубоко дыша. «Я прогуливаюсь, как на большом тюремном дворе», — подумала она и не могла понять, откуда взялась эта странная мысль. Дома она обошла все комнаты. Мебель стояла тихая, строгая. Она упрекала Анни в легкомыслии: все уже спят, ни к чему бродить по комнатам.

— В самом деле, ни к чему, — сказала Анни.

Она отступала из комнаты в комнату и задержалась в кабинете. Она зажгла маленькую лампу с зеленым абажуром. Профессор Фабер смотрел на нее со стола. Она положила портрет стеклом на стол, она держала на нем руку, точно искала пульс, но рамка была металлическая, холодная, сухая. Она прошла в спальню и села на кровать. Садясь, она толкнула ночной столик. С него со стуком упал причудливый флакон. Она не подняла его. Светлая лужа блестела на паркете. Пробка флакона разбилась вместе с горлышком. Слишком тонкий флакон, надо будет покупать флаконы из толстого стекла. Завтра прислуга будет ворчать на непорядок. Она всегда ворчит на Анни. Она не ворчит только на Фабера.

Анни разделась. Она стояла у шкафа, забыв, зачем она раскрыла его. Потом она отыскала белый халат, рабочий белый халат и запахнула его решительно. Не зажигая света, она прошла в рабочую комнату. Эта комната была маленькой лабораторией. Шкафы с приборами, шкафы с книгами, шкафы, загроможденные

одними стеклянными предметами. Она заперла дверь. Свет проникал со двора, желтый, мягкий, ничуть не страшный. «Почему иные боятся лунных ночей?»

Все в этой комнате известно наизусть. Даже в темных углах можно не зажигать света. Вещь, которую она держала в руках, не походила на разбитый флакон и даже вовсе не походила на флакон. Анни села на окно. Видны были небо и деревья. Последний раз на земле под окном был сад. Она открыла форточку, села удобнее, закрыла глаза и запрокинула голову. Наступила тишина. Очень долгая ночь была в распоряжении фраз Анни.

## П

### Скорость

За толстыми зеркальными окнами купе специального поезда летела ночная Германия. Поезд не уменьшал хода, встречая вагоны с солдатскими эшелонами, товарные составы, груженные снарядами, маленькие станции с заспанными дежурными, громадные города, огнедышащие вулканы заводов, горы каменного угля, крестьянские тележки, застрявшие у шлагбаумов, освещенные вокзалы, виадуки, эстакады, насыпи, одиноких пешеходов, бродяг или дезертиров в темных полях. Поезд был специального назначения, и люди в купе были специальные. Профессор Фабер сидел, расстегнув жилет и сменив ботинки на мягкие туфли. Против него помещался человек гигантского телосложения, точно на него пошел материал, которого в природе больше не встретишь. На короткой шее была помещена плотная, круглая, как бочка, голова. Обручи удалось замаскировать. Вернее, они росли в мясо. Руками лопат он сгребал воздух, когда говорил, и гнал его на собеседника. Потому он старался двигать ими как можно медленнее. Золотые зубы, блестящие из-под коротко подстриженных усов, походили на червонцы, обрубленные по краям. Большой бриллиант смотрел из галстука.

Фамилия человека была велика, как он сам. Он даже не назвал ее. Она действительно была бы слишком громоздка для узкого ночного купе. Все равно, профессор Фабер знал, с кем говорит он, и говорил резко, но с уважением. Пассажир продолжал начатый разговор, не обращая внимания ни на скорость поезда, ни на позднее время, ни на случайное место. И то, и другое, и третье были для него вполне обычными.

— Я следую иногда заповедям, написанным не святыми людьми. Товар святых людей сейчас мной не воспринимается всерьез. Один великий муж выразил мою мысль следующими словами, с которыми я глубоко согласен: империя есть вопрос желудка. Мировая империя есть вопрос мирового желудка. Сегодня же-

лудку прописана диета. Кровяное лечение, но этого мало. Если вы не хотите революции, вы должны стать империалистом. Мы уже империалисты, и это пол-успеха. Я настаиваю на том, что мы должны кончить войну как можно скорее. Положение еще не катастрофическое, солдаты еще сражаются, заводчики получают хорошие прибыли, рабочие еще молчат, но генералы должны поспешить с победой, и вот почему. Как поделят мир державы — неизвестно, а как он поделен капиталистами — мы немного знаем. И Международный пороховой и динамитный трест, и Международный рельсовый картель, и Международная компания морской торговли, Международный цинковый комбинат, и Всеобщая электрическая компания, и Мировой нефтяной трест, и десятки других мировых соединений жили до войны как самостоятельные державы, поделив между собою страны и зоны влияния. Теперь это равновесие нарушено. Иные договоры временно приостановлены, иные лопнули. Если вы разбираетесь немного в нашем деле, то вы знаете, что такое общество-мать, это мировое объединение, основное предприятие; если им не затронуты некоторые малые страны или если оно ищет новых путей, то оно позволяет вырастать обществам-дочерям, с тем чтобы их основной капитал не превращал акционерный капитал общества-матери. Ясно вам, что будет или не будет военная победа, капиталы перегруппируются заново вне патристической зависимости. Если вам скучно, я могу говорить о женщинах. Я могу даже познакомить с некоторыми, и вы не будете раскисаться...

Фабер сказал:

— Продолжайте, я вам тоже кое-что расскажу.

— Хорошо, я продолжаю. Я не настоящий немец. Я космополит, но все мои корни здесь, в Германии, и рубить с размаху такое крупное дерево не в моих правилах. Люди моего характера — космополиты. Мы сильнее дипломатов и генералов; если мы захотим, самая могучая армия останется безоружной. С толкователями общественных систем, с философами и социалистами у нас небольшой конфликт, ибо мы просто иначе понимаем назначение вещей во вселенной, чем они. Кроме того, в нашем деле понятие нейтральность — вполне условно. Я допускаю сейчас, что Крупп поставляет Франции снаряды или динамит Англии. Я знаю, что британский флот снабжается оптическими приборами германских фирм «Цейс» и «Герц», что колючая проволока для верденских фортов доставлена через швейцарскую границу фирмой «Магдебургер Драт унд Кабельверке». Когда есть избыток, это не так страшно. Гораздо обиднее, что ваш большой океанский тоннаж, застрявший в Америке, едва не был превращен

в вспомогательные крейсера. Это значит не понимать положения. Это уже ошибка.

Военные затруднения Франции сейчас очень велики, финансовые дела Англии в большом беспорядке. Самый удобный удар можно нанести сейчас. Переход огромных колониальных владений в руки Германии, изменение финансового и торгового лица Европы даст нам возможность в случае полного, невероятного разгрома захватить в свои руки то основное, что сделает Германию единственной страной-матерью, переведя все остальные страны на положение дочерних. Повторяю, в случае полного краха Антанты, с такими людьми, как Захаров и Армстронг в Англии или Шнейдер во Франции, договориться будет не так трудно. Денежный рынок сейчас в не очень блестящем положении, и желание мира отодвигается только ростом вооружений, то есть возникновением новой колоссальной отрасли на свежем месте. Уверю вас, что и на Бэрэнштрассе вздохнут спокойнее, узнав о скором конце войны, чем о бесконечной войне, хотя бы и с военными трофеями. Я был в Роттердаме и Копенгагене, и с хлопком плохо. И очень плохо с резиной. Есть проект доставлять каучук из Америки на подводных лодках, но это слишком пахнет романтикой. Я слышал про ваши опыты с удушливыми газами. Это замечательно только в том случае, если мы оправдаем их применение быстрым приближением к победе. Так ли я говорю?

— Вы говорите совершенно верно, — отвечал Фабер. — Они там, наверно, я не буду называть их, делают ошибку за ошибкой. И когда я говорю, что надо делать, — они усмеваются почтительно и отвечают, что у меня не военный мозг. Да, у меня мозг ученого, я не знаю, что больше весит. Хотя, впрочем, я знаю. Наши враги ближе к истине, чем наши полководцы. Они говорят: в жилах войны течет расплавленный уголь, уголь — вот первый маршал сражения. Он считает, он формует, он начинает орудия. Уголь — это пароходы, уголь — это поезд. Что такое пулеметы и пушки? Снаряды — это уголь, они выделяются из угля, они начинаются углем. Боевая сила их, сидящая внутри, — это уголь. Война — это поединок между вестфальским углем и углем Кардиффа. Уголь — это смерть и жизнь. Уголь — это победа. Они учитывают силу, действующую сегодня, но они пока не знают силы, которую вызвал я: газ против угля, газ против их мускульного напряжения, газ против лихорадки голого патриотизма, газ против потных масников, любящих рукопашную, газ — демократическая смерть без всякого пафоса. Газ — это победа. И эти идиоты не понимают, что, если бы они поверили мне до конца, наша гвардия уже грузилась бы в портах Ла-Манша, чтобы завтра быть в Дувре. Вместо этого они занимаются кустарничеством.

Я не отрицаю личной храбрости. Эмден, Кенигсберг, Мове — чудные приключения для юношества, или бессмертные крейсера-призраки, сегодня здесь, завтра там. Сегодня они бьют неприятеля у берегов Перу, а завтра их топят у Фальклендов. Одной телеграммой больше. Налеты на курорты Англии с разбиванием черепиц и взрывом купален — это пикник с дешевой выпивкой и битьем стаканов. Цепелины над Лондоном и Парижем — только рекламы войны, не больше. Какие-то потные изобретатели сидят и придумывают вариации мин, блиндажей, маскировок; один человек додумался поливать горящим маслом окопы, я видел его мельком на фронте, мне его показали. Тупое лицо, низкий лоб, усы лавочника, вы понимаете — жарить французов в масле и подавать на стол высшего командования — блестящая идея, рожденная в голове провинциала. С таким же успехом можно из лейки поливать Излоустунский парк. И они помешаны на каких-то кустарных вымыслах, точно война будет длиться тридцать лет. Я положил предел этому, когда сказал им: поверьте в меня, поверьте в газ. Англия имеет тонну хлора в день, наши заводы дают нам сорок тонн в день; они не поверили, и когда шесть тысяч человек легло сразу, они с недоумением заняли окопы, они не понимали, что это поворот, что это открытие оружия, равного которому нет. Так когда-то тупые рыцари, по которым били из пушек, никак не хотели расстаться со своими латами. Я с трудом добился, что они теперь по всему фронту будут применять газ. Они не спешат, когда нужно спешить. Нужно спешить, потому что, к сожалению, я в мире не один. Химики еще существуют. Мои друзья в Англии и Франции с удовольствием примут вызов. Мы должны работать ночь и день. Мы должны заготовить оборону против неприятельского газа. Началось состязание гончих, и у нас сейчас преимущество в беге, но скоро его не будет. Мы будем идти голова в голову. И тогда на каждый газ мы должны отвечать сверхгазом, на каждый противогаз — сверхпротивогазом. Маска войны будет меняться ежемесячно. Но вы, может быть, не совсем представляете, что такое газ. Газ можно пускать облаками, волнами, газовыми завесами. Можно наливать его в снаряды, можно начинать мины, можно превратить каждую развалину, каждый окоп, лес или улицу в газовую западню, можно заставить людей плакать или смеяться, можно заставить их чекаться, как обезьян, реветь, как буйволов, извиваться, как змей. Им будет казаться, что они вдыхают озон, — но это будет дымовая завеса из желтого фосфора; они войдут в сады, где воздух пахнет весенним соком, а это будет этиловый эфир бромуксусной кислоты. Хлористый нитробензол покажется им ароматом забытой

родины, покоя и уюта; целый город будет пахнуть геранью, фиалкой и мятой, и весь гарнизон его будут составлять мертвецы. Мы образуем химические садоводства. Я не безумец. У меня нет военный мозг — они правы. Я ученый, которому надоело наблюдать доисторическую свалку, где бьют острым по тупым головам. Но я твержу только одно: надо торопиться. Пока враг говорит: главное — уголь, мы можем жить. Если завтра он скажет: главное — газ, вы понимаете, что последует? А они перебрасывают, перебрасывают, перебрасывают тысячи людей с запада на восток, с востока на запад, как будто дело только в том, чтобы непрерывно гонять эти тысячи, как крыс из норы в нору.

— Все, что вы сказали, очень серьезно, — сказал гигант. — Но ведь вы перевортываете все мировое военное производство. Знает ли мир, кому он обязан этим?..

— Он, конечно, не должен знать. Я псевдоним. Нет никакого профессора Фабера, есть наука, предпринявшая маленький опыт, выйдя за стены лаборатории. На Ипре меня называли человеком в зеленых очках — и этого достаточно. Правда, любителя горящего масла зовут Князем Тьмы, и это верно: бутафория всегда имела соответствующее имя.

— Вы едете сейчас в Берлин? — спросил гигант.

— Нет, я еду домой. Я немного устал и немного соскучился по своей лаборатории, по жене и друзьям. Фронт довольно грязен. Я вчера нашел у себя вошь. Я выкинул белье и принял горячую ванну.

### III

#### Хитченс

Лейтенант Хитченс еще раз перечитал письмо. Все стало как в тумане: «Вавилония», двенадцать тысяч тонн грузов и металла, продырявленного, обволоченного паром, шипящего, погружающегося в воду, и вместе с ним — это очень трудно представить — уходит под воду, задыхается среди обломков единственная нужная ему женщина. Артиллерийский лейтенант кричал на свой взвод влево от Хитченса. Что же, лейтенанту пожаловаться лейтенанту? В этом чудном мире остались только офицеры и солдаты, других человекоподобных не наблюдается. «Очень хорошо, лейтенант Хитченс», — сказал он себе, и глаза его ослосвели, как после трех ночей пьянства.

И в тот же день бежала его рота. Она покинула окопы, принимая туман за волну газа. И когда он посмотрел на туман, у него закружилась голова, но он сдержался и вернул роту, он позвонил на соседний участок и на батарею. Дело было плохо, соседний участок не пил, не ел и не спал. Люди готовились или умереть, или бежать, — скорее, последнее. Не обнару-

живалось никакого присутствия духа. Офицеры кричали на батарею, чтобы она открывала огонь. Батарея стояла далеко и чувствовала себя в сравнительной безопасности, но ясно было, что орудия будут брошены при первой панике.

Ужас витал над всем фронтом. Вспышки случайных выстрелов принимались за начало огнеметной атаки. Всякий дым и туман — за волну газа. Огненный и воздушный призраки парили на легких крыльях над всеми окопами.

Хитченс сидел на совещании офицеров батальона, и все лица походили на вопросительные знаки. Командир батальона был в дивизии, и в дивизии сидели не люди, а какие-то смятенные и подавленные существа с нашивками и ленточками.

— Принимают самые энергичные меры, — сказал командир батальона, стараясь не усмехаться.

— Принимают меры, а чем можно затыкать рот и нос, если завтра они и снова выпустят газ?

— Мокрой марлей из индивидуального пакета.

— Индивидуальные пакеты неприкосновенны.

— Мокрые носки полезны не менее.

— Умирать все сразу или на другой день?

— Инвалидность обеспечена, дорогой мой!

— Танцевать на празднествах по случаю окончания войны можно в черных очках и на костылях, украшенных Юнион Джеком и орденом Подвязки.

— «Вавилония» погибла, — сказал Хитченс. В его глазах стоял серый туман, который его рота приняла за газ, — серое море, перископ в волнах и женщина с американской открытки.

Лейтенант Хитченс постарел за один день на десять лет. Может быть, потому, что он каждый час готовился к смерти и все не мог решить: нужна она ему еще или нет. Потому он долгие часы проводил перед изломанным баллоном, искоренным пулями и ударами штурмовых лопат.

Полковник застал его за этим занятием и удивился углубленному взгляду своего офицера.

— Вы выглядите страшно умным, Хитченс, — сказал он. — Над чем это вы философствуете?

Тут полковник наклонился и узнал остатки германского огнемета, отбитого недавно.

Хитченс ползал перед ним, как бы совершая обряд поклонения испорченному куску металла.

— Я хочу им вернуть обратно все, — сказал он, — и хороший огонь, и хороший газ, но этому надо поучиться. Кое-что я уже сообразил.

— Похвальное дело, — сказал полковник.

И на четвертый день Хитченс ехал в Лондон по серому морю, где сквозь туман за пароходом шел узкий столбик перископа. В каюте Хитченс вскакивал каждый час и непременно хотел разрядить кольт в темную дверь каюты,

откуда его поливали горящим маслом и он осязал запахи паленых волос. В багаже его казался германский огнемет и докладная записка о возможности создания аппарата, подобного огнемету, но выбрасываемому не маслом, а газом. Газ нужно было найти, ибо фронт сходил с ума от страха, и никто не мог поручиться ни за что. Он соскочил с койки еще раз и увидел женщину, лежавшую на дне моря, она пришла и стояла в дорожном костюме на пороге. Это была просто его знакомая, не имевшая ничего общего с пассажиркой «Вавилонии», и, однако, он направил на нее кольт, но выстрела не последовало. Кольт был не заряжен. Женщина подошла к нему, и так как она была только что на фронте, она знала многое: она знала, как легко там потерять равновесие и все, что с ним связано.

И тогда он бессвязно и в первый раз после получения письма рассказал ей о том, чем была для него женщина, не доехавшая до Англии, и он захотел выйти на палубу подышать свежим воздухом. Но его спутница запретила ему это. Она нежно обняла его и усадила на место. Ей было известно, что за ними идет подводная лодка, и увидят ли они Англию на рассвете — неизвестно. Они долго говорили о разном и так устали, что заснули сидя, прислонившись спинами к вздрагивающим стенкам каюты.

Женщина проснулась первая. Серое море было видно отчетливо в иллюминатор. Чемодан Хитченса был раскрыт, и вещи в нем находились в диком беспорядке. Ей захотелось сложить их поудобнее. Первыми под руку попались газеты, привлекавшие ее внимание. Это были германские газеты, захваченные Хитченсом из штаба дивизии, так как там приводились некоторые подробности газовых и огнеметных атак в сообщениях специальных корреспондентов с фронта. Женщина равнодушно скользила по узким столбцам и готическим строкам — она свободно читала по-немецки. Она задумалась и вертела газету из стороны в сторону.

«Вести из Сербии», — прочла она заголовок статьи, — с санитарным отрядом от Белграда до Ниша». В Сербии был ее знакомый офицер, и она прочтала внимательно несколько строк: «Ужасный тиф свирепствует на нашем пути: Мы страдаем от него не менее голодного и раздетого противника, бегущего в безумии поражения к морю через снежные горы. Вчера заболела тифом старшая сестра Алида фон Штарке, и мы оставили ее в Кралевце, в десяти милях...»

Женщина вспомнила, что ее знакомый не имеет никакого отношения к германским санитарным отрядам в Сербии, и бросила газету. Хитченс спал с крепко сжатым ртом, постаревший и серый, как море. Ему снился огнемет. Женщина вздохнула. Пароход входил в гавань.

## Первая помощь

Кровью были покрыты столбы, поддерживавшие соломённый навес, кровь стояла лужами на земле, кровь пропитывала кучу брошенных бинтов, солому, грязные доски, на которых лежали раненые, кровь стекала по рукам работавших с засученными рукавами людей, кровь можно было набирать в стаканы, кружки, бутылки. Кровью залитые винтовки и палки были сложены в углу, кровь стояла в пустых носилках, кровь выбивалась из каждого человека, который стоял, лежал или полусидел под двумя яркими лампами. Кровавые следы шли от навеса в разные стороны. Крови было столько, что ее уже не замечали. Перевязочный пункт был первым пунктом раскрепощения от войны. Тут можно было реветь, вопить, кусать пальцы, ругаться, проклинать, не боясь окрика начальства.

Доктор, как могучий борец, бросался на каждого раненого и клал его на лопатки. Его помощники сортировали людей, как товар. На лево контуженные трясли деревянными головами, не произнося ни слова. Направо умирающие широко раскрывали глаза и ударяли руками по земле, стараясь удержаться за что-нибудь перед той пропастью, в которую они падали.

Доктор мял, тискал, резал, рвал мясо: он не нуждался ни в спирте, ни в морфии, чтобы держать свои нервы в порядке. Храп мотоцикла дошел до его ушей, но не сказал ничего нового.

Освещенный луной солдат танулся перед ним, расставив ноги шире, чем полагается человеку, просто стоящему во весь рост. Короткий кашель, похожий на кашель курильщика, непрерывно вылетал из его рта. Он сказал только одно слово, которого никто не понял.

— Раххазз, — сказал он. Зеленой бронзой сверкавшее лицо солдата стало чернеть, как ламповое стекло, покрывающееся копотью. Он упал навзничь. Санитар нагнулся к нему, поднялся, позвал товарища, и они вдвоем отнесли его направо. Голова индуса легла на грудь его ночьюму попучику в самом длинном из путешествий.

— Третий случай, — сказал санитар, и к нему подошли двое.

Они опустились на колени перед индусом, направили на него электрическую лампочку и вынули записные книжки. Они ощупали набухшие подкожные вены шеи; открытый рот был переполнен слюзью, пенистой и зеленоватой. Они ворочали покойника, сняли мундир и пояс, вытянули руки, синие, худые; щеки и нос стали тоже синими и худыми. Они записывали в книжку все подробности.

— Обрати внимание, — сказал один, — гиперемия слизистых оболочек... цианоз губ. Я видел его вчера. Он вез донесение и был живе-

хонек. Они умирают не сразу. Что ты думаешь? Я думаю, это новый газ!

— Помнишь, утренний жаловался на глаза. Он ослеп за обедом и пролил суп на колени. И умер слепым, а перед тем он пел.

— Я больше не могу, я не могу! — закричал человек, лежавший в самом темном углу. — Провалитесь вы с вашим солопочным пунктом...

— Следующий! — кричал доктор, он жевал резину. Он не нуждался в спирте или в кокаине.

Прислонившись к неподвижно лежавшему товарищу, человек кричал в темноту, как будто он стоял на кафедре баптистов и приносил покаяние:

— Я был медиком, я был вивисектором, я брал собак, брил их, распластывал их, растягивал на станках, я заживо резал их.

— Замолчи, пусти ему пулю в лоб. Пусть он замолчит.

— Я копался в их внутренностях, я морил их голодом.

— Послушайте. Эй, вы, возьмите себя в руки. Чертов медик, чем хвастается!

— Я вливал в желудок острые кислоты, кипяток, яды. Я пропускал через них электрический ток...

Глухая брань и стоны приветствовали речь бывшего медика.

— Я обливал их керосином и сжигал. Прижигал глаза уксусной кислотой...

— Довольно, остановите этого человека!

— Доктор, заткните ему глотку сапогом!

— Я давал им рвотные. Я накладывал лигатуру на пищевод. Я сам сейчас как эта собака, и все вернулось ко мне. Мы все...

Чудовищный кашель бросил оратора на пол, и тогда врач положил скальпель и подошел к нему в сопровождении тех двух с записной книжкой.

— Я боюсь, что это четвертый, — сказал державший наготове карандаш.

Оратор лежал, раскрыв рот, и красно-бурые глаза его смотрели в солому, свешивающуюся с потолка, как бы боясь, что крыша упадет на его голову. Пена окутывала губы.

И тогда фонарь осветил человека с перевязанной рукой и прокушенной губой. Губу прокусил сам человек. Он окаменел и придерживал бинты на левой руке своей здоровой правой.

— Как дела, Хитченс? — сказал врач. — Что вас принесло снова из Англии?

— Мне не хватало одной детали, и вот я достал ее и заодно заработал на этом огнемете. О, я вам скажу — это не так слабо.

Зубы его снова впелись в нижнюю губу.

— Чем вам помочь, Хитченс? Надеюсь, вы не наглотались газа? Начнете вы мне тут чихать и вытягивать ноги. Хотите морфия?

Человек покачал головой отрицательно. Зубы медленно разомкнулись.

— Я не хочу. Я хотел бы знать. О! — Он снова схватился за руку. — Я хотел бы знать имя человека, который пустил огнемёт на пользу человечества. О!

— Вы остались шутником, Хитченс, — сказал доктор. — Бодритесь, бодритесь. Я отправлю вас перед рассветом. Сейчас дорога под обстрелом. Я тоже дорого бы дал, чтобы узнать, от чего умирают они. Третьего дня у меня был бенефис. Люди отправлялись на тот свет из самых разных мест: один падал с ложкой в зубах во время обеда, один ослеп, как только лег на кровать, несколько человек кашляли до тех пор, пока не показались желчь и кровь, а потом они умерли; один свалился на допросе в штабе. Скоро кровавый лазарет отойдет, по-видимому, в область предания. Люди будут умирать прилично — не загрязняя обстановки, можно будет здесь поставить бархатные диваны. Это результат нового германского газа. Хитченс. Одно могу сказать: новинки приходят к нам без опозданий. Один офицер рассказывал мне, что он шел с батареей и дышал чудным утренним воздухом. Ба! Его точно стукнули по голове — глаза стали краснеть, и к вечеру он ослеп. Через две недели к нему вернулось зрение, но сердце стало никуда не годно. Он попал — они называют такие места карманами — в сгущенное маленькое облако застоявшегося газа. Ну, крепитесь. Так не хотите морфия?..

Вошел шатающийся человек с пеной на губах и схватил доктора за рукав.

— Так, — сказал доктор, — а вот и номер пятый. Ральфи, дайте ему стул. Пускай он умрет с комфортом.

## V

### Smoking room

Комната была полна дымом, но это не был острый дым сражений, это не был газ. Это был дым сигар, папирос, сигарет и трубок. Комната служила smoking room'ом, курилкой. Молодые люди, сравнительно молодые люди, сидели в креслах, на плетеных стульях, иные прямо на столах. Каждого входившего встречали возгласами дружескими, насмешливыми, иногда почти школьническими; со всех фронтов вернувшиеся химики и физики, потевшие в лабораториях газовой службы, чтившие богами таких людей, как лорд Рейлей, Вильям Рамсей, полковник Гаррисон, Оливер Лодж, — взапуски рассуждали о своих достижениях, о неудачах и превратностях войны.

— Кто видел последний раз Этвуда? — спросил темновидный химик.

— Этвуд убит четыре месяца тому назад: ему оторвало голову, его схоронили без головы; мы нигде не могли найти ее, — ответили из клуба дыма, висевшего над диваном. — Я был

ранен в том же бою в ногу. Три недели в Льюл-банке, месяц отдыха — и потом я здесь.

Разговор шел по комнате, как целая толпа смерчей, очень легко переходивших с места на место и во временам выраставших до потолка.

— Старик Дьюар прямо сказал тогда же, что это хлор; так это и оказалось.

— Кто бы мог подумать, что индиго сыграл такую роль?

— Мы перетряхнули тысячи красящих веществ. Мы пробовали опыты с азотноватым ангидридом. Купер получил воспаление легких и сошел с этого дела. Медные опилки, облитые азотной кислотой, заменяют самый лучший сквозняк. Но потом мы перешли на бром, йодистый бензол, метиловый эфир.

— Мы работаем, как на гонках. Если я отдыхаю или курю больше часа — это уже преступление. Конечно, наша работа — вопрос жизни. Мы следим за всем, что делается на фронте, как сыщики, — за случайным облаком газа, за неожиданным газовым снарядом. Мы роемся в дымящемся навозе войны, чтобы собрать самые горячие испражнения. Я думаю, нас мобилизовали не менее двух тысяч, и все еще мало.

— Я уже забыл, какого цвета волосы у де-вушек. Я воняю, как труп, валявшийся в хлоре неделю. Я потерял вкус к жизни.

— Где будет ближайшее наступление? — мечтательно спросил самый юный и сам ответил, не дожидаясь отклика: — Я думаю, если проследить разрывы последних новых газовых гранат и отложить от этого места триста километров к западу или востоку, это будет не сильной ошибкой.

Некоторые засмеялись.

— Мы до сих пор, однако, не удосуживаемся спросить, в чем дело?

Химик из Харборо подпрыгнул на стуле.

— Дело в снарядах! Наш старичок как-то сказал, что Германия — это опера вроде Вагнера, где борются злые и добрые духи, — я сам слышал это своими ушами в Бангоре, — и что вот он верил, что добрые духи вырвут душу Германии из плена, — и ничего не вышло. Душа нырнула, как он сказал, в море крови, и мы имеем дело с военной кастой, а потому ливнем снарядов, сорок дней и сорок ночей, дождь из гранат, которые разрешено нам начинать, чем мы найдем нужным.

— Старичок — это, конечно, Ллойд-Джордж.

— Ну кто же иной будет пускать в ход Вагнера?

— Ллойд-Джордж, — протянул неуверенным голосом австралийский физик, — некоронованный король Англии, диктатор типа Дракона. У него в характере есть нечто от Кромвеля, недаром он индипендент, и от Нокса есть тоже кое-что — он лучший смазчик колес британской государственной машины.



— Надо было предупредить германцев, надо было нам начать первым эту химическую войну. А теперь приходится гоняться за каждым их снарядом, чтобы выдохнуть дальнейшее. Хотя я не знаю, что лучше — сидеть в окопе или каждый день иметь дело с фосгеном наедине. Сколько уже наших отправилось отдыхать до самого Страшного суда.

— Я потерял руку, будучи только в Дублине. Я обязан любезности сэра Роджера Кэсmenta. Говорят, его расстреляли на носилках, он не мог стать на ноги, он был ранен.

— Ничего подобного. Он говорил три часа в свою защиту, и все-таки его повесили. Но кого-то действительно расстреляли на носилках.

— Мой друг ирландец — я не знаю, где он теперь, — так часто в свое время повторял мне молитву фениев, что я запомнил ее целиком:

О Туль, услышь нас!  
О Туль, спаси нас!  
От английской цивилизации,  
От британского закона и порядка,  
От англосаксонского лицемерия и свободы!

Вокруг заоплодировали и засмеялись.

От владычества Британии,  
От раздвоенного копыта.

— Подумаешь! — сказали в углу.

От необходимости ежегодного восстания.  
От военного постоя.  
Довольно! Довольно!  
От мнимых судов.  
От всех других вещей чисто английских...

Поднялся легкий свист. Кто-то насмешливо продекламировал:

Британия, Британия...  
О, если б только знать она могла,  
Как за ее коварство все народы  
Ее клеймят...

...Не она ли  
Суровый сторож мрачной их тюрьмы...

— Кто это? — спросило несколько голов. — Немецкая стражня?

— Это только Байрон. Правда, он ощущается как архаизм. Мы знали войну, власть, ответственность, мы отвечаем за свои годы и за свои дела.

Человек в крагах резко встал.

— Ирландия в союзе с Германией — это предательство. Двух мнений быть не может. Завтра они подымут Индию, как подняли старого дурака Девета в Африке. Мы ставим вопрос ясно и отвечаем ясно. Каждая нация имеет миссию. Миссия англичан — сплотить всемирную империю, которая создается силой, а не руками, затянутыми в лайковые перчатки. Освободимся от школьного вздора и поймем следующее: если все нации так или иначе начинают грабежом, то это значит, что пираты являются лучшими соиздателями империи.

К счастью, кровь, порождающая пиратов, еще не иссякла у нас. Когда это случится, Великобритания перестанет существовать. При создании и защите империи не может быть понятий: справедливо или преступно. Есть лишь одно право — право более сильного и более способного. Сильный должен господствовать, не справляясь, желает ли этого слабый или нет. Народы попадают в тигель войны, и на алмазковой наковальне судьбы боевой молот сплюсчивает их в форму, назначенную господом.

В конце концов наш Юнион Джек недаром служит нашему богу. Святой Георг, разве это не первый Томми Аткинс, а святой Стефан разве не первый Джек Тар? В настоящей войне, как никогда, мы ощущаем не военное искусство маневров и ударов, а выносливость наций, длительность сопротивлений. И разве генералы не зависят сейчас от того, что скажем мы, мы — сидящие в лаборатории, чтобы получить противогазы для защиты и газы для нападения? Ллойд-Джордж говорит о ливне снарядов. Кто даст им начинку? Мы — и никто другой.

— Это ужасно, — воскликнул бледнощекий с зарубцованным легким. — Ужасно, что это выпало на нашу долю. В конце концов эти газы открыты давно, и ученые даже не думали предлагать их для цели уничтожений. Еще Байэр, Каро, Лаут, Витти в восьмидесятых годах знали прекрасно их свойства, и, будь они живы, они, я уверен, заколебались бы.

— Ты не прав, — сказал потерявший руку в Ирландии, — нам привили бешенство. Нами овладела злоба, такой злобы в мире еще не было, та злоба, которую не остановить, потому что мы стоим на рубеже отчаяния и поражения. Кто знает силу будущих германских атак? Если б вопрос войны решали одни рабочие, или социалисты всех стран, или одни ученые, они, может быть, решили бы его иначе. Но у нас отнято право иного выхода. Возьми Хитченса. Когда он избрал свой изумительный газомет, давший чудесные результаты? Не тогда, когда он тихо сидел в окопе и изредка стрелял, а тогда, когда любимейший человек погиб от германской подводной лодки и он нашел в себе дикую злобу, такую ясную, что в ней, как в озере, прочел о возможной гибели всей страны и начал мстить тем же оружием. Так обстоит дело.

— Может быть, так, но посмотри, Винцент, сколько наших товарищей осталось во Франции. Я подсчитывал. До сих пор не вернулось четырнадцать. Четырнадцать молодых талантливых людей разорваны, как плюшевые игрушки, и мы даже не знаем, кто ими играл. Их больше нет. Мы никогда не найдем их могил. И может настать такой год, такой день, когда мы будем жалеть об этом. Думать о войне как об ошибке,

— Кто же не согласен, что нам навязали войну?

— Это говорит сэр Эдвард Грей.

— Это ясно каждому.

— Мне это не ясно.

— Когда ты понюхаешь нового фосгена или дефинилхлорарсина — ты будешь думать иначе...

— Прекратите глупый разговор! Идет полковник Гаррисон. Он не должен слышать подобные слова. Это оскорбило бы его.

## VI

### Сербия

В окне лежало сербское небо, лохматые горы, лохматые, как собаки, стаями бегавшие по городку.

— Это та, что отстала от отряда Штралля? — спросил доктор, откладывая бритву и макая край полотенца в горячую воду.

— Да, после нее остались вещи, немного белья, два платья, костюм для верховой езды. Много вещей она раздала в Нише, альбом рисунков.

— Покажите...

Доктор Кранц небрежно перелистал альбом. Мыльная пена упала с кисточки на страницу; он стер ее пальцем и вытер палец о край куртки. Он небрежно перелистывал альбом.

— Модное направление, — сказал он, — но придется отослать родственникам. Что еще?

— Молитвенник. Одеколон. Как ни странно, две пачки табаку. «Туннель» Келлермана и Гамсун.

— Одеколон я возьму. Нет смысла пересылать. Табак можете взять вы, я не курю, книги сожгите, вещи продезинфицируйте...

— Письмо? Кому оно адресовано?

— Адреса нет вовсе. Чистый конверт.

— Прекрасно, — равнодушно сказал Кранц и взглянул в низкое окно.

В окне лежало сербское небо, лохматые горы, лохматые, как собаки, стаями бегавшие по городку. В окне лежало одиночество. Доктор взял письмо. Он начал вслух:

«Милый Эрн!

«Жила-была девушка. Эта девушка любила на свете...»

Он остановился.

— Я думаю, дальше можно не читать?

— Я думаю то же.

Кранц сложил письмо и взглянул на спиртовку. Она горела насмешливым лиловым пламенем. Он протянул письмо углом, и пламя легко взбежало, как по уступу. Пепел упал. Доктор взглянул в зеркало и спросил:

— Что еще?

— Больше ничего, господин доктор.

— Вы можете идти, Франц. Да, кстати, у этой девушки было много любовников?

— Простите, господин доктор...

— Я спрашиваю, как вы думаете?

— Я думаю, много.

— Я тоже так думаю. Ну, идите, Франц, можете взять табак!

## VII

### Пятно

Когда профессор Фабер переступал порог своего института, весь остальной мир переставал существовать для него. Пусть цели, для которых он приходил в институт, имели прямое продолжение в том отрезанном глухими стенами мире — здесь они превращались в призраки и подчинялись законам таинственных процессов, повелителем коих был только он и его ассистенты. Анни... но Анни больше нет. Анни умерла, а друзья, любовницы — страшно сказать, само государство — все исчезало из головы Фабера, когда он надевал толстый халат, бесшумные туфли и резиновые перчатки.

Дом походил на монастырь монахов особого ордена. Там замурованными сидели в отдельных кельях подвижники в ненарушимой тишине и сосредоточенности. Иногда эта тишина нарушалась, как будто в монастырь врвался через вентилятор вытяжных шкафов дьявол. Так однажды утром грохот потряс весь дом. Стекла осыпались, как прелые листья, реактивы смешались, иные исследователи слетели с табуретов, и одна стена дала трещину.

В дальней темной занавешенной комнате плавал красно-бурый туман.

Ничего нельзя было рассмотреть. Ни газеты, ни особо любопытные всезнайки не узнали, что случилось в этой занавешенной, теплой и страшной комнате. Туман удалили, и на полу остался чернее головешки профессор Вестер. Он был правой рукой Фабера. Комнату привели в порядок, и новый человек сел в нее продолжать труд покойного, но Фабер весь день, куда бы ни смотрел, нагревали ли серу в колбах Вюрца — он видел на краю трубки, приводящей хлор, на горлах реторт, на стекле промывной склянки, на ребре капельной воронки, на ртутном столбике термометра — неуловимое для других черное пятно. Оно преследовало его несколько дней подряд. Пятно не могло называться угрызениями совести. Пятно не относилось к разряду предчувствий. Фабер был свободен от предрассудков. Но когда он обнаружил пятно на кончике своей папиросы — он задумлился. Может быть, он переутомился?

Он прошелся по всем лабораториям. В нижнем этаже сидели ассистенты, работавшие над новыми видами боевых газовых соединений. Вытяжные шкафы переносили испарения газов в верхний этаж, где сидели ассистенты, рабо-

тавшие над новыми видами противогазов против неоткрытых в нижнем этаже боевых газовых соединений. Эта встречающая система представляла несомненное и совершенное удобство. Этого достигли не сразу.

Вихри вытяжных шкафов, шероховатое беспокойство столов, промасленных асбеститом, теплый покой ртутных ламп, холодные аппараты Гемпсона для сжижения воздуха, легкое потрескивание масляных насосов, зоркие глаза сотрудников, обращенные, как стрелы компаса, в одном направлении, — несколько ослабили черную точку, сделав ее чуть заметной, сероватой, но завтра она могла снова вырасти. Профессор Фабер не мог связать свою ответственную жизнь с ничтожным значком, заимствованным из пункта.

Тогда он начал придирааться. Газ, вода, электричество — триединство лабораторного равновесия — были в порядке. Газ бежал по трубам и горел в высоких тонких столбиках на завитых огнепоклоннику, вода действовала в насосах, шумела в раковинах и веселилась, а электричество горело день и ночь.

Тогда он перешел на вещи местного значения. Два стола пестовали. Они имели обыкновенный будничный вид, но, как к анчару, к ним нельзя было приблизиться безнаказанно. На них был пролит иприт, он впитался в дерево, он поселился в столах и угрожал. Столы стояли, залитые хлорную известью, и в них медленно умирала невидимая и острая опасность.

К этим столам можно было придраться. Можно было придраться к тому, что ассистент Фогель ходит с бинтом на руке, пораженный хлористым мышьяком, что сдохли два кролика, предназначенные для ипритного испытания, — серая точка тускнела все больше, но не исчезала.

Тогда Фабер сел и начал просматривать записи последних испытаний. Он знал их, он уже просмотрел результаты, но мысль его витала над этими длинными тетрадками, исписанными формулами, непонятными простым людям.

И тогда, как будто из мира, от которого он был отделен стенами, волей характера и любовью к своему делу, только к своему делу, из мира государства, друзей, любовниц — Анни больше не было — пришла мысль, в центре которой было серое пятно. Если б его институт погиб, все равно как: от бомбы неприятельского летчика, от бешенства новооткрытого газа, как погиб профессор Вестер, от измены или недоброжелательства, от молнии, от пожара, от чистой случайности — с чем бы отошел от его развалин профессор Фабер к людям, не имеющим к нему никакого отношения?

И тогда он понял, почему ему легко слышать о тысячах ежедневно уничтожаемых им людей. Он согласился бы жить в дружбе с обезьянами и кошками, но не с людьми. Про-

фессор Фабер — один из немногих, имеющих право на одиночество в мире. И еще он понял, что лжет в каждом публичном выступлении, в статьях, речах и разговорах. Его равнодушные иногда выступают с особой силой, и тогда профессор Бурхардт спросил его: «Кто будет отвечать за эту войну?» — он сказал с яростью: «Отвечать будет побежденный».

Он не поменялся бы ни с одним славнейшим полководцем, писателем или инженером. Через головы всех фронтов он ведет свою особую громадную и смертельную борьбу — он уважает только тех немногих, равных ему мировых химиков, что в такой же тишине вражеских лабораторий парируют его удары среди таких же смертельных столов, залитых ипритом, среди обожженных ассистентов, среди взрывов окисла какодила и фосгена.

Он выделяет из всех писателей Флобера за то, что тот сказал: «Миром должны управлять ученые мандарины, это — единственная справедливая власть». За эту фразу Фабер прощает ему французское происхождение и то, что он так много занимался в своих романах женщинами. Они этого не стоят. Они или скучны, или распутны. Они не имеют ничего общего с высоким одиночеством науки. Анни была исключением. Анни больше нет. Об этом не стоит вспоминать.

Так думал профессор Фабер, но серое пятно не исчезало. Оно стояло, как глаз невидимого наблюдателя, неотступно. Тогда он позвал Фогеля и прошел с ним в маленький рабочий кабинет, где у них бывали совещания, где распутывались маленькими недоразумениями, где он принимал представителей штаба, где профессор Вестер шутил последний раз перед смертью. Фабер взглянул на собеседника. Серая точка тускнела посреди его лба, над которым начиналась лысина, щедро освещенная электрическим солнцем.

Был один ученый, маленький заштатный ученый, ненужный ученый, плохой ученый, отказавшийся работать в его институте по производству ядовитых газов. Он был или идиот, или социалист. Он мог бы сидеть за это в крепости, в мире ничего бы не изменилось, в науке — тоже.

И Фабер усмехнулся. Серое пятно походило на этого ученого, на волчок, детский волчок, пущенный под ноги взрослому человеку. Раздавить его ничего не стоило, но волчок был слишком мал и гибок. Бегать за ним взрослому человеку было стыдно. Ассистент смотрел глазами кролика, влезающего в иприт.

— Синильная кислота не годится, Фогель, знаете вы это? В том виде, как она сейчас. Процент смертности ничтожен. Мы зря распыляем по полям драгоценный материал. Концентрация, которую мы даем, не убивает человека, она отправляет его не в могилу, а только в санаторий. В этом вся разница.

Фогель подтянулся. Послушный и внимательный Фогель мог вникать только в природу научного факта, а не в результат человеческих переживаний. Его не интересовало, что лучше: могила или санаторий. Отравляющее вещество не действовало как нужно, и в этом повинен он — Фогель, но он решился сопротивляться.

— Камера наполнена должной концентрацией. Я проверял на кроликах и кошках.

— Что получилось? — спросил Фабер.

— Они сошли, — сказал громко Фогель, — при впрыскивании смерть тоже немедленна.

— Сколько времени мы можем вести эти опыты до результата?

— Мы получаем сведения с фронта каждую неделю. Если у нас сегодня пятнадцатое и первая партия пробных пройдет в район, где предполагается атака...

— Вы ставите опыт в зависимости от вкусов штаба. Значит, пройдет вечность.

— Господин профессор, иного способа...

— Иной способ есть...

Фогель смотрел в угол, легкая дрожь пошла по его ноге. Подобная мысль — просто глупость. Фабер сегодня шутит неудачнее обычного.

Телефон зазвонил. Фогель взял трубку, потом прикрыл ее ладонью и сказал:

— Вас хочет видеть по неотложному частному делу майор фон Штарке.

— Кто это, Фогель?

— Кажется, это изобретатель огнемета.

— А! Поджариватель французов! Дежурный повар кухни его величества. Скажите ему, Фогель, что профессор Фабер уехал на фронт!

— Хорошо... Вы слушаете: профессор Фабер уехал на фронт. Что? У вас есть сведения? Сведения неправильны, Да... Да... Не знаю. Пожалуйста.

— Господин профессор, я знаю способ, но это не имеет отношения к делу.

— Ваш способ?..

— Войти в камеру человека.

— Совершенно верно!

Трубка телефона осталась висеть на шнурке. Фогель забыл ее повесить на крючок.

### VIII

#### Камера

— Господин профессор, вы слушаете меня?

— Да, Фогель.

Длинный коридор, выложенный белыми плитками, уходил в бесконечность.

— Войти в камеру человеку нельзя.

— Почему, Фогель?

Фогель всполз. Он почти бежал по коридору, и потом, он был ниже Фабера. Ему приходилось, говоря, приподыматься на носках.

— Человек в камере умрет. Концентрация смертельна...

— А я говорю нет, Фогель... И я это докажу!

Фогель в первый раз за долгую институтскую практику смотрит растерянно на стены. Стены гладки и казенно сочувствуют ему. Он приподымается на носках. Его кадык вылезает из воротничка. Фогель становится уродом с большой головой и туловищем ящерицы.

— Можно военнопленного, господин профессор.

Фабер останавливается внезапно.

— Вы, кажется, сказали: военнопленного?

— Я сказал: человека, которому нечего терять. Приговоренного или сумасшедшего, калеку... Когда жизнь в тягость...

Они продолжали быстро преодолевать коридор за коридором.

— Мне нечего терять, — говорит Фабер, — а потом вы меня знаете. Фогель, что такое синильная кислота?

«Ага, профессор Фабер опять хочет шутить». Ну, что же, Фогель вынимает руки из карманов, как ученик на уроке.

— Синильная кислота. Синильной кислотой всегда называли водный раствор цианистого водорода. Цианистые соли дают...

— Благодарю вас, Фогель. Теперь сосчитайте до ста, и вы успокоитесь окончательно. Мы пришли.

Что хотел доказать профессор Фабер, входя в камеру, наполненную парами синильной кислоты в кондентрации неизвестной, но, по Фогелю, достаточной для того, чтобы убить наповал все живое, что соприкоснется с ней? Но так думал Фогель. Профессор Фабер ничего не хотел доказать. Он хотел освободиться от маленького серого пятна, неотступно стоявшего перед ним, освободиться от какой бы то ни было ответственности. Русские, например, в таком случае брали наган, вкладывали одну пулю и перекатывали барабан, потом брали дуло в рот и нажимали спуск. Если выстрела не следовало, человек вставал с места, слегка качаясь, и долго помнил металлический вкус во рту. Японцы, например, в таком случае снимали с себя оружие и лишнюю одежду и с голыми руками, далеко вперед наступающих, лезли на утесистые форты Порт-Артура.

Профессор Фабер стоял в камере, наполненной парами синильной кислоты. Он знал, как придет смерть, если он ошибся. Она придавит центры продолговатого мозга, тело перестанет выкачивать кислород из крови, он будет раскисляться, зевая, ноги отнимутся, дыхание умрет раньше, чем остановится сердце. В страшном омуте крови, которая станет алой, как киноварь, сердце будет биться, когда горло схватит последняя судорога.

И труп профессора Фабера будет покрыт пятнами светло-красного цвета, как выходная

одежда клоуна. Ведный Фабер! Смерть могла бы трагичнее украсить труп такой огромной важности, а она его сравнивает с любым ландшуртистом.

Он стоял, потеряв представление о времени. Время исчезло, когда он перешагнул порог, который переходили только кролики, собаки и кошки.

Он ждал конца. Он ждал смертельного подергивания мускулов, как облегчения. Он не слышал сердца, он искал одышки, как первого предвестника гибели. Большой шум тяжелой волны прошел по его сознанию. Профессору Фаберу осталось жить несколько секунд. Они тянулись так, что можно было пережить всю мировую историю, добраться до великой войны, отыскать институт, уединенную, глухую комнату и вывести Фабера из забвения.

Говорят, были случаи, когда отравленные могли перейти двор, обнять жену и сесть в трамвай, чтобы умереть на людях. Но ведь он, Фабер, говорил, что синильная кислота, которую предлагает Фогель, посылает только в санаторий.

Он почувствовал, как ногти в сжатых кулаках впились в ладони, как дрожит ухо, как высох желудок и болтается, подобно кожаному ведру, опущенному на веревке внутрь Фабера, как конец этой веревки пухнет во рту. Язык рос, и шершавость его занимала весь рот. На ногах жилы рисовались Фаберу переплетением синих шнурков. Его короткие усы, широкие и плоские, стали влажными. Ощущения проходили сквозь него, как пешеходы, возвращающиеся искать забытые вещи в гостиницу, где они когда-то останавливались. Они перерывали его и причиняли боль совсем не там, где он ждал ее.

Неужели эти секунды еще не кончились? Или вот это и называется смертью? Тогда, значит, почерневший Вестер мог еще в уме проверить смертельную ошибку, начертив мысленно маленькую формулу, когда уже его труп выносили из красно-бурого тумана. Ведь сердце и мозг живут и после прекращения дыхания. Он вспоминал формулы синильной кислоты, как заклинание: треххлористый мышьяк не дает ей разложиться. Глухой шум прошел под потолок, как будто ветер срывал палатку. Хлороформ не дает ей разложиться. Шум повторился. В комнате начинался ураган. Четыреххлористое олово, олово уменьшает летучесть. Ураган бросил Фабера к стене. Сердце не билось. Язык стал уменьшаться. Колени сгибались, точно на них висел груз. В ушах звенело. На единый миг профессор Фабер потерял сознание. Он нашел себя у стены, липкой, как патока. Нет, липкой была не стена, липкой была рука. Серо-зеленые молнии пронизывали воздух. Как глут писатели и художники, рисуя смерть в виде законченной фигуры, в плане точных движений. Ничего точ-

ного — мрак, расслабленность, тихое и медленное угасание сознания. Его качнуло. Он протянул руку, руку кто-то задержал и рванул вперед. Фабер раскрыл глаза. Перед ним стоял Фогель. На его широком лбу, над которым высились начинавшаяся лысина, играло электричество. Никакое серое пятно не нарушало мощной близости фогелевского лба.

Фогель тащил его по коридору, издавая тихие восклицания. Фогель веселился, как медведь, обсысывающий лапу. Он втащил его в комнату, положил на диван, сел напротив, загородив спиной раскрытую аптечку с приготовленными пузырьками, пакетами и склянками. Только ножницы и бинты не успел он загородить, и это было первое, что увидел Фабер по возвращении с того света.

Фабер пил горячую воду с коньяком; он сидел, расстегнув воротник, лиджак и брюки. Наступая на шнурки от расшнурованных ботинок Фабера, над ним хлопотал Фогель.

Маленький чайник весело кипел, Фогель взял коньяк, хотел приправить Фаберу в кипятке, остановился и печально сказал:

— Вы опозорили меня на всю жизнь!

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### I

#### Маленькие неприятности

Железный крест, чин майора, «мертвая голова» на левом рукаве — знак бессмертного пионера, титанский титул Князя Тьмы и ясное убеждение: его огнемёт не оправдал себя. Он не сожжет войну. К такому выводу приходишь на четвертый год. Сколько напрасных ожиданий! Огнемёт означает все, что угодно: высокий дух, храбрость, мужество, презрение к смерти, но еще не конечную победу. Лучшие бы не приезжать с фронта до конца войны! До конца войны... а когда ей конец?

Как фельдмаршал Шлиффен, умирая, в предсмертном бреду повторял: «Укрепляйте правый фланг!» — так он мог, умирая, кричать: «Огнеметы, только огнеметы!» — но все было решено по-другому. Другой счастливцев, если его можно назвать счастливцем, пожал его лавры, если это можно назвать лаврами, и этого человека звали профессор Фабер. Раз — это было давно — Штарке пошел к нему, чтобы лицом к лицу проверить силу своего противника, и Фабер не захотел его видеть. Тогда он засел за новый проект, простой, увлекательный и полезный. Проект обсуждался в бесчисленных отделах штаба, и, когда он получил ответ, кровь застучала в старом сердце Штарке.

Они отвергли его блестящий новый проект. Видите ли, у них, во всей Германии, не хва-

тит масла на это, самолеты не такое всемогущее оружие, как он думает. Поливая горящим маслом с самолетов неприятеля — это сложная фантазия. А разве огнемет не был фантазией, буйный рост которой вызвал он, Штарке?

— У нас нет запасов материалов, — говорил ему блестящий болтун, любовавшийся звуком собственного голоса. — Вы не знаете, сколько германская армия жжет, например, хлопка. Ежедневно она сжигает его больше тысячи тонн. Вы только подумайте, тридцать выстрелов из двенадцатисантиметровой пушки поглощают четыреста фунтов хлопка. Шестьсот тонн мышьяка идет у нас ежемесячно на тот миллион снарядов, который мы выпускаем на фронт. Нельзя же переменить всю систему пушек и винтовок. Снаряды поддаются изменению легче всего, и то со стороны внутреннего состава. Ваш огнемет хорош при позиционной местной войне, при ударных атаках, но ждать большего от него не приходится, тем более что он не поражает неожиданностью. Вы, — говорил этот злобный и завистливый человек, — вы тратите очень много материала. Вы загоняете сто литров масла в один большой аппарат Грофа, вы делаете из среднего «Векса» восемнадцать выстрелов, действующих на двадцать пять метров. Куда это годится? Я был на вершине Эпэрж, вы знаете ее, помните, какие бетонные пулеметные гнезда и блиндажи стояли там, я долго не был в тех краях. В прошлом месяце я попал туда. Вершины нет, она сровнена с землей, ключья проволоки, углы бетона, бетонная крупа, и щебень, и кости в любом количестве. Это сделали минометы и мортиры Хитченса. Вот это работа! Три тысячи минометов стреляют сразу. Он довел их до совершенства. Мина заряжается газом, от одного дыхания человек умирает. Это — первое, а второе в том, что газовые волны и снаряды заменили все. Каждый день, каждый час мы несем ужасные потери. Люди слепнут, и глохнут, и умирают, нигде не чувствуя себя в безопасности. На десять километров в глубину идет газовые волны. И мы отвечаем тем же. Газ за газ. В самом глубоком тылу деревья выжжены, трава выжжена; вокруг — пустыня и бойня.

— А знаете вы, — сказал Штарке, — что профессор Фабер отказался меня принять, когда я к нему пришел? Правда, это было давно.

— Я не знаю причины его отказа, но знаю, что это единственный человек, за которым вся армия повторяет одно слово: газ, газ, газ. От него, как быки под ножом, валятся целые дивизии. Люди спят в противогазах. Колокола звонят газовой тревогу по четыре раза в день. Простите меня, я должен прервать разговор, меня ждут.

И он ушел, самодовольный и спокойный штабист. Штарке вернулся домой. Штарке дол-

го стоял в раздумье, спиной к окну. Широкая спина непонятна, как запертая дверь. Седая голова его неподвижна. Так будет стоять на памятнике Штарке. Так будет он изображен в мраморе или в бронзе.

Штарке глядит каменными глазами на пепельницу. Пепельница сделана из осколков английского снаряда. Очень прочная пепельница. Очень спокойная пепельница. Она никогда не задает вопросов. Она никогда не отвечает на них.

## II

### Большие неприятности

— Вы знаете, я как-то сказал одному офицеру, что вы единственный человек, за которым вся армия повторяет одно ваше слово: газ, газ, газ. Артиллеристы прошли настоящую химическую науку. И так просто, не правда ли? Неподвижный заградительный огонь; желтый крест — горчичный газ. Зеленый крест — фосген. Синий крест — мышьяк. Только от постоянного напряжения, от острого возбуждения у людей появилась усталость. Западный фронт стал пугалом. Люди говорят, что там целым остаться нельзя. Или будешь ранен, или отравлен, или убит. Правда, можно сдаваться в плен, но это не всегда успеешь чисто технически. Из полков при переводе с Восточного фронта отмечено дезертирство. Бегут главным образом эльзасцы и поляки. Общая усталость налицо...

Фабер сидел со штабистом в комнате совещаний. Они пили кофе с английскими трюфельными сухарями. День был почти зимний. На улице было холодно и скользко. В комнате нагревалась электрическая печь, и штабной офицер сидел, положив ногу на ногу, обыкновенный и развязный, как и всегда, хотя они говорили о вещах важнейшего значения. Правда, великие события не считаются ни с местом, ни с погодой. Раз пришло их время, их ничто не задержит, а штабные во все времена и у всех народов будут одинаковы. Их авторитет непоколебим.

— Что такое усталость? — сказал Фабер. — Это просто самоотравление организма особым ядом, получающимся при распаде белкового вещества. Усталость можно прививать, как оспу. Усталость меня не беспокоит. Меня беспокоят противогазы. Я пробовал недавно новую кожаную маску, все три образца...

Штабист отставил чашку. Воспоминание о собственном пребывании на фронте живо встало в его голове. Фабер свистнул. Было удивительно, что такой большой человек свистит, как мальчишка.

— Если англичане начнут стрелять «синим крестом» — усталость исчезнет. Противогазы пропускают «синий крест».

Офицер поблелел. Фабер отставил свою чашку и продолжал:

— Если англичане введут в дело мышьяковистые соединения, нам придется приблизить наш противогаз к английскому. Англичане применяют фильтры из шерсти и ваты против наших «синих крестов», но противогаз такого типа давит на горло и вызывает скорое удушье. Мы возьмем другой тип противогаса. Это будет большая коробка, висящая на груди, с резиновой трубкой. Резины у нас нет. Мы пускаем в ход кожу. Но приготовление из кожи трубок довольно сложно. А нам нужны миллионы трубок. Что же делать? Я наводил справку. Запасы резины ничтожны. Как проходит сейчас линия фронта?

— В общих чертах фронт идет от Арраса на Лафер — Реймс — Верден. К сожалению, мы давно потеряли Суассон. Линия Зигфрида трещит. Вся надежда на позиции Кримгильды и Хундинга. Битва не ослабевает.

— Я сомневаюсь еще в одном пункте. — Фабер говорил спокойно, как на лекции. — Попробуйте проверить запасы гельбоина, этих коробок с хлорной известью, которые мы применяем против горчичного газа. Какое наличие гельбоина находится на снабжении армии? У меня есть подозрение, что не хватает и его. Я даже знаю, что некоторые армии заменяют его марганцовокислым калием, но это нельзя оставить так.

Штабист встал.

— Я уезжаю завтра. Ваш доклад я передам сейчас же лично. Вы будете уведомлены через три дня. Вы получите копию справки.

Фабер позвонил Фогелю. Фогель пришел, как всегда, толстый и важный, сияя начинающейся лысиной.

Через три дня Фаберу доставили телеграмму, уже расшифрованную и совершенно секретную, и он читал ее так долго, что не отвечал ни на какие покашливания Фогеля. Фабер сглатывал телеграмму в карман, через несколько минут вынул ее, погладил переносье и тогда взглянул на Фогеля.

— Простите, Фогель, вы что-то сказали мне?

— Я не говорил ничего, господин профессор.

Фабер протянул ему телеграмму, и Фогель удивился, что Фабер читал десять минут три коротких строки: «Сообщаю, что в Третьей, Первой, Седьмой, Семнадцатой и Шестой армиях вся хлорная известь роздана в войска. Запасов ее больше нет».

Фогель прочел телеграмму вполголоса.

Профессор смотрел на Фогеля так же пронзительно, как всегда, но с тем оттенком хищности, за которым всегда, знал Фогель, профессор будет или злиться, или неудачно шутить. И он был прав.

— Фогель, какую страну выбираете вы, когда уезжаете отдыхать? Или нет — какая страна влечет вас к себе больше всех других?

— Меня влечет Сиам, — сказал Фогель, — белые слоны, баядерки и тигры. — Он шел навстречу шутке.

— Вы можете складывать чемоданы и уезжать в Сиам, Фогель, на белом слоне с баядеркой мчаться за тигром. Это будет спокойнее...

Шутка не вышла, как всегда. Фогель даже не улыбнулся.

### III

#### Шрекфус выходит сухим

Руди Шрекфус вел незавидную жизнь заводного насекомого. Он ползал по дымным полям, по переходам разбитых окопов, но самое худшее — были воронки от снарядов. Он не навидел их больше всего. Он два дня жил в воронке, окруженный тяжелыми облаками дыма и молниями разрывов. Он менял противогазы, оружие, он терял товарищей, но главное — он ползал, как заводной жук. Временами он командовал, свистел, стрелял, толкал упавших кондом маузера, но ему не часто даже разрешалось подыматься на ноги.

Временами перед ним проносились видения: зеленые поля, громадное голубое небо, широкая белая дорога, он вступает в войну, идет по дороге веселый, как молодой бог, никакая опасность не страшна ему, он не наклоняет голову под пулями, а визжащий хоровод снарядов только подымает его на торжественную уверенность. Потом он стал наклонять голову, как новобранец, потом он стал прятаться за выступы, искать прикрытий. Сейчас он только заводной жук, ползающий в гремющей трухе, в сухой размолотой крупе, в которую превратилось все вокруг. Он спит теперь, не думая, что его возьмут в плен, что взрыв сапы смешает его с землей, что газ обволочет его спящего, он спит крепко от великой усталости.

Когда он просыпается, он не находит перемены. Только газы меняют вид и окраску. Он видит отравленных людей с лиловой кожей, серебряными лицами, с красными, как роза, пятнами на руках и на лице; вой раненых идет от воронок, как будто воют испорченные вентиляторы. Так проходят шесть или восемь дней. Потом его отводят на отдых в тыл, в разрушенные деревни, на новые позиции, и он валяется в чей-то разбитой постели и ест, не думая о еде.

Потом он снова ползет по дымному полю. Он даже не знает, какой пейзаж вокруг. Ему кажется, что перед ним все время поднимаются в воздух тяжелые стены и непрерывно обрушиваются, так что земля гудит часами.

У него выросла зеленая кожа хамелеона. Противогаз стал постоянным проклятием. Все



кричат о газовой дисциплине. Как заводной жук, ползет Шрекфус между проволочных стен, отупело смотря в плавающие дымы, за которыми идут враги.

Небо раскрывается неожиданно. Оно полно гудением. Гудят десятки аэропланов. Они идут с такой скоростью, точно их зарядили на другой планете и они должны пробить землю, пройти ее насквозь. Крылья их видны все ближе. Шрекфус падает лицом в землю. Аэропланы сбрасывают стрелы. Стрелы тупо стучат по шлемам, по щитам орудий, вонзаются в доски и мягко пронизывают человека. Аэропланы поливают пулеметными лейками лиловыми клубы дыма. Они забрасывают бомбами, лопающимися с чавканьем, — они проходят, на смену им является новый заградительный огонь.

Шрекфус становится дьявольски скучно среди этих дней и ночей, превращенных в мясные лавки, где валяются неубранные туши, а мясники всегда пьяны от усталости и запаха крови, среди холмов, похожих на помойные ямы, где на проволоке между окопами гниют неубранные мертвецы, среди животных с тупыми мордами и людей в зеленых масках с застывшими, рыбьими глазами, среди этих куч угля, золы, пепла и костей, на которых развешаются в дыму отсыревшие тряпки, называемые знаменами.

Потом к нему приходит отчаяние, он не может стрелять, от страшного нервного напряжения у него пропадает голос. Когда он смотрит, он видит на земле красные или зеленые большие пятна. Но это как раз не относится к его болезненному состоянию. Это пятна пристрелочных снарядов. Пушки работают, обливаясь потом. От всей страны останутся, как на луне, пустые воронки. Хорошенький пейзаж для будущего поколения! Но Шрекфус не хочет отдавать врагу и эти воронки, которые он так ненавидит. Его тошнит всякий раз, когда он сползает, сползает по гнилым стенкам воронки все ниже и ниже, и земля осыпается, и в ушах звенит, а на краю воронки стоит красно-бурый туман, от которого кровь бросается в голову и дрожат ноги.

На шестой или на восьмой день он лежит на отдыхе, и далеко впереди его свиваются и развиваются волны дымовых завес. И вдруг начинают стрелять рядом, и отдельные выстрелы страшнее, куда страшнее многоголосого рева битвы. Что случилось? Шрекфус вылезает на дорогу, закрыв рукой глаза от солнца. Кругом прычутся люди, неотдетые, растерянные, отдыхающие люди тыла, в которых не имеют права стрелять, — они отдыхают, они вышли из битвы, они хотят дышать чистым воздухом и ходить на двух ногах.

И тогда он видит танк. Черная, ребристая, тихо гудящая машина вертится и время от вре-

мени окутывается дымом. Она стреляет на выбор. Белые вспышки разрывных пуль ударяются в ее бока. Но почему этот безумный танк один? Где же другие? Его водитель сошел с ума, зайдя так далеко, потерял представление о направлении. Он тоже зарвался от дикой усталости. Танк повертывается в сторону Шрекфуса. Танк стоит между сломанных кустов, как бы пофыркая. Его обстреливают, как слона на облаве. Ему не хватает только хобота.

Шрекфус бросается на землю, потому что танк послал белое облако в его сторону. Где-то за домами взлетает земля и трещат крыши. Шрекфусом овладевает ярость. Он готов бежать к этой черной башне, бить ее кулаками, царапать ее ногтями, плевать на нее. Он видит на крыше танка бидоны, ряды привязанных бидонов. Танк собрался в далекую прогулку, если везет с собою такой запас бензина. Шрекфус выхватывает у соседнего солдата винтовку. Он кричит: — Пуль, зажигательных пуль!

Зажигательных пуль ни у кого нет. Тогда он кричит снова:

— Бейте по бидонам, бейте по бензину!

Открывается нестерпимая стрельба. Шрекфус в бинокль видит, как пробиваются бидоны, как бензин стекает по плечам чудовища, он, наверное, просачивается внутрь, что делается там с людьми? Танк начинает вертеться. Бензин уже льется ручейками. И тогда приносит зажигательные пули.

Над танком вспыхивает сизое пламя, легкое и прозрачное. Танк бросается вперед и останавливается, врезавшись в кучу кирпича. Взрывается большой бидон. Пламя без искр растекается по черным бокам машины. Люди стреляют без перерыва. Из танка на землю соскакивают три человека. Они поднимают вверх руки. По их лицам течет бензин, их щеки бархоты и полосаты от копоти и грязи, от удушливых испарений, губы потрескались. На них грязная, потная одежда. По-видимому, впереди офицер. Он мало что понимает, он едва стоит на ногах. Если б он мог говорить, он бы сказал, что есть предел человеческой выносливости. Перенапряженный металл лопается, как графит. Сколько часов провели они в ползающей коробке в температуре печки, не смея высунуть голову?

Со штыками наперевес к ним бегут люди. Если им не помешать, они убьют этих трех, отнявших у них право на заслуженный краткий отдых. Танкисты стоят, шатаясь, с поднятыми руками. Шрекфус врывается в толпу, окружившую их.

— Назад! — кричит он. — Тихо, ребята, назад!

Кое-кто пробует залезть внутрь танка, и все же кто-то ударит прикладом и валит на землю одного из танкистов, самого маленького. Тогда командир танка говорит:

— Пить!

И Шрекфус видит, что он ранен. Рука его замотана бинтом. И потом он видит, что часы у пленного на руке остановились. Не зная почему, он говорит вслух:

— Четверть шестого.

Офицер проводит рукой по волосам и снимает пенку какой-то колоты.

— Пить! — повторяет он и добавляет: — И спать.

#### IV

##### Кажется, да!

Это было поистине владычество газов. Как из зловещей бутылки арабской сказки однажды возник демон с отвратительным лицом и всемогущей силой, так из вытяжных шкафов фабровской лаборатории вырвались видения, служившие армиям его страны и вдруг обратившиеся с неслыханной силой против них.

Это действовали вещества удушающие, вещества ядовитые, вещества слезоточивые, вещества раздражающие, вещества нарывные. Упорство их превосходило упорство самого лучшего борца. Горчичный газ ручьями тек по улицам городов, хлорное олово мутными языками дымовых завес окутывало горизонт, этиловый эфир сопровождал осколки ручных гранат, хлорпикрин вырывался вместе с окопными минами в проломы блиндажей, хлор вызывал молниеносное воспаление легких.

Газы, подобно винограду, проходили мрачные давлени и в жидком, сгущенном виде заполняли снаряды: иногда погибали не только те, против кого они были назначены, а и те, кто их приготавлил.

Газы, разъедавшие сталь и железо, впитывавшиеся в дерево, в кожу, в ткани, сохранявшие ядовитость неделями, заставляли людей судорожно держаться за непрочную маску противогаза и ждать часами смерти, с глазами, застывшими от ужаса, и расширенным сердцем. Тогда приходил дифенилхлорарсин в виде смерча тончайших песчинок, легко пробегавших через черные поры угольной коробки. Людей начинало тошнить, нос и горло разрывало адское чиханье — люди срывали противогаз, и их встречал слабый чесночный запах иприта или мрачное дыхание фосгена.

В белом, зеленом, красно-буром, черном, синем и желтом дыму сто тридцать пять дней непрерывно сражалось шесть миллионов человек. Песчаные холмы пустыни песчаная буря передвигает с места на место. Эта битва далеко превзошла песчаную бурю. Она изменила всю природу, самый состав земли, она изменила даже полет птиц, птицы удалились в сторону, оставив вековой путь, а земля, избитая,

смешанная с трупами, окровавленная, пустая, отказывалась что-либо родить.

Стороны сражались уже в неравных условиях. И одна сторона, медленно размывавшаяся на части, начала отступление. Над ней взвились тысячи аэропланов с боевыми клещами всех систем. Это шли «нопоры», «виккерсы», «хавеланды», «бристоли», «кертиссы», «спады», чтобы добивать сверху отходящего, судорожно обороняющегося врага.

Уже зима заметала мелкой холодной липкой крупой поля сражения, уже тридцать дивизий готовились ударить по свежей дороге на Майнц, уже двенадцать союзных армий, имея за плечами миллионный резерв, готовились послать впереди себя невиданной силы газовый поток на последние позиции немцев, когда в туманный вечер, далеко от фронта, в городке, куда слабо доходил голос великой канонады, — седой человек, зеленый от усталости, сказал, опираясь на карту, другому измотанному человеку со свинцовым лицом:

— Кажется, мы проиграли войну?

И человек со свинцовым лицом ответил:

— Кажется, да.

Седьмого ноября в восемь часов вечера грязные, замерзшие часовые в двух километрах северо-восточнее Ла-Капель, в районе сторожевого охранения Тридцать первого корпуса Первой французской армии, увидели белый флаг парламентариев. Они приказали автомобилю остановиться.

#### V

##### Н о я б р ь

Тяжелые сапоги, подбитые гвоздями, нетерпеливо топтали свежее выпавший снег. Плечи, иные с сорванными погонами, все гуще заполняли переулки. Перед железной дверью в низкой ограде стоял раскрасневшийся человек, бесплодно махавший руками. Каждое его слово вызывало недовольство.

— Товарищи, я повторяю: здесь ничего нет. Здесь склад. Боевой склад запасов: товарищи, дисциплина...

Это было нехорошее слово. Это слово только что рухнуло, как будто последняя граната, кончавшая войну там, на Маасе, ударила именно в это слово.

— Видали мы дисциплину, довольно!

— Кому бережешь добро?

— Мы не ели второй день. Все бегут в разные стороны. Транспорт развалился.

— Там, на складе, хлеб и консервы!

— Что с ним разговаривать...

— Вперед, товарищи, мы уже громили склады, мы знаем, что там бывает.

— Не все жрать кайзеру!..

— Он уже в Голландии. Не беспокойся, ему тепло.

— А ну, вперед!

Человека в дверях оттерли. Густые удары прикладов раскачивали дверь. Потом появился ключ, дверь распахнулась. Толпа — именно это была освобожденная от дисциплины, от казарм, от войны, возбужденная, свободная толпа, вооруженная винтовками, тесаками, карабинами, маузерами, ручными гранатами, — растеклась по двору. Двор был большой. Он походил, скорее, на плац.

В загородках, под навесом стояли серые баки, непонятные банки, жестяные бутылки, серые аппараты, высокие, изящные, с прорезиненными рукавами. Этих баков было десятки, они стояли, как необычные животные в стойлах, опустив хоботы к земле. Ничего съестного на этом дворе не было. В огражденных пространствах нельзя было найти ни зерна. Толпа топталась, оглушительно ругаясь. Эрн Астен, худой, в черной шинели, обещанный гранатами, выбежал на середину мощеного двора.

— Товарищи! — закричал он. — Нас обманивали все эти годы. Нам привили бешенство. Нас старались уничтожить всеми способами. Здесь нет хлеба, да, его здесь действительно нет. Но здесь есть кое-что другое. Знаете ли вы, что это за вещи? Это огнеметы и газометы, резервные огнеметы, те самые, из которых нас жгли как собак, — англичане скопировали свои вот с этих молодцов. Но эти молодцы начали раньше. Товарищи, у меня с ними особые счеты. Назад, товарищи, берегись!

Он взмахнул гранатой, сорванной с пояса. Люди бросились к двери на улицу, припали за каменными, иные плашмя ринулись на землю. Фронтовой опыт каждому подсказывал, что делать. Красное пламя осветило двор, и звон ломающихся баллонов переносился из угла в угол. Эрн бросил вторую гранату. Кто-то пустил через каменный забор еще несколько штук. Гранаты рвались, разбивая пустые резервуары на куски.

Дым крутился волчками. Пахло горячим железом. Иные перегородки загорелись. Огонь подымался все выше, освещая изломанную грудой огнеметов.

Люди ушли. Двор опустел. Одинокое пламя подымалось из-за деревьев, и тогда на двор пришел Штарке. Освещенная пламенем пожара, на гладких камнях двора перед ним лежала забытая бескозырка. На нее падал снег.

Штарке обвел пустыми глазами разгромленные баллоны.

Они умирали, одинокие, покинутые, с пробитыми боками, с оторванными шлангами, с выбитым дном. Все равно через день здесь будут французы.

Кто-то тронул его за рукав. Он брезгливо

оглянулся. Мимо него прошел солдат с обнаженной бритой головой, лихорадочным лицом, небритый, без погон.

— Папаша, — сказал он, не обращая внимания на Штарке. — дай-ка пройди! — И вдруг он увидел, что перед ним офицер. Он посмотрел пристально, как бы напрягая зрение, потом решительно отвернулся, оглядел двор, нашел бескозырку, поднял ее, нахлобучил на голову и ушел с расстегнутым воротом, глотая снег раскрытым ртом, как астматик.

— Вшивая сволочь! — сказал Штарке.

## VI

### Победители

Когда был низвергнут Наполеон и заключен Венский мир, все танцевали. Как сообщают историки, император танцевал, короли танцевали, Меттерних танцевал, лорд Кэстлри танцевал. Только князь Талейран не танцевал, и то потому, что был хром.

В большой комнате, о которой идет речь, в комнате теплой и уединенной, с исторической мебелью красного дерева и золотыми украшениями, с историческими воспоминаниями разных цветов, только двое пробовали танцевать довольно оживленный танец, странный танец. Они бегали вокруг красного стола, мимо шкафов, удивленно взиравших на них, они бегали, два тяжелых, плотных, невысоких человека и с индюшечьей горячностью рокотали.

— Поймите, маршал, — рокотал человек в сюртуке, — война кончена, кончена. Вы поедете в Спа, к немцам, на персмирне...

Маршал махал руками.

— Я не поеду в Спа. Сколько раз вам говорить. Я не хочу мира. Пусть едет кто хочет. Война не кончена. Кто вам сказал, что война кончена? Это все интриги. Они украли у меня победу. Когда я держу для удара сто дивизий, когда я должен перейти Рейн, войти в Берлин, перекинуться в Польшу, немедленно уничтожить большевиков, это гнездо, откуда воняет на всю Европу, прогнать немцев из России, Румынии — вместо того чтобы сражаться, они посылают парламентаров, это — шулерство, а вы говорите: поезжайте в Спа. Я не хочу слушать, мне противно.

— Маршал, если мы последуем за вами, мы вергнем Европу в новую войну, в хаос, в ужас. Война кончена. Все хотят отдыха. Отныне мы — люди в сюртуках — будем стоять на страже справедливости. Маршал, все получат по справедливости. Самый паршивый крестьянин, у которого боши отняли одну корову, получит две. Мы заставим их построить все дома, разрушенные ими, по тем планам, по которым они были построены впервые. Мы пустим

их голами, мы оставим их воздух... Но война все-таки кончена. Весь этот гром пушек — со вчерашнего дня уже история. Вы поедете в Спа, вы повезете наши письменные условия.

— Я не почтовый ящик — возить ваши условия...

— Маршал, вы не истеричная женщина. Я помню, что говорю с героем Франции. Вы жертвовали жизнью там, на фронте, а разве мы в тылу мало работали? Я сам отлично помню, как я прикалывал орденские ленточки на грудь рабочим, ослепшим от иприта... Да, да.

— А! Вы прикалывали ленточки, а я, сколько лет я портил себе кровь, дрожал каждую битву, каждый час, не мог спать, не мог есть недели, а когда шесть дивизий повернули на Париж штыки, где были бы вы, если бы не я? И вы хотите, чтобы я поехал к немцам... Я не могу их видеть, я могу их только уничтожать. Понимаете — уничтожать.

— Я понимаю ваши чувства, маршал, но война кончена. Мы не одни. Союзники считают войну конченной. Пушки должны замолчать. Им разрешается только последний салют в честь мира, который мы сумеем заключить. Сегодня день чуда: бумажный франк сравнялся с золотым франком. Мы, государственные люди, кое-что понимаем в этом, но ехать в Спа должны вы. Победителю принадлежит честь принять шпагу от побежденных. Вы поедете в Спа, вы сядете за стол с немецкими уполномоченными...

— Я сяду, да, я сяду, но они не сядут. Я буду их держать стоя, стоя, с вытянутыми по швам руками. Я буду говорить, а они будут слушать и молчать, ни одного слова, я не позволю им ни одного слова. И потом я велю адъютанту дать им перо, чтоб они подписали мои условия без промедления. Я хочу получить должное за те пытки, которыми они меня пытали все эти годы...

— Совершенно верно. Они будут стоять, они будут молчать. Делайте с ними, что хотите, но вы сейчас же поедете в Спа. Мы умоляем вас, маршал. Страна этого никогда не забудет. А они пусть стоят, пусть часами стоят. Это уже не важно. Самое главное — война выиграна, и мы победили. Ну, что же, маршал?

— Черт с вами! Я еду в Спа.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### I

#### Окорок

Это было поистине сказочное окно. Желтые овалы сыров источали нежные прозрачные слезы; колбасы, декорированные зеленью, ле-

жали в серебряной косуре, заманчиво изгибая жирные туловища; сосиски висели гирляндами; икра, черная и красная, переливалась в бочонках, обложенных льдом; на льду лежали изображавшие осень желтые и красные листья; столбы масла образовали арку, из которой ползли огромные омары, с шершавыми клешнями, полными мягкого розового мяса; утки, гуси, куры, паштеты, страсбургские пироги, пикули, грибы, лимоны толпились вокруг, но президентом этой гастрономической республики, конечно, являлся окорок. Окорок превосходил воображение самой мечтательной хозяйки. Окорок укладывал на лопатки гастронома. Именно окорок останавливал прохожих. Он занимал центральное место. Оно принадлежало ему по праву.

Обтянутая тонкой, покрытой крапинками сала, коричневой, мягкой, великолепной кожей, обитая белоснежным бархатным узким кольцом жира, лежала влажная, просящаяся в рот, розовая, как фламинго, единственная в мире ветчина.

Белые жилки, точно нарисованные лучшим мастером, бесподобно подчеркивали свежесть и очарование розового мяса. Казалось, от него исходит обольщающее благоухание, проходит сквозь толстое зеркальное стекло и, попадая в нос прохожим, поворачивает их немедленно лицом к окну. И действительно, редкий пешеход не останавливается, невольно лобясь соблазнительным зрелищем. И уже действительно редкий пешеход открывал дверь и входил в магазин, потому что цена этого мяса была равна его великолепию.

Уже несколько времени, не сводя глаз с окорока, стоял человек в узком пальто и фетровой шляпе, нагнутой на глаза. Он смотрел только на окорок. Зрители сменялись у окна и шли дальше, а он стоял и смотрел. Он даже высовывал по временам кончик языка, проводил по сухим губам, он делал даже какие-то движения рукой и перебирал ногами, точно начинал танцевать чарльстон в честь этого удивительного окорока, но язык прятался, руки падали в карманы, ноги успокаивались, подходили новые люди поглядеть, а он все смотрел, не отрываясь.

Иногда он делал попытку удалиться, но невидимая сила возвращала его на прежнее место. Тогда он вынимал папиросу. Долго закуривал ее, как бы ища мысленно выход из положения, но папироса подходила к концу, дым таял, а окорок оставался. Тогда он начинал незаметно облизывать губы и сверкать глазами. Минутами он, несомненно, забывал, что он открыт глазу постороннего наблюдения.

Он поймал на себе удивленный злой взгляд и посмотрел на очередного незнакомца с нескрываемой враждебностью. По лицу незнаком-

ца, закутавшего шею пестрым шарфом, по его вызывающим глазам и костюму рабочего он понял, что человек этот подметил его болезненный интерес к окороку и готов издеваться.

С человеком, кутающим шею шарфом такого безумного цвета, он не хотел иметь ничего общего. Он отвернулся и вынул папиросы. Человек подошел и встал вплотную. И когда он, дымя папиросой, снова вперил взгляд в окорок, человек в шарфе сказал:

— Смотри не смотри, глазами сыт не будешь!

Человек в фетровой шляпе повернулся и, как ему ни было досадно, оставил окно и медленно отошел, засунув руки в карманы.

— Руки в карманах разрешается держать сколько угодно, — сказал ему вслед рабочий.

Человек в фетровой шляпе вернулся. Разве он не волен стоять и смотреть? За это не сажают в тюрьму и не берут денег. И он встал рядом с рабочим, и глаза его снова заискрились. Рабочий смотрел на окорок, и розовое мясо стояло перед ним каждой белой жилкой, каждой каплей жира. Он плюнул.

— Вот это и есть кризис. Это не для тебя и не для меня, товарищ! Для кого же это?

Человек в фетровой шляпе решил, что это уже слишком. Он окончательно оставил окно и ушел быстро, чтобы уже не возвращаться больше. Человек в шарфе отошел на три шага и начал рыться в карманах. Желудок его был пуст, как бутылка, в которой гуляет ветер. Наконец он нашел, что искал. Это была гайка, давно вышедшая из работы, со стертыми краями, но тяжелая на вес. Он прикинул ее тяжесть для проверки, отошел к мостовой и оглянулся. Поток автомобилей только что пропустил пешеходов и продолжал шуршать по асфальту. Гайка ударила с пронзительным коротким визгом в средину зеркального стекла. Человек, может быть, на фронте был когда-то гренадером. Уверенность, с какой он метнул гайку, изобличала опытную руку, помнившую вещи потяжелее гайки. Стекло не разлетелось. Оно покрылось громадным снятием трещин, каждый рубец которых сверкал в свете разноцветных лампочек очень самостоятельно. Над окороком встало снятие бесчисленных трещин.

Приказчики стояли на улице перед окном и махали руками в блестящих нарукавниках. В белоснежных халатах, они напоминали закливателей, от которых сбежал дух. Никто не знал, как это случилось.

— Прошлую неделю было то же самое.

— В северном районе они разгромили лавку три дня тому назад.

— Нужно принимать меры.

Сквозь толпу плыло лакированное кепи полицейского.

Человек в шарфе был уже далеко. Он шел быстро и не оглядывался. Ему начали попадаться навстречу лакированные кепи все чаще и чаще. Иногда они стояли кучками и сощелкались. Впереди, видимо, происходило не совсем обыкновенное. За углом на маленькой площади человек в шарфе остановился. Площадь была захвачена демонстрацией. Человек вглядывался в ряды. Это были птицы его полета. Это шли безработные, подняв плакаты, которые он оставил без внимания. Не в первый раз он видел их и очень хорошо знал, что там пишется. Он еще знал, как трещат палки плакатов, когда их ломают, полицейские, он даже знал, какой след оставляет резиновая палка на плечах и на спине. Полицейские сжали демонстрантов с боков. Демонстранты двигались тихо и мрачно, точно копили силу. На всех лицах недоедающее поставило свой штамп. И в белизне электрического света иные закрывали глаза от слабости. Полицейские шли по сторонам, как конвоиры, точно они взяли в плен эту враждебную армию и отводили ее за проволоку в глубокий тыл. Прохожие останавливались немногие. Они уже привыкли. Многие женщины в рядах вели за руку детей. В середине процессии кто-то закричал; нельзя было разобрать, что крикнули. Потом возникло некоторое движение, точно в толпу упал камень, и все спрашивали друг друга, куда он упал. Потом раздалось несколько голосов, люди пели хриплыми, но уверенными голосами. Человек в шарфе слушал, ухмыляясь. Слова его радовали:

In der Welt muss das Proletenheer  
dienen nur dem Profit.

— Как будто так и есть, — сказал человек.

Полицейские подняли и опустили палки. Песню подхватили с края. Она шла над толпой, повергая плакаты в некую дрожь. Плакаты бледнели перед словами песни, ударявшими на них сверху.

Doch in unserer UdSSR  
klingt uns ein neues Lied,  
klingt von unserer gewaltigen Kraft,  
der sozialistischen Planwirtschaft.

Внезапно передние ряды прорвали полицейскую цепь. Поднялся крик. Толпа напомнила крутую кашу, в которой мешают ложкой, не очень стесняясь. Среди крика и беспорядочного шума несколько здоровых плеч продолжали вести огненную линию глоток:

Von unserem Willem zum Sieg!  
zum Sieg!..

Передние ряды прорвались в ту улицу, в какую хотели. Лакированные кепи перегруппировывались. Плакаты качались уже, как знамена. Можно было уже драться за эти

палки и за эту материю, отстаивая их неприкосновенность.

— Они будут стрелять! — закричала женщина.

— Ну, ну, — сказал человек в шарфе, — это они умеют.

Mögen die Kapitalisten auch schreien,  
das soll unsre Parole sein  
in der Sowjetrepublik...

Пел уже один голос, и едва он кончил, как десятки голосов подхватили и понесли припев:

Ran! ran! alle Mann ran!  
mit dem Traktor, ran mit Bahn und Krahn!  
ran! ran! alle Mann ran!  
an dem Fünfjahresplan!

Свистки пронеслись по улице с быстротой пули. Плакаты заколебались и пошли книзу. Полицейские ринулись в толпу.

Человек в шарфе с криком: «Ran! ran! alle Mann ran!...» — сшиб ближайший лакированный блеск, и свалка охватила всю площадь.

Из окон смотрели люди. Магазины закрывались с неслыханной быстротой.

Резиновые палки работали по спинам. Сухотрещали ломающиеся палки плакатов. Прохожие, стиснутые на углу, прятались в проезды. Широкоплечий старик с лиловыми щеками презрительно постукивал палкой о тротуар.

— Ты слышал эту песню? — сказал он. — Да, в наше время Германия была другая.

— У нас, Отто, — отвечал высокий с бакенбардами старик, — ты забыл, была Германия порядка. Давай, однако, попробуем пробраться. Мы опоздаем на наше собрание. Не ждате же, когда это кончится!

— Это кончится скорее, чем ты думаешь. Пусть только наш старик наверху сообразит кое-что.

## II

### Иоганн Кубиш

Отто фон Штарке, опираясь на свою черную палку, поздно возвращался домой. С ним это случилось не так часто, но сегодня был изумительный вечер, вечер воспоминаний, собрание его ближайших друзей — ветеранов войны.

Шестнадцать лет назад они вошли в расцвете своих сил в огненное море, и оно выбросило их на пустынный берег — обожженных, изуродованных, обиженных, озлобленных калек. Конечно, можно спрятать мертвецов, одних просто в землю, других в пышные мавзолеи, конечно, можно убраться с улицы инвалидов, засунуть их в мастерские, в углы, где никакая сила их не отыщет, конечно, можно писать мемуары, доказывая, что ты не убежден, что это ошибка, что, если бы не взбунтовался флот, не разложился бы тыл, где пако-стились шкурники штатские и социалисты, не вмешалась бы некстати Америка, — все было бы иначе. Но куда спрятать эти массы на улицах, этих голодных рабочих, вылезших из всех ям, из всех шахт, подвалов, заводов, волящих день и ночь о своей нужде, куда спрятать нищету, которая с каждого угла косит огромные глаза и тянет худую, как плеть, руку! Вечер был, правда, полон славных воспоминаний. Портреты вождей великих армий слушали достойные речи, даже тосты напоминали лучшие времена империи, но узкие, как гробы, комнаты майора Шрекфуса вмещали только вчерашнюю Германию, Германию, о которой не хотели слышать эти толпы, певшие дикие песни о варварской стране, висящей где-то на краю света.

Это непонятно ему больше всего. Как можно не чувствовать себя немцем, прежде всего немцем, а они прежде всего горланят о братстве с трудящимися, как они говорят, всех стран.

Так рассуждая и стуча палкой, Штарке шел по бульвару к своей тихой квартире на далекой улице. Пенсионеры войны не так-то легко жить в эти сумбурные времена. Правда, кое-что есть у него в банке, Штарке никогда не был нищим.

На скамейке налево под деревом, несомненно, спал человек. Штарке задержался перед скамейкой. Он стоял над спящим и смотрел. Что он хотел прочитать в усталом и диком лице? Закрытые глаза походили на провалы, в которые можно положить по музейному талеру, и талеры утонут во мраке этих провалов. Что говорил ему шарф, закутавший худую шею и направленный под изношенный, застегнутый на громадную пуговицу пиджак? Что ему могли рассказать стоптанные сапоги этого человека? Может быть, он нашел их на помойке? Не хватало еще, чтобы он перевязал их веревкой, но, кажется, это ему придется сделать в ближайшие дни.

Спящий даже не замечал, что свет фонаря падает ему прямо на лицо. Но спать он мог, не боясь за карманы, так как они были освобождены от таких мелочей жизни, как деньги.

Штарке вздохнул и прижал набалдашник своей палки ко лбу. Так он стоял, изучая спящего и обдумывая невесту что. Одна рука ле-

<sup>1</sup> Во всем мире пролетарская армия должна служить только наживе — но в нашем СССР звучит нам новая песня о мощной силе социалистического планового хозяйства, о нашей воле к победе! Пускай кричат капиталисты, наш пароль должен быть в Советской республике: вперед, вперед, все вперед с тракторами, с дорогами, с подъемными кранами вперед, вперед, все вперед к пятилетнему плану!

жавшего была засунута в карман, другая свалилась со скамейки, и рукав задран был выше локтя. Штарке оглянулся вокруг. Все было тихо. Он нагнулся к руке. Около локтя был шрам, точно два крючка запущены были в мясо и проташены с силой вниз, образуя на руке рисунок наподобие буйволовых рогов. Шрам был лиловый, старый, кожа около него дряблая и серая. Фонарь светил над спящим, как на сцене.

Штарке дотронулся палкой до спящего. Тот не проснулся. Штарке ударил его легко по плечу палкой. Спящий сел сразу и открыл глаза; глаза ничего не видели. Он протирал их добрую минуту, затем спустил ноги совсем со скамейки, поправил фуражку и плюнул.

— А я уже думал, это шупо<sup>1</sup>, — сказал он.

Штарке отступил на шаг.

— Какого дьявола вы вошли без стука в мою спальню, дядя?

— Я разбудил вас, — не обращая внимания на его слова, сказал Штарке, — чтобы спросить — как вы относитесь к тому, чтобы переночевать под крышей?

— Это надо подумать, — сказал, вздохнув, человек, перематывая шарф, — я не рождественский мальчик, чтобы меня подбирали под елкой.

— Я вам предлагаю самым серьезным образом ночлег и ужин.

Человек встал и расправил руки со страшным хрипением. Он откашлялся, снова сел и смотрел на Штарке, как бы сомневался в его существовании.

— Кого ты хочешь починить, старик? — спросил он. — Ты, может, по части мальчиков, так я стар и у меня кулаки еще действуют.

— Я не понимаю вашего грубого языка. Я последний раз предлагаю вам ужин и ночлег. За ужином мы поговорим.

— Ты хочешь дать мне пожать, — сказал человек. — Если недалеко, то пойдем. А ты не боишься идти со мной?

— Я старый солдат, — сказал Штарке.

— Здорово холодно, — пробормотал человек в шарфе. — Надеюсь, у тебя есть чем погреться?

Штарке не ответил. Он шел, стуча палкой, и рядом с ним шагал высокий человек, засунув руки в карманы.

Они вошли в квартиру Штарке. Штарке принес холодного мяса, картофельный салат и чай. Неполная бутылка красного вина появилась на столе. Человек в шарфе не ждал приглашений. Вареное мясо ныряло в его горло, как будто падало в бочку. Съев весь салат, он отер хлебом тарелку и все это запил вином. От чая он отказался. Он сидел, смотря только на

Штарке, совершенно не рассматривая комнаты. Он смотрел на Штарке, точно ждал, что тот сейчас начнет показывать фокусы.

Штарке ждал, что его гость поблагодарит за ужин. Гость не сказал ничего. Он вытер пальцы о штаны и зевнул. Потом стал чистить зубы концом спички. Штарке открыл ящик сигар и протянул гостю. Человек снял шарф, положил его на колени, так что концы его свесились на пол. Он закурил сигару, и глаза его пропали в синем дыму. Он полоскал рот сигарным дымом. Тогда Штарке сказал спокойно, переходя на ты:

— А теперь, Иоганн Кубиш, ты расскажешь мне, как ты дошел до той скамейки, с которой я тебя поднял сегодня...

Человек положил сигару в тарелку и нехорошо засмеялся:

— Вот не думал, что я буду ужинать в полицейском бюро.

— Здесь не полицейское бюро, — отвечал раздраженный его смехом Штарке. — Но если посмотришь на меня повнимательнее, то согласишься тоже что-нибудь более приятное, чем сегодняшняя ночь. Я — Штарке, брандмайор когда-то, а ты сын моего штейгера Людвиг Кубиша, погибшего в огне. Я тебя носил на руках, когда ты не умел еще ползать. Когда же ты вырос, ты упал с большой раздвижной лестницы, на которую любил лазить. У тебя на всю жизнь остался тот шрам, что находится ниже локтя на правой руке. Так ли это?

— Если бы ты не сказал мне все сразу сейчас, я тебя принял бы за чревоушателя или как там называют тех, что угадывают на расстоянии. Да, я и есть Иоганн Кубиш — это так и есть. Кое-где имеются даже и документы.

— Ты был, кажется, на войне?

— Еще бы, кто не был на ней? Вся армия состояла из нас: только вначале, когда были победы, начальники не считали нас за людей, а за механизмы, вроде пушек. Вставай, копай, стреляй, ложись. Не смей думать. Вставай, копай, ложись. Люди явились потом, в восемнадцатом. Ты, наверно, никогда не думал, что у твоих солдат в голове ящик, в котором лежит кое-что человеческое. Нам вообще не везло. Моему поколению особенно. Мне с детства уже было плохо, сначала лестница, ушиб головы и прочее. Потом брюшной тиф; доктора сказали — не перегружайте его верхний этаж, не обременяйте его знаниями, он не выдержит, и меня отдали в слесарную мастерскую. Ну, на фронте нанюхался я разного газа — по-моему, его выдумывали, как номера в цирке, каждую неделю новый, обливали меня всякой пакостью, раз даже я из миномета получил в спину банку с австралийской обезьяной...

Он затыкнул сигарой, посмотрел на Штарке и покачал головой.

— Никогда бы не узнал! Ты так изменился,

<sup>1</sup> Шупо — презрительная кличка германских полицейских.

яденька, что в жизни не узнать тебя. Постарел ты. Видно, война не в красоту всем.

— Говори только о себе и не называй меня дянькой.

— Можно и о себе. Но на войне я узнал, что к чему. Меня просветили в лоск. А потом в революцию кое-кто со мной порабатал.

— Хороши были твои учителя. Кто же это тебя просвещал?

— Первым моим учителем был кузнец — Петр Брайэр, — хороший кузнец, замечательный кузнец, всякому дай бог таким быть, он мне объяснил разницу между хозяином и рабочим, между государством и революцией, между трудом и эксплуатацией. Научные слова все.

— Надеюсь, на него нашлась хорошая веревка, на твоего кузнеца?

Кубиш закашлялся. Он слишком много захватил зараз сигарного дыма. Он сидел, почти развалился, и шарф трепался у него на коленях.

— Брайэр сейчас коммунист. Вторым моим учителем был слесарь Томбе, убит в последний день войны, такая досада, а это был герой, он о фитиль гранаты зажигал папиросы, прежде чем бросить гранату. Он мог двоих людей столкнуть лбами, как орехи. Третий был славный парень. Погиб в революцию в Баварии — Пауль Зельт, — мне рассказывали, как он погиб. Он вышел из Совета Народных Комиссаров, весь увешанный бомбами, поскользнулся на лестнице, упал, и бомбы все взорвались. Прохот был такой, что магазины закрылись во всем квартале. Вот они и учили меня уму-разуму. Был еще один, Эрнст Астен, из штрафной роты студент, бунтовал в роте, с ним я дольше всех оставался. Пришли мы в Берлин и заняли рейхстаг. Грязные, сам знаешь, с фронта. Нас так и называли «шививый отряд». Ну, вшей у нас было достаточно.

Штарке остановил его. Лиловые щеки его надулись, глаза забегали по потолку. Штарке вспоминал.

— Астен, Астен, Эрнст Астен — я помню, как это было. Да, это был любовник моей племянницы. Мы принимали его за английского шпиона, который через Алиду добирался до моего огнемета. Его раз видели в разговоре на улице с одним англичанином, причастным к разведке, да, его мы упрятали в штрафную роту. Я хорошо это помню, да, да. Где же он теперь?

— Мы с ним были спартаковцами, дрались на баррикадах, а сейчас он в тюрьме, он избил какого-то майора, черт его знает, с дурацкой какой-то фамилией, Шранк... Шрунк... Шрекфус, кажется, при исполнении обязанностей. Ну, ему и припаяли.

— Что же ты думаешь делать, несчастный человек?

— Неизвестно, кто несчастнее. Я равнодушен к богатству, а те, кто равнодушен, скоро

будут раскисиваться. Как кто-то однажды сказал в воскресной школе, богатство вроде морской воды: чем больше пьешь, тем больше хочется. А меня гонят отовсюду, не дают мне работы за политику, хотя, говорят, сейчас даже инженеры без работы. Один мой приятель думал, думал и махнул в Советский Союз к большевикам. Ничего, пишет, хорошие ребята.

Штарке встал и прошелся по комнате. Кубиш теперь только начал осматриваться, но довольно равнодушно.

— Кубиш, — сказал Штарке, — рабочие должны работать, правители должны править. Ум государственный, торговый, военный и ум мастерового — разные вещи. Смотри на меня, Кубиш, я прожил честную жизнь, и живу в достатке, и могу смотреть в глаза людям, и лежать спать, как собака, где придется. И мне никто не грозит тюрьмой. Неужели у тебя при виде моей тихой и скромной квартиры нет никакого желания, тайной мысли хотя бы, иметь такой же спокойный угол? Неужели тебя не берет зависть, что я сплю на чистой теплой постели, в хорошем доме, где тепло и уютно?

Кубиш свистнул.

— Дядя — да меня не берет никакая зависть. Мы все скоро будем спать на теплой постели в теплом доме.

— Кто это — мы?

— Да мы все, кто спит на скамейках, в ночлежках, в старых трубах, в подвалах, рвань всякая, те, что не жрут по три дня.

— Что же это за чудо снится тебе, Иоганн Кубиш?

— Да какое же чудо? Просто это будет революция. Не та, в которой мы подкачали, а настоящая, наша, красная революция. Ведь не может же так продолжаться без конца? Я тоже грамотный, и с коммунистами я терся достаточно, и газеты кое-когда читаю, и знаю, что нас, безработных, в Германии сейчас миллионы шесть, а богатство у нас самое замечательное. Говорят, мы должны союзникам каждый по две тысячи долларов. Ну, уж если меня оценили в такую сумму, могу ли я пропасть? Ясно, никогда. Работы нам не дают. Есть даже поговорка, что в Германии каждую минуту вылезает из материнской утробы один шупо и два безработных. Но все же два безработных как-нибудь одолеют одного шупо.

Штарке сел, скрестив на груди руки.

— Так, Иоганн Кубиш, я слушаю внимательно все, что ты мне говоришь. Значит, старая Германия, старая родина — ничто для тебя?

— Вроде картинки, — сказал Кубиш, беря вторую сигару. — В детстве такие книжки нам выдавали в школе, но мы не читали, там было все про одно — и флаг был один и тот же, и орел один и тот же. Красная Германия — это еще куда ни шло. Иоганн Кубиш постарается



что-нибудь сделать для нее, а старая Германия — это вроде окорока. Я сегодня видел замечательный окорок. Купить его нельзя, денег нет, кризис. Нужно на автомобиле ехать за тем окороком.

Штарке озабоченно морщил лоб. Он тер своей теплой ладонью колено и смотрел в пустую тарелку из-под салата, будто хотел в ней прочесть будущее Германии.

— Ты забыл одно, Кубиш, что у правительства есть сила, для того чтобы раздавить таких, как ты.

— Ты, может, намекаешь на газы... И танки там. Но мы видели это на фронте. В конце этой улицы есть фабрика Куртца. Там башня такая большая. Ходят слухи, что в ней выделяют новейший ядовитый газ. Ну, на всех газа не хватит. На фронте меня тоже душили, но, однако, я жив. Конечно, мы поубавим людей в Германии, кое-кого сократить придется. Это наверняка. Должен же кто-нибудь отвечать за то, что Кубиш валялся, как пес, целые годы в грязи и целые годы, всю жизнь его швыряли сапогами в задницу то туда, то сюда. Нам дают жрать теплые помои, а сами едят окорока. Я этот окорок долго буду помнить. Ну, ничего, я им расквасил окно хорошей гайкой.

Штарке резко поднялся со стула, Кубиш встал тоже и начал заматывать шарф вокруг шеи.

— Значит, ты красный, ненавидящий государственный порядок, порядочное общество, не верящий ни во что святое...

— Как будто так оно и есть, — сказал Кубиш, продолжая заматывать шарф.

— Как же ты пришел ко мне и мой хлеб?

— Хлеб не твой, дядя. Что значит твой хлеб? Хлеб во всем мире только и есть что трудовой. Его пек рабочий. Разве ты сам пек его? Ты здесь ни одной вещи не сделал сам, не так ли?

— Ты величайший мерзавец, — сказал Штарке, — и с меня довольно. Надеюсь, ты не претендуешь на ночлег в этом доме после всего сказанного.

— Я так и знал, — сказал Кубиш, — что ты меня выставишь. Смешно было бы, если бы ты уступил мне свою постель.

Штарке стоял уже в передней.

Кубиш взял третью сигару и ушел, не открыв дверь и не оборачиваясь.

### III

Профессор Фабер пожимает плечами

Профессор Фабер сидел у японского экрана, и ворох газет валялся у его ног. Большой синевато-серый дог лениво зевал в углу. На столе стояла карточка Ирмы в весеннем костюме, в шляпе, похожей на авиаторский шлем.

Фотография была снята в Италии, на озере Гарди, среди тихих садов и тихих вод.

Тоненькая горничная, похожая на кинематографическую статистку, держит серебряный поднос, на подносе лежит карточка. Ирма рассеянно читает. Отто фон Штарке, майор в отставке.

Она пожимает плечами.

— Кто этот Штарке, ты не знаешь, Карл?

— Первый раз в жизни слышу эту фамилию.

— Он хочет видеть вас, господин профессор, — говорит горничная.

— Проводите его в кабинет, я сейчас выйду.

Фабер, ступая по газетам, гладит дога между ушей, прячет очки в футляр и идет в кабинет. Они сидят, и в комнате постепенно начинает чувствоваться настороженность.

Штарке кладет лиловую подгагрическую свою руку на колено и начинает кашлять; откашлявшись, он трогает себя за грудь, за то место, где видна бело-черная ленточка. Это должно придать ему храбрости.

— Меня зовут Отто фон Штарке. Сейчас я старик. В свои зрелые годы до войны я избрал огнем. Я усовершенствовал его во время войны и причинил врагу много бед. Меня называли Князем Тмы. Я думал, что мой огнем решит войну, но тут появились вы. Вы, человек, открывший человечеству, что такое боевой газ. Вы создали газовую войну и победили меня. Вы, смею сказать, как художник, наполненный научной силой, как хотели раскрашивали лицо войны, а я остался синей, которая не загла ж моря. Но море войны имеет свои приливы и отливы. Прилив погубил меня и вас. Он погубил Германию. Я пришел к вам не затем, чтобы сказать только это. Вы человек, который не раз еще придет на помощь своей стране.

Фабер прерывает его:

— Не забудьте, мой друг, что существует сто семейств первая статья Версальского договора. Производство газов этой статьей запрещается в Германии навсегда. Мы применяем химические гранаты, и то самые добродушные, при разгоне рабочих манифестаций. И только. И только.

Штарке сжимает подгагрические кулаки.

— Господин профессор, договоры пишутся людьми. Договоры уничтожаются людьми. Что мы видим сейчас в Германии — хаос и канун революции. Я, старый солдат, — я знаю войну и то, что за ней последовало. Я понимаю многое с полуслова. Я пришел, чтобы только спросить у вас: скажите, господин профессор, — ведь это еще не все...

Фабер надувает щеки.

— Что вы хотите сказать: это еще не все? Что вы подразумеваете, говоря: это еще не все?

— Я подразумеваю ваш ответ. Я повторяю: я задибал вас, были минуты, когда я ненавидел вас, вы отняли у меня славу, но ваша победа была так велика, что побежденный стал почитать вас, гордиться вами, — скажу так: старая Германия, которая бьется во мне, спрашивает вас — воскреснет она или нет?

— Господин майор! Один раз я вышел из своей лаборатории, чтобы доказать людям настоящую мощь науки. Судя по вашим словам, я доказал. Придет ли другой такой момент — я не знаю, я тоже не молод.

— Господин профессор, я не верю вам. Башня завода Куртца — это же сегодняшний день...

Фабер откидывается на спинку кресла. Он недоволен.

— Господин профессор думает, что он вне политики. Но его наука служила на германской службе, она способствовала победам германских армий. Вы не докажете мне, что вы не германец. Я только хочу знать, какой вы германец, германец Третьей империи или, страшно сказать, смешно сказать — советской Германии? Или вы умываете руки?

Фабер пожимает плечами.

— Вы отказываетесь отвечать? Тогда все же скажите, кому же угрожает башня завода Куртца?

Фабер вторично пожимает плечами.

— Она угрожает людям ограниченного ума!

#### IV

##### Богатые перспективы

— Мне сказали, что вы очень больны, что вам трудно разговаривать. Я не позволю себе утомлять вас. Но я искал вас так долго по всей стране, что сегодня не могу уйти, не выказав того, зачем я здесь.

Он говорил с явным акцентом. Серый костюм, серые волосы, серое лицо с узкими губами и серые глаза прекрасно маскировали его. Нельзя было отгадать ни его профессии, ни его намерений. Серую перчатку с левой руки он не снял, он положил руку в карман вместе с перчаткой. Штарке плотно был вбит в мягкое высокое кресло. Он не сказал ни слова. Он только кивнул головой, и незнакомец сел.

— Мое имя не играет никакой роли. Оно ничего не откроет. Если я скажу, что когда-то меня звали Хитченсом, а потом Стоком, а потом Лавуа, а потом Катарини, а потом опять Хитченсом, то я переверну только несколько страниц моей биографии. Достаточно вам знать, что я искал именно вас.

Незнакомец наклонился и долго рассматривал темную тяжелую фигуру Штарке, точно замурованную в кресле.

— Так это и есть Князь Тьмы? Так вот он

какой! Знаменитый Князь Тьмы, которому я подарил свою левую руку. — Он вынул руку из кармана и ударил ладонью по столу. Легкий звон протеза был заглушен серым сукном.

— В тысяча девятьсот пятнадцатом году ваш огнемёт и удушливые газы нагнали на нас такую панику, что люди обезумели от страха. Вы не воспользовались вашими неожиданными возможностями и дали остыть нашим головам от страха. Я никогда не занимался в упор военным ремеслом. С того дня, когда я узнал ваш огнемёт, в меня вселился дух войны. Злоба поддерживала меня, как пробковый пояс утопающего. Я утопал в трудностях, но все же мои первые изобретения имели успех — смешно сказать, я закапывал в землю бидоны из-под керосина и стрелял бидонами из-под воды, начиненными газом. С тех пор я работал как одержимый. Я не буду говорить о том, что вы прекрасно знаете. Огнемёты и газометы Хитченса доставили вам немало горьких минут. Когда я в начале работы учился на опыте фронта, меня угостили из вашего огнемёта сравнительно любезно — я отделался одной рукой. Я дал себе тогда слово узнать имя человека, которому я обязан тем, что заразился лихорадкой войны, бешеной лихорадкой, грызущей меня целые годы. Я узнал сначала, что вас зовут Князь Тьмы, но это было поэтическое определение, не более. Затем я узнал, что вас зовут Отто фон Штарке. И я сказал себе: я отыщу этого человека не для того, чтобы оскорбить его, не для того, чтобы убить, а для того, чтобы сказать ему, что он герой.

Штарке молчал.

— Я потерял любовницу, война стала моей любовницей, я — спортсмен — лишился всех игр, без руки нет спортсмена, война стала моим спортом. Я — доктор философии, сейчас, когда философия умерла, — наслаждаюсь философией войны. Наше время — время непрерывных боевых столкновений. Я скажу вам, что десять лет, прошедших после войны во Франции, я редко выходил из боя, а если выходил, то шел в лабораторию, чтобы оттуда снова вернуться в бой. Где я воевал? Возьмите войны последних лет, и вы увидите, что их не так мало. Но все эти войны — сон в легкую ночь перед той новой войной, которая охватит мир. Пушечное мясо подросток во всех странах для новой игры. Капиталисты и ученые пойдут на войну, одни — боясь смертельного роста пролетариата, другие — из разных смешанных чувств. Профсоюзные чиновники демократии разведут соус пропаганды. Война разрешит все кризисы, убьет безработицу, война потребует железо и сталь, медь и уголь, нефть и азот, бумагу и кожу, консервы и масло, животных и людей, готовых на все.

Штарке молчал.

— Мы пустим дым, разноцветный дым окутает землю фантастическими одеждами. И в этом дыму произойдут величайшие столкновения, кровь храбрецов снова оживит золотые жилы мировой жизни и даст небывалый расцвет победителям, будут пущены газы, превращающие целые армии в сборища хохочущих уродов, они будут хохотать часами, и никакое искусство в мире не даст зрелища, трагичнее и совершеннее этого. Мы пустим машины, переходящие любое препятствие, машины-амфибии, летящие под облаками, ныряющие на дно моря, выходящие на берег и штурмующие города. Машины без руководителей, управляемые на расстоянии. Но, воюя, мы не будем забывать, что сегодняшний враг — завтрашний покупатель, мы не будем забывать этого.

Наши ядовитые газы проникнут через любую маску, не поддающиеся никакому тушению фосфорные бомбы сожгут мясо до костей, мы зальем, если будет нужно, горящим фосфором города и дороги, отравим водопроводы и колодцы, пулеметный дождь будет идти под небом, затемненным тысячами самолетов, подержанных дальнобойной артиллерией.

Штарке молчал.

— Если бы вы знали, сколько людей в мире жаждут новой мировой войны. Увеличивающаяся энергия правящих классов ищет выхода, расточительная энергия молодежи, не знающей, что такое война, полна книжных воспоминаний и рассказов из недавнего прошлого. Даже женщины мечтают о войне, — женщины любят кровь, и кровавые рассказы боевого офицера всегда будут волновать их сердца. Но я бы зря сидел в темном окопе, ожидая случайной пули снайпера или куска дупотопной мины, если бы не люди, двигавшие военную мысль. Я был у профессора Фабера, чтобы принести ему благодарность за изобретение, перевернувшее историю человечества, но он не понял меня или не хотел понять. Вы же старый солдат, простой и крепкий воин, мой учитель в огнеметном деле, и я рад, что вижу вас, отысканного с таким трудом.

Штарке молчал.

— С кем мы будем воевать, спросите вы? Где плацдарм, достойный такой великой партии? Я вам скажу: весь мир, где есть пролетариат. Не тот, который работает на нас, не тот, который будет есть соус нашей пропаганды, не тот, который мы купим, не тот, который струсит и будет нейтрально грузить военные грузы, — а тот пролетариат, который вооружен ненавистью к нам и смотрит только в одну сторону с ожиданием: в сторону Советской России. Мир знал войны с драконом, с полумесяцем, со львами и орлами империи, теперь он будет воевать с серпом и молотом. Всюду, где

появятся эти знаки, будет бой: всякий человек, поднимающий руку за них, — наш враг. Вот почему наш великий поход должен объединить воинов всего мира. Мы научились многому за эти годы. Оказалось, что мы еще молоды, что кровь пиратов, как говорит мой друг, не иссякла еще в наших жилах, а империи не строят в белых перчатках. Ваша страна накануне революции, мы придем к вам на помощь. Вам надо сказать одно, милый сэр Отто, — что мы больше с вами не враги. Мы кровные друзья, породнившиеся в битвах, обновивших цивилизацию.

Штарке молчал.

— Я сказал вам, зачем я приехал. Я приветствую вас от всей души. Мир нуждается снова в сильных и крепких душой и телом людях. Я, как ваш Носке, готов повторить: «Я горжусь, что меня называют «кровавая собака Носке». Я был бы рад услышать от вас, что вы скажете: «Я горжусь, что меня называют Князь Тьмы».

Штарке молчал.

— В Лондоне я был недавно на банкете, где великий германец, генерал Леттов-Форбек, защитник восточной Африки, и великий англичанин, генерал Смутс, покоритель восточной Африки, — люди, сражавшиеся годы друг с другом, — пожали братски руки и заключили союз. Этого я хочу и от вас. Я прошу разрешения пожать вашу славную руку от всего сердца.

Гость встал и подошел к Штарке. Лицо Штарке налилось кровью. Лоб был темнее старой бронзы. Но он оставался неподвижным в своем похожем на стоячий гроб кресле. Гость закусил тонкие губы и наклонился к самому его лицу. Потом он перевел глаза на руки Штарке и тронул их своей правой рукой. Он вздрогнул и отодвинулся от кресла.

— Паралич! — не скрывая ужаса, сказал он. — Проклятие, отчего меня не предупредили! Какое несчастье, сэр. Это невозможно, я не верю, как же быть? Но это, несомненно, паралич, да, — сказал он, снова наклонясь к Штарке, — вы меня слышали?

Штарке утвердительно кивнул головой.

— И все-таки это паралич?

Штарке кивнул головой. Англичанин оперся о стол, и протез звонко и досадливо хрустнул на всю комнату.

## Что мы делали сегодня?

Профессор Фабер прошелся по комнате, легкий, как юноша.

— Что мы делали сегодня, милая Ирма?

Ирма, свежая и веселая, стояла перед ним, она знала, что он любит ее, что каждое ее

движение доставляет ему радость, что иначе не может быть.

— Сегодня мы слушали честного, доброго Бетховена, — сказала она, — мне надоело джазы. Завтра Кэтти уезжает в Меран, и я буду ее провожать. Какие новости у тебя, мой милый?

— Я встретил Бурхардта. Я давно не видел его. Он все тот же. Он сходит с ума в своем фашистском рвении. Они в начале будущего года будут праздновать шестидесятилетие Германской империи.

Ирма сложила молитвенно руки перед японским экраном, точно просила вышитого павлина полетать.

— Германской империи, — разве такая существоует?

Фабер улыбнулся и потрепал ее по щеке.

— Поговори с ним. Он знает только, что будет праздновать первый Версаль, Версаль семьдесят первого года, будут палить из пушек и говорить речи, он разнесет Францию и Россию, так как традиции не умирают, а в воздухе пахнет Третьей империей, будут носить кринолины...

— Вот неожиданности! — воскликнула Ирма, вынимая надушенные папиросы, но отнесли ли слова ее к сообщению Фабера или к вошедшему Фогелю, который раскланивался еще с порога, осталось неизвестным.

Фогель приближался несколько танцующим шагом, и его лицо дипломата переменяло ряд выражений, пока он дошел до японского экрана.

— Профессор Фогель, — сказал Фабер, — очень рад вас видеть. Садитесь. Где вы пропадали?

— Я был в Майнце и Леверкузене, заезжал в Херст — все в порядке, только, — он поглядел на Ирму таинственно, — ходят разные слухи о башне завода Куртца, следует кое-что там перепланировать.

— Слухами у нас мостят улицы, — сказал Фабер.

Шутки не выходили у него всю жизнь. Фогель смотрел на него преданными и глубокими глазами. Дог подошел и положил острую морду ему на колени. Дог любил дипломатов, они имели особый запах, они пахли не так, как все люди.

— Я зашел по делу, профессор, — сказал Фогель. — Опять эти большевики...

— Фогель, вы настолько стали фашистом, что твердите слово «большевики» при всех случаях жизни. Большевизм — не более как якобинство, помноженное на чартизм и разбавленное немецко-еврейской философией. Для варварских народов — это ключ к культуре, для нас это, по-видимому, огненные слова на стене и постоянная пища для газет. Но их ученые вполне знающие люди. Я встречал неко-

торых. Они отличные ученые. Что вы хотите сказать, Фогель?

— Вот затем я и пришел к вам, господин профессор. Не далее как три дня назад в газетах помещено сообщение из Москвы, что там казнено снова несколько десятков так называемых вредителей, и среди них есть ученые.

— Милый Фогель, нельзя расстреливать науку, вся европейская культура держится учеными. Расстреливать их могут только дикари.

— Увы, это так. Они расстреливают своих ученых, как простых сапожников.

— Милая Ирма, ты представляешь, когда у нас Чека возьмет верх и придет убивать меня и Фогеля, что ты будешь делать? Тебя они пощадят, ты красива, ты будешь комиссаром...

— Карл, — воскликнула Ирма, — я не люблю твоих шуток, ты это знаешь, а потом, я не верю, что нас будут убивать, ты что-нибудь придумашь, и все изменится, как в ту войну.

Фабер поправил очки. В очках он походил на китайца.

— Мы с Фогелем улетим на луну... Так в чем же дело, Фогель?

Фогель пошел к двери и взял оставленный им при входе на стуле красный портфель. Он осторожно вынул большой лист толстой бумаги, сложенный вчетверо, и развернул его перед Фабером.

— Это протест против расстрела, — сказал он. — Во имя гуманности мы должны протестовать. Я собираю подписи немецких ученых, и кое-кто уже есть.

Фабер читал подписи. Он нахмурился, прочтя текст.

— Несколько десятков человек, ты подумай, дитя мое, Ирма, подумай, убить несколько десятков человек — это нужно иметь душу дьявола. Они действительно упорны, как кремь. Это люди однобоких мыслей. История знает примеры дикого упорства. Вспомним хотя бы Гамбетту. В юности отец отправил его к тетке в глушь. Он пишет отцу: «Возьми меня отсюда, я не хочу здесь жить». Отец пишет ему, чтобы он молчал и оставался. Он отвечает: «Возьми меня, или я выколю себе глаз». Отец пишет: «Не дури и оставайся». Он отвечает: «Я выколол себе один глаз и выколю второй, если ты не возьмешь меня отсюда». Его взяли экстренно. Россия — это сплошные Гамбетты, и одного глаза у них уже, по-видимому, нет. Дай же, Фогель, я подпишу. Мне даже нравится это упорство примитивного ума. Но Европа должна иметь свою долю влияния, иначе эта орда обрушится на нас, а мне, по правде говоря, жаль моих лабораторий. Я провел в них всю жизнь. У вас есть перо? Так. Спасибо, Фогель. Это высохнет сейчас.

# ЗЕЛЕНАЯ ТЬМА

## ПОВЕСТЬ

— Гереро? Ты спрашиваешь про гереро? Ты сейчас о них узнаешь!

Старый отставной генерал инженерной службы специального африканского корпуса Ганс фон Дитрих, в грубой, давно отслужившей свой срок охотничьей серой куртке, пошел, хромя, задевая тяжелые кресла, в угол своего кабинета.

Пошарив за большим шкафом, он вернулся к письменному столу, шутливо потрясая ветхим черным копьем с пыльным, тусклым наконечником. В другой руке он держал продолговатый узкий щит, цветные узоры которого стерлись от времени, и он казался игрушечным и бутафорским.

— Вот гереро! — сказал он, ставя копье в корзину для бумаг, прислонив его к стенке и выставив щит перед столом. — Ты будешь смеяться, а в те времена тысячи чернокожих воинов, вооруженных вот такими копьями, сражались против наших войск и были не таким легким противником. Они, правда, не мазили наконечники копий и стрел ядом, но метко пускали стрелы и метали копья со всей яростью одержимых. Видишь ли, им не нравилось, что немецкие поселенцы стали возделывать лежащие без всякого проку роскошные африканские земли. Они вязались в непосильную войну, и эта война длилась долго, целые годы, пока мы не приняли серьезных мер...

— И что с ними стало? — спросил Отто вежливо и равнодушно, потому что ему было совершенно все равно, какая судьба постигла несчастных гереро, вздумавших потягаться с императорскими войсками.

Ганс фон Дитрих пренебрежительно махнул рукой:

— От них осталось воспоминание и земли, которые мы, немцы, сделали цветущими и которые у нас потом незаконно, грабительно отобрали англичане. Им сегодня потомки наших гереро и готтентотов доставляют большие неприятности. Так им и надо! Просто странно слышать, что есть люди, которые хотят уверить мир, что африканцы что-то могут сказать человечеству. Это смешно! Но богатства, которыми обладает там земля, и сейчас неслыханны. Мне, как ты знаешь, в юности удалось побывать у дяди Рихарда в гостях, и я был в полном восторге от того, что увидел. Там было все, чем тропическая природа может одарить человека: слоновая кость, каучук, фрукты, пальмовое масло, кожи, золото, алмазы, разные руды. Немецкие колонисты завели образцовое хозяйство...

— Там, наверное, вы имели, дядя, много романтических приключений?

— Приключений? Было кое-что, было... Я много странствовал, охотился на слонов, на жирафов, на крокодилов. Однажды я, сознаюсь тебе, испытал настоящий страх. Я бежал от раненого черного буйвола, и он преследовал меня со всем упорством дикаря, уже пораженного насмерть. Я бежал, задыхаясь, успел только вскарабкаться на кирпичную стенку фермы и даже не имел сил перепрыгнуть на ту сторону ограды. Я лежал на стене, а буйвол бил рогами в стену ниже меня, и я до сих пор помню его косматый затылок и глаза, похожие на два кровавых шара. Его добила охотница, а если бы я не добежал до этой спасительной стены, я бы не говорил сейчас с тобой... Африка — это Африка...

— Дорогой дядя, я ведь еду не в Африку, а в Азию, я еду в Бирму по вашему совету, по вашей протекции. И, кроме того, времена сильно изменились...

Ганс фон Дитрих печально вздохнул и, нахмурился, оглядел шкафы, где покоились большие устаревшие тома в черных переплетках и связки карт, которые больше не пригодятся в жизни. Отто скучающе смотрел на выцветшие, пожелтевшие картины, изображавшие битвы прошлого, где рядом с Вейсенбургом были Форбах и Сен-Прива, на истертые ковры, чучело сохшегося крокодила, рога антилопы, мебель, сделанную почти сто лет назад. От всего этого веяло пыльной тоской, скукой и безвыходностью. И сам дядя в своей сильно потертой куртке, с седыми, коротко подстриженными усами походил на замшелого гнома, стерегущего пещеру устаревших кладов, не имеющих никакой ценности в глазах молодого поколения.

Ганс фон Дитрих вздохнул еще раз и, усевшись глубже в кресло, заговорил, как ему казалось, о самом главном. Эти рассуждения Отто слышал не впервые, но все равно сегодня надо слушать особенно внимательно, потому что завтра он все-таки улетает в Бирму и не стоит обижать старика перед самым отъездом.

— Дорогой Отто, я не раз уже говорил с тобой на эту тему. Молодые люди всегда думают иначе, чем их отцы и матери. Да и кроме того, вы, молодые, принадлежите к особому поколению. Вы мальчишками видели трагическое падение Германской империи, когда в крови, в дыму, в развалинах, казалось, исчезает все и больше нет никаких опор, кроме отчаяния и бессильной ярости. Вы могли вырасти людьми, почти лишенными всех свойственных настоя-

шему немецкому человеку чувств, потому что оккупанты — враги нашего отечества — могли воспользоваться нашей тогдашней слабостью и внушить вам презрение и неуважение к родной истории, к родным традициям. Но этого не произошло. Сами враги поняли, что мы сильный народ, который возродится при любых обстоятельствах. И мы возродились. Мы снова богаты и сильны. Почему я заговорил об Африке? Потому что ты, Отто, сегодня в Азии будешь тем, кем был я в свои молодые годы в Африке. Ты продолжишь дело твоих предков — дело создания Германской колониальной империи. Это требует новых форм, новых подходов. Всюду, на всех материках мы будем оказывать помощь только что освобожденным странам, прогнавшим колонизаторов — англичан, французов, голландцев, странам, начинающим развиваться самостоятельно. Мы в их глазах не колонизаторы, и мы должны быть друзьями, советниками, помощниками, совладельцами предприятий, людьми, необходимыми в экономической жизни страны, а потом и в политической. Все-таки без нас этим древним, уставшим, давно истратившим всю энергию, выродившимся народам не встать на ноги. Мы им должны помочь. Ты, Отто, один из тех, на кого выпала эта почетная честь. Я направляю тебя в крепкие руки своих старых друзей, уже много сделавших для развития нашего влияния в Бирме. И ты не должен забывать, что ты приходишь в страну, где не доверяют белому человеку, потому что он слишком долго проявлял свою нетерпимость и силу, только силу. Ты являешься представителем народа европейского, но не имеющего колоний, никого не угнетающего. Но это не значит, что ты должен быть запапанибрата с желтым человеком. Нет, ты должен оставаться гордым, властным представителем Великой Германии и никогда не должен забывать, насколько ты выше этих наших азиатских «друзей». На тебя возложена высокая миссия, и я уверен, что ты будешь достоин нашей старой боевой фамилии...

Отто вытянул руки по швам и стоял, как молодой командир, получающий приказ от высокого начальника.

Дядя, не скрывая довольной улыбки, любовался его спортивной выправкой.

— Я буду помнить все, что вы сказали. Мой немецкий дух никогда меня не покинет...

— Так, так! — сказал дядя Ганс и вдруг с несвойственной ему легкостью схватил копы и метнул его в дальний угол. Копье пролетело через комнату и, ударившись в ковер, повисло, раскачиваясь. Он засмеялся и закрычал, как в казарме: — Вот так надо действовать — сильно и верно! Так всегда действовали Дитрихи!

— И Мюллеры, — добавил Отто.

— Bravo, племянник! — воскликнул дядя

Ганс и, меняя тон, подошел к Отто, положил ему на плечи руки и сказал тихо, смотря в его светло-голубые глаза своими зеленовато-серыми: — Сегодня ты справишься проводы? У кого?

— Мы соберемся у Курта.

— У Курта фон Крейзена?

— Да!

— Это хорошо. Это настоящая немецкая семья. Надеюсь, там будет весело. А потом в дорогу! Бирма — это все-таки не так близко. Это даже очень, очень далеко... Много дальше нашей Африки!

Отто Мюллер вернулся домой поздно. Голова его гудела от выпитого, от переживаний, от разноцветного сумбура, который царил на вечере, от шумной компании, от мысли, что он распрощался надолго с добрыми приятелями, со знакомыми, с Хильдегардой.

Курт фон Крейзен посадил в свою машину совершенно пьяного Эриха с его рыжеволосой сестрой Гизелой, за которой открыто ухаживал целый вечер, ее подругу, разбитную Анну, смешливую Хильдегарду и Отто. Курт — настоящий товарищ. Он и Отто — старые друзья, еще с юности. И сегодня Отто пригласил всех, кто близок к ним: и Людвига, и Георга, и Эриха, и Карла, не забыл и Вилли. Это настоящие парни добрых семейств. И таковы же девушки Ирма, Анна, Фрида, Элла, поискать — лучше не найдешь. Хотя родители Курта невеселые и чопорные старики, но любят свою молодежь и дают ей свободу повеселиться без всяких ограничений. Богатые эти фон Крейзены, непонятно только, почему они после войны стали жить еще богаче. Дядя говорит, что у них родственники в Америке, а оттуда сейчас идут большие деньги, которые янки вкладывают в германские предприятия. Может быть, и так. У Отто нет богатых родственников в Америке, и потому он едет зарабатывать деньги и делать карьеру в какую-то неизвестную далекую страну, о которой кто-то рассказывал ему ужасы... Кто же это рассказывал? А, Хильдегарда! Так много пили и танцевали, так много курили и рассказывали всякие истории, что можно спутать. Да еще после такой выпивки. Ведь там было и виски, и коньяк, старый французский коньяк, и шампанское, а потом девушки попросили рейнско-го, и оно появилось, как в американском фильме. Ничего, Отто тоже разбогатеет, и тогда он вернется из этой Бирмы и покажет им всем, что значит завоевывать новые земли. Хорошая девушка Луиза, сестра Курта! Она устроила так, что можно было пройти в ее комнату, и там они сидели с Хильдегардой, удрав от всех.

Гости уже плохо соображали, кто с кем куда ушел и где находится, иные сидели прямо на полу перед камином, иные пробовали новые американские танцы, которые показывал вер-

нувшийся из Нью-Йорка от своих американских родственников, красовавшийся в новом костюме, сегодня особенно самодовольный Курт.

С Хильдегардой они условились окончательно, что поженятся сейчас же, как только он вернется. Ему нравилось, что она веселая, с розовыми губами и розовыми щеками, с острыми огоньками в глазах, простая, не такая, как все. И они хорошо проводили время в комнате Луизы. Они целовались так много, что Отто стало казаться, что у него губы сделались плоскими. Он сказал об этом Хильдегарде, и она испуганно прошептала:

— Как, и у меня тоже стали плоскими?

Но это была шутка. Да, Хильдегарда очень мила. Конечно, с ней нельзя обходиться, как с теми девушками, податливыми подружками, которых было всегда достаточно в студенческие времена. Да к тому же они находились в почти аристократическом доме. Здесь особый мир, и нельзя нарушать законов этого мира.

— Я буду ждать твоего возвращения. Но ты помни, что я тебя жду, всегда помни, — сказала Хильдегарда, обнимая его за шею, щекоча своим легким локоном и шепча в ухо: — Там, говорят, много, много драгоценных камней. Мои любимые камни — лунный камень, рубин и опал. И еще изумруд...

— Я привезу их тебе, я не забуду: лунный камень, опал и еще изумруд...

— И еще рубин, — так же тихо сказала она, целуя его в висок, — и еще не бегай за туземными танцовщицами. Там, говорят, они танцуют такие танцы, что мужчины сходят с ума. Ты не должен иметь с ними дело. Там странные нравы... Это очень опасно...

— Опасно? — Он засмеялся. — О чем ты хочешь сказать?

— Ты знаешь, я прочитала в одной книге, я забыла, кто ее написал, такую историю. Она может касаться и тебя...

— Что же это за история?

— Один юноша вот так же поехал на Восток, куда и ты едешь. И там познакомился с одним пожилым, богатым человеком. Этот туземный деспот очень подружился с ним и показал ему красавицу, свою наложницу, жившую у него в доме. Молодой человек с первого взгляда влюбился в нее...

— Дешевая выдумка, — сказал Отто, — подумаешь!..

— В книге говорится, что это подлинная история. Красотка отвечала взаимностью, и они полюбили друг друга и встречались, когда хотели. Старый деспот делал вид, что ничего не замечает. А когда они однажды были вместе, забыв всякую осторожность, он приказал схватить их, и страшные слуги, черные или коричневые, я не помню, раздели их и, подумай, голых положили друг на друга...

— Что ты говоришь, Хильдегарда! Это какие-то арабские сказки...

— Слушай, их привязали к плоту, так что они не могли пошевелиться, и пустили плот по реке, а в ней кишели крокодилы. И крокодилы их разорвали на куски... Я потом не могла спать всю ночь. Мне снились крокодилы и ты...

— При чем тут я?

— Мне казалось, что тебя рвут крокодилы, и это было так ужасно!

— Охота тебе читать всякие книжки для развращенных школьников! Мы уже вышли из этого возраста.

— Нет, Отто, миленький, я не хочу, чтобы тебя съели крокодилы, но ты не будешь влюбляться в танцовщицу, и ты мне еще привезешь что-нибудь — сумочку, например, из крокодиловой кожи...

Нет, в самом деле, в Хильдегарде есть что-то наивное и детское. В ней нет никакой распушенности современных девиц. Она нравится дяде Гансу. Она спортсменка, она из хорошей семьи. А когда он вернется? Этого он сказать не может... Он и не сказал о сроке своего возвращения Хильдегарде. Она будет ждать, она так хороша была с ним, и милая Луиза не выдала их. Хорошо жить на свете! Еще лучше быть богатым... Я им буду. Я, как, дядя, пушу копы: «Вот так надо действовать!» Здорово он это сказал!..

Когда Отто Мюллер, пробравшись по узкому проходу среди теснившихся пассажиров, сел наконец на свое место у круглого, похожего на иллюминатор окна, он почувствовал, что действительно устал от сборов, от необычных переживаний, от вчерашних проводов. Да и сейчас он выпил на прощание с приятелями больше, чем надо.

Лицо его было кирпично-розового цвета. Казалось, что если он заговорит, то будет говорить один дерзость. Он озирался тусклыми глазами. В тяжелом тесном кресле было неудобно сидеть. Белый пробковый колониальный шлем, который все время держал под мышкой, обращая на себя всеобщее внимание, он небрежно положил вместе со шляпой на высокую полку над головой. Ему было душно и неуютно.

Поэтому он обрадовался, когда самолет, как ему полагаду, вышел на старт, как бы набрал духу, взревел всеми своими моторами и двинулся по гладкой дорожке, набирая скорость; потом оторвался от земли, как будто повис в воздухе, но сразу же деревья внизу, как и огни на земле, побежали в стороны — стало понятно, что он в полете. На вопрос аккуратной и такой свежей, точно она пришла из ванны, девушки в синем, с сияющими глазами и нарисованной улыбкой Отто Мюллер сказал: «Мне дайте коньяку!»

Стюардесса, чем-то неуловимо напоминавшая Хильдегарду, принесла маленький стаканчик коньяку, и он пожалел, что она не может присесть напротив. И просить ее об этом не стоит. Он выпил коньяк, засунул стаканчик в широкий карман, который обнаружил на спинке кресла прямо перед собой. Из кармана торчали рекламные проспекты и кусок подноса. Вдруг ему вспомнилось нечто смешное, и он пришел в веселое настроение.

Ну и дурак этот метрдотель, что подошел к ним с таким надменным видом, как индюк, когда он и его приятели заняли места за свободным столиком и сняли с него какой-то флаг, полосатый, кто его знает! Курт спросил, куда его девать. «Под стол», — сказал Отто и сунул его к ножке.

И тут подошел этот фрачный идол и сказал таким тоном, точно проглотил нож:

— Вы знаете, что это стол КЛМ?

— Что это такое? — спросил Отто. Он знал, но ему хотелось позлить рутинера.

— Это голландская авиакомпания КЛМ. Это всем известно! А вы сняли голландский флаг!

— Ну и что? — сказал нахально, глядя ему в переносицу, Отто. — Видели, братцы: подумаете голландский флаг! А мы немцы! И мы у себя дома. Где хотим, там сидим! Все!

И они так заржали, что метрдотель, постояв в молчании, удалился в раздумье, но Отто видел: удалился, чуть улыбаясь, вспоминая что-то, о чем он давно забыл. Вспомнил, каналья!

Неудобно просить еще коньяку. Наверное, эта девушка снова подойдет, потому что ее обязанность — ухаживать за пассажирами первого класса. Так и есть. Он пьет, не глядя ни на кого. А что ему глядеть на них! В первый раз в жизни он летит на Восток. Вот почему этот белый тропический шлем ему пригодится. Дядя подарил его в последний момент.

— Я носил такой же в Африке, — сказал старый Ганс фон Дитрих.

Он закрывает глаза, и перед ним с невероятной быстротой начинают беспорядочно проноситься картины недавних дней. Как будто сидит перед телевизором. Он видит дядю в старом мундире без погон, с сигарой в зубах, грозно потрясающего в воздухе кулаком, слышит его речь о том, что он, Отто Мюллер, должен отправиться на Восток, в далекую Бирму. Там дядины друзья — старые военные специалисты — работают уже давно, и они займутся его воспитанием. Нечего сидеть дома. Он, дядя, старый ветеран, сражавшийся в великой пустыне, соратник Роммеля, он знает, что теперь другие времена. Надо все начинать сначала. Надо строить новый рейс по-другому. Смешной дядя, становится похож на попугая, выкрикивая давно известные Отто слова о великой миссии и о том, что надо с немцами тер-

пением и твердостью приниматься за овладение Востоком мирным путем.

Это уже нравится Отто. Не надо больше воевать. Боевые друзья дяди переменили профессию. Они, как он говорит, всюду. Они мирно трудятся на всех материках, особенно их много в Южной Америке. Но Отто не смеет забывать, что он носитель германского идеала, должен всегда помнить, что немец выше всякого другого европейца. И азиат он будет учить высокой немецкой культуре и технике.

Вот почему Отто и летит в неизвестную ему Бирму. Он, конечно, читал об этой стране разные книги. Но он специалист по бетону, и там, где дороги и новые сооружения — мосты, плотины, он кое-что может сказать. Тем более что там его ждут большие специалисты. А уж что касается цветнокожих, то помочь им, конечно, за их деньги, за хорошие деньги, он может.

Но чувство его превосходства над всеми азиатами остается при нем. Он бросает быстрый взгляд на пассажиров огромного воздушного корабля, невест где пробирающегося сейчас над облаками.

Вот он видит трех людей средних лет, чем-то удивительно похожих друг на друга. Они тоже сели в Дюссельдорфе и тоже, он видел, выпивали в компании в ресторане перед отлетом. Но они делают вид, что они серьезные люди, не то, что он. Они даже не смотрят в его сторону, хотя он знает, что они немцы. Он тоже имеет глаза — у них вынуты из портфелей какие-то медицинские журналы, они углубились в них.

Сади Отто сидят, рассматривая иллюстрированные журналы, муж с женой, потом сидит какой-то восточный тип. Спит, накрывшись газетой, смуглый старик. Дреmlют еще несколько человек, откинув спинки своих кресел. Интересно, черт возьми, лететь первый раз в такие неизвестные дали! Не надо было пить после коньяка пиво, а потом опять коньяк!

«Мир будет немецким» — это снова вспомнился дядя: у него умение так резко говорить, что невольно запоминаешь. Уж он последние дни старался изо всех сил. «В Европе американцы не могут ничего сделать без нас. А в Азии без нас они тоже никуда не сунутся. Народы Азии любят немцев, потому что втайне боятся нас. Запомни это, Отто...»

Он прислушивается к тихому говору немецких врачей. Они, оказывается, летят в Гонконг. Зачем? Черт их знает! Они тоже старательно жрут все, что им подает стюардесса, и пьют виски. Читают медицинские журналы. Говорят, наверно, об эпидемиях.

Он откидывается на спинку кресла. Самолет, пронзая густую синь наступившего вечера, как по невидимому катку, скатывается в разбегающиеся разноцветные дорожки Женевского аэродрома. Некоторые пассажиры выходят в



Женева. Стоянка небольшая. Отто не пошел дальше площадки с самолетом. Он прохаживался и дышал весенним, еще холодным, даже морозным воздухом. Над аэродромом проносились порывы ветра с просвечивающих в тумане гор.

Когда самолет начал взлет, иные пассажиры дремали. Было не так поздно, но многие устали за день, кое-кто начал полет еще с утра от Стокгольма, от Осло. И одна за другой гасли лампы в первом классе, и зажигались маленькие лампочки, чтобы пассажиры могли читать книги и газеты, не беспокоя дремлющих соседей. Какой-то даже уют наполнил длинную кабину, в которой так много разных людей устраивалось поудобнее, чтобы скоротать время. Тут не вагон, где можно выйти в коридор и смотреть на пробегающие мимо вечерние пейзажи, видеть огоньки мирных домиков и фары машин, бегущих по дорогам на холмах. Тут не корабль, где можно ходить взад и вперед по палубе и смотреть на вздыбленную пустыню океана, на широкое небо с мерцающими в вышине звездами, названий которых никто не знает, и от этого они становятся еще таинственней. И лучше, конечно, не думать о том, что этот длинный корабль висит в безмерном пространстве и под ним где-то замерла темная земля. А если бы кто-нибудь из пассажиров взглянул в окно-иллюминатор, то увидел бы с удивлением, как внизу несколько раз повернулась Женева квадратами разноцветных, с жемчужными отливами огней. Это самолет делал круги, набирая высоту, и снова и снова падал, как бы проваливаясь в бездну, чтобы опять дать новый скачок вверх, пока наконец не одолел разорванные зубцы и снежные барьеры Альп и не начал погружаться в бархатную тьму Ломбардской равнины.

И стало тихо в самолете, потому что почти все пассажиры, выпив и закусив, отведая из бутылки воздушного погребя, начали дремать.

Отто оглядывался на самый дальний отсек, где не затихал веселый разговор и слышался даже звон стаканов.

Там помещались севшие в Женеве два американца и американка. Они, по-видимому, вовсе не хотели спать, и вдоволь не наговорились на земле, и не выпили еще всего того, что хотелось им выпить. Их разговор, отдельные возгласы проносились по всему первому классу, и девушка в синей форменной одежде бросала туда, в хвост самолета, грустные взгляды, но подойти к ним не могла, потому что это были заокеанские пассажиры, которые, кто их знает, привыкли у себя дома к иным порядкам, чем в Европе, и делать им замечания неудобно.

До Отто тоже доносились эти слишком громкие возгласы и звон, но он решил не начинать свой путь со скандала в воздухе. Наоборот, когда ему стало ясно, кто это нарушает тишину

самолета, он даже усмехнулся: когда-нибудь и мы будем так галдеть, и никто не посмеет сделать замечание. Были-де такие времена. Спросите у дяди — он порасскажет кое-что о кабачках Рима или отелях Сицилии... Где этот Рим сейчас, далеко ли?... А впрочем, черт с ним!

Если бы он посмотрел сейчас в окно, то увидел бы, как самолет, держа путь к аэродрому, который южнее города, прошел огни Рима, и они еще долго светились за крылоз.

В римском аэропорту было холодно, пустынно и сыро. Вместе с толпой пассажиров Отто Мюллер вошел в пустой, ночной аэровокзал. При виде внезапно появившихся путешественников ожили неподвижные, как манекены, пожилые итальянки, дремавшие за прилавком. Быстрыми жестами сжимали они с полок нехитрые игрушки, заводили их, и перед усталыми, сонными иностранцами начинали танцевать маленькие дамы и кавалеры на крошечной гондоле, порхая под серебристый звон мелодии, звучащей рядом в доминке типа шале, откуда раскланивались горцы в шляпах с пестринным пером. Отовсюду слышались тонкие звуки и легкий скрип кружащихся в танце кукол. Тут же на прилавке появились бумажники из коричневой кожи с видами Рима и Неаполя, кольца с геммами, длинные ожерелья из красновато-мутного коралла, много всякой блестящей, радужной мишуры, которую лениво рассматривали прилетевшие, примерялись к ценам, торговались, смеялись, шутили с продавщицами. В руках мелькали часы, чашки с античными сюжетами, пейзажами Священного города, сумочки, брелоки, альбомы открыток. Пассажиры охотно рассматривали все это дешевое и дорогое, что предлагалось их вниманию, говорили между собой, подолгой стояли у прилавка и ничего не покупали.

Отто Мюллер невольно следил за своими земляками, врачами, летящими в Гонконг. Он видел, как к одному из них, высокому широкоплечему, подошла бледная немка, они сразу заговорили, она взяла его под руку и увела на крайнюю скамейку. Там они сели рядом, она прижалась к нему, и они начали шептаться так быстро, что было странно видеть их в этом полночном, веющем скукой, тоской и сыростью аэровокзале. Их можно было рисовать, как символ неизбежных прощаний. Отто Мюллер, проходя взад и вперед между колонн большого вокзального зала, невольно следил за ними. Немка быстро вынула из сумочки какую-то цепочку. На ней висело что-то вроде медальона. Она передала эту вещь высокому доктору, и у него на лице появилось выражение растерянности, удивления и грусти. Но он взял медальон, и они опять начали шептаться.

Когда веселый, как бес, и неизвестно чему радующийся итальянец в ловко подогнанной

форме объявил, что можно идти к самолету, у выхода на поле появилась такая красивая, свежая, молодая итальянка, отбивавшая транзитные карточки, что все оживились и старались как можно медленнее пройти этот контроль, сразу разогнавший ночную скуку и полусонную суету вокзала. Высокий врач почти нес на плече свою немку. Она уже плакала, не стесняясь, и утирала слезы большим платком.

Отто Мюллер, стоя над прилавком, испытал странное чувство. Ему хотелось сломать заводную игрушку-куклу, изображавшую тонкую балерину с веером, танцевавшую на черепаховой гондole, украшенной перламутровыми разводами. Почему она не понравилась ему, эта балерина, он бы не мог сказать, но он возненавидел и ее веер и музыку, сопровождавшую металлические повороты балерины. Он уже хотел протянуть руку, чтобы взять игрушку, но тут раздался голос развеселого итальянца, приглашавшего в самолет, продавщица привычным движением сняла куклу с прилавка, и она дотанцевала свой танец на полке между бронзовой Дианой с колчаном за плечом и калабрийским пастухом с волейкой.

Но едва шумная процессия, растянувшаяся от лестницы с бравыми, скукающими не то полицейскими, не то таможенниками до автоцистерны, остановившейся перед черным в сумраке крылом самолета, хотела приблизиться к высокому трапу, как кто-то невидимый задержал ее и остановил на полпути.

Выяснилось, что по какой-то причине самолет может подняться только через пятнадцать минут, и всех попросили обратно в аэровокзал. Та же стройная нимало не смущавшаяся под пристальными взглядами красавица контролера снова всем раздавала контрольные карточки. Опять предстали перед глазами пассажиров прилавки с игрушками и вещами, но на этот раз продавщицы не обратили внимания на вошедших, и только продавщица открыто прервала беседу с полицейским и вся обратилась в слух, потому что к ней снова обращался немолодой чилиец, говоривший на смеси испанского и итальянского, уже успевший приобрести у нее двадцать открыток с видами Италии. И теперь она, пользуясь своим быстролетным успехом, спешно подбирала ему третий десяток открыток, отрывисто отвечая на его не совсем понятные любезности.

Прямо на Отто набежала та бледная немка, что встречала доктора. Она обозначалась, отшатнулась от Отто, но он видел, весь переход чувств на ее бледном лице — переход отчаяния и слез к буйной радости. Она снова тащила врача в самый дальний угол и, сияющая, шептала что-то такое, что должен был слышать только он один, как будто бы за эти десять минут произошло нечто необычайно важное для

них обоих. Он слушал ее серьезно, не останавливая потока ее беспорядочных, быстрых слов.

Отто Мюллер испытывал в эти минуты, шагая по аэровокзалу, только чувство презрения. Он презирал итальянцев, которые не умеют вовремя отправить самолет, продают какую-то старую дрянь, да еще ночью, когда обмануть сонных людей ничего не стоит, всучив этот танцующий и прочий хлам, презирал врача, который на глазах у иностранцев устраивает непристойный, расслабляющий сентиментальных дураков спектакль, изображая любовную драму, презирал женщину, притащившуюся к самолету с ребенком, презирал толстых, типичных колонизаторов, которые намеревались лететь с ним на одном самолете, презирал этот сырой, ночной воздух... Вон еще один толстяк, но это японец, богач, наверное; вот еще японская пара — молодые супруги с мальчиком и девочкой.

Самолет взлетел с опозданием на полчаса. Отто Мюллер выпил еще два стаканчика коньяку, чашку кофе и стал смотреть через круглое окно на мигающий где-то в пустыне неба огонек. Но это был фонарик на конце крыла, и, глядя, на его то потухающий в тумане, то снова зажигающийся огонек, Отто, как бы загипнотизированный им, вдруг крепко и почти сразу уснул.

Самолет же продолжал держать свой путь через море, которое в невидимом провале ощущалось только искрами маяков, вспыхивающих в какой-то несусветной дальности, да тяжелым белым перегибом пены, сразу же исчезающим за тонкими облачками, которые прорезал воздушный корабль.

В самолете все спали и тогда, когда потянуло с берега ветром утренней пустыни и начали проплывать внизу желтые, бледные куски пустынных песков и зеленые полосы посевов и полей. Метелки пальм над каналами уже говорили, что самолет над Египтом.

Стало совсем светло. Каирский аэродром встретил неожиданной прохладой, и снова толпа пассажиров потянулась в аэровокзал, где их уже ждал очередной завтрак. Отто Мюллер стоял на африканской земле, на которой когда-то дядя, судя по его рассказам, испытал столько удивительных боевых приключений. Он вошел Отто даже смотреть фильм «Лис пустыни», где так расхвален его старый начальник Роммель, человек таинственной судьбы, знавший, как надо воевать в пустыне.

Отто оглянулся в ту сторону, где остался его родной город Дюсельдорф. Он уже казался очень далеким, а путь еще только начинался. Отто смотрел несколько недоумевающе на борт самолета, на котором был изображен громадный, нахально жизнерадостный кенгуру.

— Это самолет из Австралии, — увидя его удивление, сказал один из врачей, летящих на Дальний Восток.

В ресторане сидели и пассажиры этого австралийского самолета. Это были высокие, как эвкалипты, и не похожие ни на кого австралийцы. Их женщины, одетые без всяких претензий в простые блузки, держали на коленях маленьких детей, и те, укутанные долгим перелетом, спали вниз головами. Их родители не обращали на это никакого внимания.

Между столами ходили длинные, как столбы, официанты, похожие, как подумал Отто Мюллер, на безбрадных евнухов, в нечистых хламидах, подпоясанные широкими красными поясами. Они разносили кофе, воду, яичницу и поджаренные кусочки хлеба.

Отто наскоро поел, выпил свою чашку кофе и вышел на лестницу, ведущую к аэродрому по полю. Тут же стояла с газетой девушка в синем, тонкая, строгая, подтянутая дочь Скандинавии, такая радостная, с розовыми фарфоровыми щеками, с чистыми, ясными глазами и чуть тонко тронутыми помадой губами. Теперь она еще больше напоминала Хильдегарду. Она сразу посмотрела на Отто так, словно ожидала, что он обязательно ее о чем-то спросит. И он спросил строго, точно он был командир, а она его подчиненная, телефонистка или секретарша:

— Сколько мы будем еще лететь?

— Вы летите до Карачи? — спросила она.

— Нет, до Рангуна!

— Хорошо ли вы отдохнули? — чудесно улыбувшись, спросила она. — Потому что нам предстоит длинный путь. Десять часов перелета без посадки до Карачи и потом беспосадочный полет через всю Индию. Наш самолет в Индии не садится нигде...

Девушка ему определенно начинала нравиться, и он позвал ее, когда почти сразу после взлета начались каменные груды пустыни.

— До сих пор не понимаю, как Моисей водил здесь своих евреев.

— Да, — сказала она, боясь сказать что-нибудь не так. — Это ужасно. Даже сверху смотреть страшно. Ад, посыпанный перцем...

— И все-таки он их вывел в люди, — сказал Отто и засмеялся своим, как он говорил, спортивным смехом.

Девушка сделала вид, что ее зовут в конец самолета, где сидели американцы, вдоволь накричавшиеся с вечера. Теперь они дремали, закрыв колени одеялами.

Отто смотрел на дикие пространства Синайского полуострова. Как обглоданные скелеты, торчали изъеденные временем скалы, пространство было все исчерчено руслами мертвых рек и речек. Еще раньше прошла оранжево-синяя вода Красного моря, потом маслянисто-зеленая, с желтыми разводами вода Акабского залива, и пошли бесконечные пески с мертвыми отли-

вами самых безотрадных красок. Позади осталась Египет. Там живут некоторые боевые друзья дяди. Они стали даже мусульманами. Один зовется теперь, кажется, Сулейманом Али, другой — Омаром Мухамедом. Говорят, Бирма — страна буддистов. Какая разница — Будда, Магомет! Ведь это сказки, как говорит дядя. Германские боги — это вещь. Старый Вотан способен на акции в новые времена, а эти существуют для туристов и простого люда. Тем и другим надо немного. Но с этим, говорит дядя, на Востоке не надо шутить. Значит, и немцы — магометане всерьез. Наполеон, говорят, тоже в Египте принял веру Магомета и отстрелил нос сфинксу, чтобы оставить память в истории.

Оторвавшись от лицемерия пустынных скал и безнадежно однообразных песков, Отто увидел, что девочка-японка встала на своем кресле и, повернувшись лицом к сидящим за нею, стала смотреть на пассажиров, как бы выбирая себе жертву. Она была хороша. Ее детскую прелесть подчеркивал красочный национальный костюм. Если бы рядом с ней встала ее мать, маленькая миниатюрная японская дама, то все бы увидели, что они повторяют друг друга во всех чертах. Девочка — совершенно куколка с маникюренными ноготками, с накрашенными губами, с сережками в ушах — походила на маму, как миниатюрная копия. Она выбрала того немецкого доктора, который простился в Риме с бледной своей дамой.

Японская девочка еще на аэродроме нечаянно ушибла ногу, и доктор поспешил к ней на помощь. Теперь, отоспавшись и наведя полный блеск на свое сияющее лицо, пышущее естественным и искусственным румянцем, она начала игру с того, что, спрятавшись за подушку, внезапно появилась из-за нее, сжимая в маленькой ручке похожую на тощего дракона резиновую красную собачонку. Собачонка была удивительно неприятна, вся в черных пятнах, пицала отвратительно и раздражающе. Намававшись этим мрачным созданием, девочка бросала его в немца-врача и снова пряталась. Потом она ловила с обворожительной улыбкой игрушку обратно, а спустя несколько минут собачонка снова летела в читавшего журнал немца. Эту игру наблюдали многие пассажиры и снисходительно улыбкались японскому ангелочку.

Сначала примитивная забава маленькой японки невольно развлекала и веселила. Но девочка как-то неожиданно просто зверела в пылу игры.

Она стала похожа на чертенка с нарисованными бровями, когда запустила собачонку с такой силой, что ее партнер получил крепкий удар по носу. Радость девочки была неподдельной. Всклипывая от восторга, она спряталась за подушкой и спустя некоторое время снова запустила свою собачку, стараясь ударить побольнее.

Она не устала лупить немцев-врачей одного за другим. Порой она лукаво спрашивала по-английски, и все ее круглое румяное личико излучало восторг: «Как вам нравятся мои шуточки?»

Отец занимался сыном, мать не обращала внимания на дочку. Немцы начали принимать свои меры. Они погрузились в чтение и на каждую новую атаку отвечали молчанием, просто перебрасывали собачонку япончке. Тогда она, сделав умилные глазки, встав во весь свой семилетний рост, даже приподнявшись на цыпочки, сказала врачу, которого первого стукнула по носу:

— Мне очень нравятся Соединенные Штаты Америки! А вам нравятся Соединенные Штаты?

Врач от неожиданности поднял на нее глаза, удивленно посмотрел и, подмигнув своим коллегам, пробормотал что-то неясное сквозь зубы. Тогда маленький черенок в юбке снова воскликнул:

— А как вы относитесь к Советскому Союзу? Он вам нравится?

Ответа не последовало и на этот раз. Немец уткнулся в книжку и сделал вид, что не слышал вопроса. Тогда она, видя, что не получит ни от кого ответа, сказала громко:

— Вы все дураки! — и, засмеявшись себистрым смехом, спряталась за подушку.

Все теперь сделали вид, что заняты делами и ничего не слышали.

А между тем самолет плыл в бледно-голубом небе, и под ним проплывали одна пустыня за другой, одна другой нелепей и страшней. Даже с такой большой высоты, на которой шел самолет, было видно, что там, внизу, все задохлось от жары все умерло, перегорело, все мертво. И так неожиданно было появление зеленого латна-оазиса или селения, прилепившегося на дне каменистого, черного ущелья.

Прошли плоские, как блины, острова Бахрейнского архипелага. Туда ссылают шахское правительство политических осужденных. Там можно согреть на солнце заживо. Кое-где торчали нефтяные вышки. Море было так же пустынно, как и эта обгорелая земля.

Ото смотрел вниз, и ему казалось, что он летит уже целые века, и если бы самолет опустился сейчас на берег какого-нибудь Оманского или Маскатского султаната, то пассажиры нашли бы там те же порядки, что были и при Васко да Гама, то же средневековье, с верблюдами и рабами, гаремами и визирями, только рядом с этим были бы автомобили и телефоны, радио и танки для усмирения непокорных.

День шел к концу. В самолете ели, как в ресторане, не задумываясь над тем, что чашка бульону, кусок курицы, вино и фрукты поглощаются над Индийским океаном, который казался европейцам чудом, таинственным сказочным путем, каких-нибудь четыреста лет тому назад.

Самолет шел над узкой прибрежной полосой. По сизой дымке, стелющейся по земле, можно было предположить, какая жара ждет путников в Пакистане. И действительно, только открылась дверь самолета в Карачи, как волна душного, пропитанного смесью толченого перца, смолы и бензина, влажного, тяжелого воздуха обрушилась, как девятый вал, на прибывших.

Вот теперь Отто почувствовал, как далеко он улетел от берегов Рейна, как чудно над ним сверкают созвездия, как непонятно, чем дышат тут люди, в этой раскаленной полутьме, освещаемой огнями нового аэровокзала, по коридорам которого сейчас ведут пассажиров. Они идут, точно участвуют в какой-то особой процессии, обходя зачем-то все здание. Потом их приводят к чиновникам, начинаются разные просмотры и оформление документов.

Наконец короткая остановка окончена, пассажиры снова призывают себя посями к креслам, следят за горящей табличкой, запрещающей курить и отягиваются. Самолет, подпрыгивая, бежит по аэродромной дорожке, по коридору зеленых, красных, желтых и белых огней, отрывается мягко от темной земли и входит в ярко освещенное луной небо. Без посадки через всю Индию и Бенгальский залив.

Нет, пассажиры мало думают о ночных эффектах. Погруженные в свои мысли, в свои земные дела и воспоминания, они снова готовятся заснуть за облаками. И один за другим гасят свои маленькие лампочки, и не последним гасит свою спортивный молодой немец Отто Мюллер, предпочитающий сон всяким мечтаньям и размышлениям.

Постепенно все население воздушного ковчега погружается в темноту, только голубые слабые фонарики горят у мест, где дремлют стюардессы. Под самолетом внизу, как далекие светляки, блестят огни индийских городков и селений.

Через несколько часов самолет уже летит над спящей пустыней Кача, над горами Виндйскими и Саутпорскими, через Нагпур, и если взглянуть в эту летящую бездну, нельзя оторваться от ее непрерывно сменяющегося чародейства. Самолет то плыл в бархатной черноте, которую разрезал, как корабль волны, почти ощутимо, то несся, как на парусах, по голубому, зыбкому, светящемуся пространству, то шел точно под водой, озаряемый сильным зеленым светом, в котором меркли все другие оттенки, то впереди стояла на синем, струившемся, как водопад, блеске луна — медовая, ароматная, душная, властительная, как бы притягивавшая к себе летящий безмолвный воздушный корабль.

Звезды танцевали какой-то сумасшедший танец, то скрываясь парами в этой голубой зыбкости, то роясь, как золотые пчелы, то

рассыпаясь на куски, и острые срезы этих кусков светили уже откуда-то из глубины. А на земле тоже творились чудеса. Вдруг ясно видно сверкала белая полоса реки, черные леса закрывали все пространство земли, и потом долго шла темнота, прерывавшаяся какими-то вспыхиваниями, какими-то огнями, которые то взрывались, как фейерверк, ракетами, то принимали самые разные формы и даже формы огненных подков, и тогда казалось, что мчится не самолет, а конь, который время от времени прикасается к земле и, ударив ее, снова возносится в пространство, и следы красных подков этого скакуна остаются в виде огненных отпечатков в темноте лесов.

То начинали блеснуть непонятные огни: мигающие, пропадающие, снова ведущие переключку. То ли сигналы аэромаяков, то ли это какие-то великие реки отсвечивали изгибами своих волн. Эта игра длилась часами. Потом земля стала сливаться с чем-то расплывчатым, зеленым, живым, обрамленным белыми, серебряными, огненно-белыми, вспыхивающими изогнутыми линиями. Это кончалась индийская земля. Внизу начинался Бенгальский залив.

Теперь как будто одно небо сменили на другое. Звезды были внизу, и они же стояли над самолетом. Луна была высоко, и она же плавала в зеленом просторе залива, как будто ныряя в его глубины и снова поднимаясь в свое небесное царство.

Под крыльями самолета начали стелиться какие-то пестрые ковры, переливающиеся всеми цветами, потом что-то другое, совсем иной окраски, властно вошло в эти переливы, пополнив высокие тени и тоже стали тонуть в тумане, и только белые полосы рек, вдруг вырываясь, стали жить самостоятельно.

Наконец появилось в сумраке и постепенно образовалось в утреннем тумане то, что называется Рангуном.

Когда самолет пробежал по взлетному полю большого аэродрома Мингаладон и встал, как бы отдуваясь от долгого перелета, когда перестали вращаться его винты, всего несколько человек заявили, что они выходят в Рангуне.

Поэтому, когда, втянув збнущие от утреннего холода плечи, пассажиры пошли к аэровокзалу, они разделились на две неравные группы. В одной, большой, транзитной, которую вводили в сторону, остались те, кому еще нужно было преодолевать нелегкий путь в Сингапур, Манилу, Гонконг, Токио. Прямо же шли всего четыре человека, и среди них высокий, невysпавшийся и хмурый Отто Мюллер. С ним шли два человека неизвестной страны, молчаливые, сосредоточенные люди, и тот чилец, который флиртовал ночью в Риме с продающей открыток.

Навстречу четверке в прохладном голубом

воздухе вдруг заиграли флейты и забила барабаны, взвизгнули какие-то невиданные инструменты. Но это встречали не их, а кого-то, кто должен прибыть вот-вот. Отто же Мюллера встретил очень спокойный, в строгом легком костюме из дорогой китайской материи молодой человек, в очках, загорелый и очень словоохотливый. Он тут же объяснил, что он из представительства ФРГ, и по просьбе уважаемого господина фон Шренке, друга дяди Отто Мюллера, готов все сделать для того, чтобы доставить прибывшего туда, где находится со своим заместителем сам фон Шренке, а сейчас, благо у него свободный день, он познакомит Отто с городом и вообще введет его в интересы местной жизни.

С этого момента для Отто Мюллера начался бесконечный, утомительный, жаркий, до умопомрачения жаркий день, полный такой калейдоскопичности, что от нее подчас темнело в глазах. Вот когда большой белый колоннальный тропический шлем можно было надеть на голову, а не таскать подмышкой. Покрытый сеткой холодного дождя Дюссельдорф исчез за каким-то сиреневым-влажным горизонтом, а здесь был тот Восток, на который он взирал с таким же чувством самодовольства, какое испытывал моряк-испанец, глядевший с палубы своего корабля на раскинувшийся перед ним Калкут, первый увиденный им город сказочной Индии.

Но дальше стало хуже, потому что после долгого и утомительного сидения в тяжелом кресле роскошного самолета было страшно трудно, сняв башмаки, идти в какую-то непонятную высь по бесконечной каменной лестнице огромного храма, который, как сказал всезнающий проводник, надо обязательно посетить.

И Отто Мюллер шел покорно по широкой, высокой лестнице с выщербленными ступенями, скрытой в огромном коридоре. С непривычки ступать босиком он чувствовал всю неровность этой то скользкой, то колючей лестницы, по которой сейчас скользили несчетные тысячи ног. По сторонам лестницы торговали всем, чем угодно. Тут бросались в глаза модели Шведагона и других пагод всякой величины, тут стояли будды самых разных молитвенных поз, тут торговали платками, зонтиками, благовониями, и жар этих сладко опьяняющих свечей плавал в воздухе, ошеломляя нового человека. Здесь же кричали продавцы фруктов, мыла, вод — розовых и зеленых, и фиолетово-странных съедобных продуктов, торговали материями, куклами, скатертями, платками с узорами. Чем только не торговали на этой удивительной лестнице, по которой Отто брезгливо шел, толкаемый самого разного рода паломниками, иногда полуголыми! От них пахло разгоряченным и острым потом.

А неумолимый проводник все вел его, рассказывая о том, что представляет: то вот этот

большой барельеф, то картинка, которую продавал почти черно-фиолетовый человек в женской юбке и с длинными фиолетовыми ногтями.

Казалось, в этом хаосе красок, криков, молитвенных провозглашений, зазываний, вздохов старух, смеха молодых никто не властен навести порядок. Но это было не так. Как в обширном море жизни, говорит древняя мудрость, есть маяк, к которому стремятся корабли, так и здесь над всем этим гомоном и пестротой царил один бесстрастный, без конца повторенный лик. Он смотрел со стены, с древних фресок, он высился над толпой, взирая на нее с такой высоты, которая навсегда отделяла эту суету мира от его удивительного, непонятого, стоящего над всем спокойствия. Это был образ будды, всюду сопровождавший здесь пришедшего. Казалось, нарочно создана эта лестница жизни, по которой поднимаются все выше, выше лапок и криков, выше человеческой сумятицы, туда, на верхние площадки, где небо, и простор, и снова будда, перед которым можно только преклониться и пробормотать ему свою просьбу, положив к его ногам цветы, купленные там, на замызанной бесчисленным множеством ног лестнице.

Наконец они поднялись туда, где вонзается в небо острые пики пагод. Отсюда открывался вид на весь Рангун. Большая красивая площадка была вся занята бесчисленными пагодами, колокольчики которых звенели на разные голоса, точно приветствовали пришедших. Эти маленькие пагоды окружали самую главную, чей золотой гигантский шпиль вздымался над городом. Тут было поистине царство буддизма. Будд было так много, что глаза разбегались по сторонам. Будды стояли вокруг, возвышались над маленькими, ничтожными людьми, они сидели, погруженные в созерцание, в философский полусон. Живые философы, с худыми темно-коричневыми скулами проповедовали тут тихими заунывными голосами. Перед ними сидели ученики, опустив головы, точно внимательно рассматривали, из какого камня сделана площадка. Вокруг бродили пилигримы со свертками в руках или перекинув мешки через плечо. Собаки с боками, из которых торчали ребра, тыкались то туда, то сюда. Кто-нибудь, возмущенный их пребыванием в таком священном месте, давал им хороший пинок, и они с визгом устремлялись прочь.

Множество детей и старушек со свечками в руках сидели перед китайскими буддами, подарком соседней дружеской страны. Отто Мюллер, голова которого тихо кружилась от всего этого многообразия красок, запахов, звуков, видел, как полулежат перед буддами на циновках женщины с цветами в руках и шепчут идолам что-то очень затаенное, самое сокровенное, чего никто не должен слышать. У них были такие отсутствующие лица, что можно

было смотреть на них в упор и они бы не заметили этого. Всюду бродили монахи в желтых и огнисто-оранжевых одеяниях с синими алюминиевыми горшками в руках. Монахи едят один раз в день — до полудня, дальше наступает время размышлений и молитв.

Потом, после самого знаменитого храма, пошли храмы поменьше, но будды всюду были те же, только отличались размерами и позами. Одни из них полулежали, громадные, как полагается небожителям, лица их были так отполированы, что луч солнца превращал их в сплошное сияние, и распростершийся перед ними богомолец не мог взглянуть в лицо будды, потому что встречал распылчатый ослепляющий блеск вместо взгляда статуи. Женщины лежали перед буддами, курия сигары неимоверной толщины. Черный и синий дым обволакивал лики богов, но боги вдыхали его равнодушно. Над плечами идолов стояли горшки с цветами, и над ними порхали пчелки пестрых веселых раскрасок. И, наконец, уже над домами, над всей улицей возник такой высоты будда, что даже стало неприятно, точно видишь привидение, — Отто понял, что надо переключиться на что-то иное. Этот будда, вылеженный из старого бурого кирпича, полулежал, положив руку на вход в монастырь, расположенный под тем искусственным холмом, который изображал тело лежащего.

Люди на улице казались ничтожествами, муравьями, тащившими какие-то жалкие былинки в жалкие свои обиталища. У будды были широкие властные губы, широкие брови. На его лице не было ни одной морщинки. Глаза, четко нарисованные, смотрели со снисходительной грустью куда-то вдаль.

Отто Мюллер взмолился молодому человеку из представительства, и они, усевшись в коляски педикапов, нырнули в другой поток жизни. Они бродили по набережной, где грузинские пароходы, уходящие вверх по реке, и грузчики, как в глубокой древности, взваливали на плечи тяжеленные кули и шли по доскам, которые шатались под их тяжестью. Тут все говорило Отто Мюллеру о том, что мир слуг и господ еще существует, и его германскому духу было приятно видеть эти странные наряды мужчин, похожие на женские, и этих торговцев всякой, как он сказал бы, колониальной всячиной, потому-то здесь и нужны такие специалисты, как он и ему подобные. Здесь можно делать дела.

Он увидел длинный белый обелиск и спросил, что это такое. Он удивился, когда спутник сказал: «Это памятник Независимости».

— Независимости? — спросил Отто. — Что это значит?

— Это значит, — отвечал обязательный молодой человек, — что здесь считают, что Бирма вступает на путь нового развития. У них есть

даже план, рассчитанный на превращение страны в Пидоту, что значит страну благоденствия... Вы это почувствуете, когда начнете работу на месте...

— Чего же они хотят? — спросил Отто.

— Они хотят многого, но у них есть затруднения, и политические и экономические.

— Мы им поможем! — сказал Отто и засмеялся своим горластым спортивным смехом.

Он много где побывал: и на озере Инья, струившем свои воды среди зеленых роц, и на берегу реки, где живет простонародье, где хижины жались друг к другу, нищета смотрела из всех бамбуковых щелей, харчевни располагались прямо на улице, и люди сидели на земле перед котлами, где готовились обычные блюда бедноты: рис с острым соусом, который делается из креветок, рыбы, овощей и перца. Отто почувствовал аппетит, и они поехали в отель.

Они сидели в прохладных залах Странд-отеля, и безмолвные слуги подавали им джин, в который они капали по каплям сосновый экстракт в порядке профилактики, они ели почти сырое мясо, густо посыпая его солью, какую-то неизвестную Отто сладкую рыбу, фрукты и пили ледяной ананасный сок.

Потом они отправились по магазинам, и тут опять все застопорилось и зашумело перед глазами Отто. В магазинах на Фрезер-стрит, или Дальгузи-стрит, или в крытых рядах Скотт Маркет можно было приобрести все, что нужно европейцу, чтобы одеться, приобрести необходимые вещи для дома и даже купить сувениры или подарки для друзей и знакомых.

Чтобы отдохнуть от лавочной толчеи, они даже заглянули в зоологический сад, но пробыли там недолго. Отто не интересовали звери. Они просто пробежали для того, чтобы размять ноги после машины, по аллеям, постоянно перед клеткой, где дети дразнили жирафа и он напрасно тянул вбок свою маленькую голову за бананом, которым они махали перед ним. Маленькие речные выдры вставали на задние ноги, как бы высматривали добычу, прикладывали лапки к глазам, протягивали их к зрителям, присвистывали, просили бросить им мелкой рыбешки, которой торгует сторож. Когда им бросали рыбешек, они очаровательно играли ими и ныряли.

У клетки со львом Отто остановился. Лев лежал, плоский, как доска, раздавленный неистовой жарой. Он спал крепчайшим сном. Его хвост с шишкой на конце, покрытой редкими жесткими черными волосами, был распластан, как мертвый.

Перед клеткой толпились зеваки и громко смеялись над спящим львом. Он был худой и старый. Проворные ласточки хлопотали вокруг его хвоста. Они по очереди примерялись к волосам на хвосте, потом пробовали вытаскивать

их; если волос не поддавался, они принимались за другой. Вытащив волос, птицы взмывали куда-то за деревья, где у них строилось гнездо. Это было, по-видимому, их постоянное занятие, потому что хвост у льва значительно поредел. Отто сказал, смеясь:

— Это совсем как британский лев: спит усталым сном, а его колонии делают другие...

Стоявшие вокруг засмеялись — острота дошла до них. Из зоологического сада они поехали в отель, куда молодой человек завез Отто Мюллера, взяв с него слово, что он, отдохнув, вечером будет у него в гостях, а рано утром на самолете будет доставлен туда, где изволит работать советником-специалистом его шеф господин фон Шренке со своим помощником. Это на другом конце страны, но перелет займет всего несколько часов. Приятного отдыха!

Отто разделся, выключил электрический охладитель и заснул сном много поработавшего человека. Проснулся он, когда уже на улице зажигались огни, принял душ и начал переодеваться к вечеру, чтобы быть во всем европейцем даже в этой беспорядочно удивительной стране, где слишком жарко, слишком много разных богов и где мужчины носят юбки. Но, вспомнив, что в Шотландии тоже приняты короткие юбки у горцев и даже их волынки напоминают музыку, слышанную утром на аэродроме, он пришел в хорошее настроение и начал насвистывать что-то из последнего дьюсальдорфского реву. Тут пришел утренний знакомец, и они отправились к нему домой, на другой конец города.

В гостях у молодого человека сидели, кроме Отто Мюллера, еще двое: похожий скорее на грека, чем на баварца, ученый-этнограф Вильгельм Вингер, изучавший неизвестную Отто народность — племя нагов, обитавшее в долине Чиндвин и в индийском Ассаме, и пышная блондинка Клара, дочь заезжего немецкого пастора-миссионера, изучавшая бирманскую музыку и бирманский язык. Все собравшиеся сидели на террасе и пили виски с содовой водой, как это принято в тропических краях, — от виски не потеют; пили чешское пиво, ели рис с каким-то едким, огненным приправками, с соусом, который представлял хозяин как соус первого сорта — его подают даже в дни приемов в правительственном дворце. Назывался этот соус так сложно, что все напрасно старались выговорить правильно название, и только Клара произнесла его, как настоящая женщина Рангуна: таджантхамин.

Отто спрашивали о делах дома, в Западной Германии, о том, что он будет делать в Бирме, как ему понравился Рангун. Он отвечал с обстоятельностью на все вопросы, только на вопрос, как ему понравился Рангун, сказал:

— Мне кажется, что я спал в слишком

жарко натопленной комнате и мне приснился сон, в котором двоились боги и люди.

Клара засмеялась, и ее крупное, белое, незагоревшее лицо сразу ожило.

— Здесь Азия, — сказала она, — тут не сразу поймешь, что к чему. Особенно сейчас...

— Здесь снова нужен европеец, — сказал Отто с такой же железной интонацией, с какой дядя, старый специалист по пустыне, говорил об Африке.

И он начал развивать ту теорию, которую так настойчиво и непогрешимо развивал в долгие зимние вечера старый отставной генерал инженерной службы специального африканского корпуса господин Ганс фон Дитрих. Тогда дома он говорил вещи, о которых Отто не имел понятия. Теперь ему захотелось просветить своих соотечественников на чужбине.

Когда он кончил, Клара, играя ножом для фруктов, спросила самым невинным тоном:

— Сколько вам было лет в сорок пятом году?

— В сорок пятом году мне исполнилось четырнадцать лет, сейчас мне двадцать четыре, — ответил он. И, помолчав, добавил: — Меня откопали вместе с тетей из под развалин дома, где мы были в убежище. Нас раскапывали шесть часов. Так что могу сказать: я принимал участие в войне... К нам пришли американцы раньше, чем все было кончено с Берлином. «Надо все начинать сначала», — сказал дядя. По-моему, он прав. Надо все начинать сначала...

Ученый-этнограф кашлянул, как бы прося разрешения сказать свое слово.

— Простите меня, — сказал он, — я исследователь диких племен, где все и сегодня примитивно. Когда наги чувствуют, что духи, которым они поклоняются, жаждут приношений, а они любят черепа, человеческие черепа, то наги отправляются за черепами к соседям. Это логично: кто же будет жертвовать собственным черепом? Эти добытые хитростью с боем черепа протыкают стрелами и украшают священные деревья, куда слетаются умиротворенные духи. Я понимаю нагов: если надо идти на жертвы, когда этого требуют высшие силы, то лучше идти не за собственный счет... Вы меня понимаете?

— Вполне...

— Я вот только не очень доволен высшими силами... — продолжал Вильгельм Вингер. — Высшие силы у нагов — сосредоточение всего темного, что живет в их сознании с древних времен. Правда, высшие силы, двигающие сейчас европейским сознанием, скорее близки к силам хаоса, чем к светлой вере эллинов... Вам не кажется, что мы вызываем к слишком древним и слишком примитивно-диким духам, перед которыми битва в Тевтобургском лесу уже кажется светлым явлением, чем-то вроде защиты культуры...

Молодой человек из представительства был бы плохим хозяином, если бы позволял разгореться спору. Он перевел разговор на другие, более безопасные предметы. Он обратился к Отто Мюллеру:

— Наш дорогой друг ученый вернулся из глубины лесов, из самых глухих мест Бирмы. Но не надо ходить так далеко. Вот фрейлейн Клара знает, что случилось здесь, под Рангунном, с одним всем нам известным английским полковником. Он собрался на серьезную охоту в джунгли, взял машину, нагрузил ее необходимым продовольствием, оружием для охоты на фазанов и голубей и на другую более крупную дичь, взял запас пива и отправился в леса. Но почти у самого города его перехватили «лесные братья», есть такие в этих краях, и украли английского полковника. Они хотели, чтобы он заплатил им сто тысяч джа. Он предложил им доставить его домой в Рангун, и он за эту доставку даст им пятьдесят рупий. Они рассердились, и увели его в джунгли, и стали там его держать.

— Позвольте, — сказал Отто, — надо было послать экспедицию и перестрелять этих канналов...

— Времена, когда по такому случаю английские власти посылали экспедиции, прошли. И самих англичан здесь нет в качестве распорядителей... Местные англичане запросили Лондон. Из Лондона ответили, что за этого полковника не дадут ни одного пенса. Потому что, как пояснили из Лондона, если мы заплатим такую сумму за полковника, вас всех начнут красть непрерывно. Это будет новый вид торговли, черт возьми. И довольно выгодный для «лесных братьев». Полковник изывал в плену. Тогда англичане начали устраивать сбор среди европейцев на выкуп страдальца полковника, пленника джунглей. Как будто собирали около двадцати пяти тысяч рупий. Ядовитые языки говорили, что эти деньги казенные, только чтобы не уронить престиж, их выдали за собранные на месте. Полковник надел «лесным братьям», и они его отпустили за эту сумму. Он рассказывал, что они очень ухаживали за ним, им было невыгодно, чтобы он помер в их лагере: тогда бы «лесные братья» ничего не получили. Они поили полковника его же собственным пивом и кормили его же консервами, выдавая их так скупно, что он был вечно полуголодным... Когда мы сегодня с вами завтракали в Странд-отеле, этот полковник там пил виски. Он охотно рассказывает про свои приключения.

Так они сидели и, перескакивая с предмета на предмет, говорили о судьбе европейцев в Азии, о новых перспективах для экономического проникновения, о росте национального самосознания у азиатов. Ученый рассказывал о бы-



те нагов, об их гостеприимстве, о странности их быта: если в деревне начинается праздник, специальная застава преграждает вход и выход из деревни на все время праздника, ни войти, ни выйти!

Клара исполнила две бирманские песенки, прямо так, без аккомпанеента, — одну грустную, одну веселую.

Потом все пили снова виски и пиво и вдруг почувствовали, что уже поздно, вспомнили, что Отто надо пораньше вставать: его ждет путь в горы, в джунгли. Ученый спросил его, прививал ли он себе что-нибудь против малярии и оспы. Отто сказал, что он привил даже тиф и еще какую-то особую тропическую лихорадку и готов продолжать путь.

Тут позвонил дежурный из представительства и сообщил, что, к сожалению, полет откладывается на послезавтра, так как самолет, которым должен был лететь Отто, нуждается в ремонте.

Отто даже обрадовался. Хозяин беседы сказал, что он днем ознакомит Отто с разными особенностями тех мест, куда он направляется, а вечером...

— А вечером, — вмешался Вингер, — если вы согласны, я вам покажу что-нибудь не совсем обыкновенное, но в духе настоящей, подлинной Азии...

— О! Берегитесь! — засмеялась Клара. — Наш друг Вингер любит поражать воображение. Мы все вкусили уже от его чудес. Но пойдите, пойдите, вы ничего не потеряете. Жалко, что я занята, а то охотно присоединилась бы к вам...

— Раз так, я иду, — сказал Отто, — меня трудно устроить и еще труднее удивить.

— Посмотрим, — сказал Вингер. — Значит, уговорились, я завтра вечером похищаю вас. Вы в Странд-отеле?

— Да.

— Я вас разыщу!

Когда они прощались, ученый сказал, что единственное, с чем он согласен в высказанном сегодня Отто, это с тем, что в Азии исчез страх перед белым человеком.

— И боюсь, что этот страх возродить вообще невозможно никакими новыми мерами, молодой человек. Приглядитесь хорошенько! Рад нашему знакомству. До завтра!

В эту ночь Отто ничего не снилось. Он падal без конца на дно какой-то мягкой пропасти и стучался по невидимым стенам, пока не погрузился в полное оцепенение сна...

На другой день после обеда Вильгельм Вингер заехал за Отто, и машина закружила по тенистым улицам Рангуна.

— Куда мы едем? — спросил Отто.

— Мы едем к одному любопытному человеку. Его зовут У Джи, что значит «большой».

Он не такого уж большого роста. Зато большой знаток трав и цветов. Его называют в народе «Прорицатель трав». Ставят перед его именем слово «сейя» — врач. Сейя У Джи. Этот человек не уступает любому европейскому специалисту. Он обладает совершенно уникальными знаниями...

— А зачем мы к нему едем?

Этот вопрос Отто задал неспроста. Вингер высокий, чуть сутулый, с ироническим ртом и хитрым прищуренным взглядом, ему чем-то не нравился. Не нравилось ему и то, как он говорит о своих дикарях, о европейцах. Что-то в нем настораживало Отто. От него веяло если не прямой враждебностью, то неприязнью. И сейчас на вопрос Отто он ответил неопределенно.

— Мы же вчера с вами уговорились...

Тогда Отто, чтобы уязвить своего спутника, сказал:

— Здорово вы вчера рассказывали про ваших людоедов! Они до сих пор еще едят миссионеров?

Вингер не принял шутки. Он отвечал серьезно и почти поучительно:

— Наги никогда не были людоедами. Я шел в их селения с группой добровольцев и местных жителей, которые были представителями учебного центра «Просвещение масс». Эти специалисты по всем областям знания шли, чтобы научить нагов, как строить по-новому дома вместо хижин, как ткать, делать глиняную посуду, приготавливать культурно пищу; со мной шли учителя, и медицинские сестры, и даже зоотехник. Это была только одна из многочисленных групп, работавших среди холмов Верхнего Чиндвина. При мне пришедшими был построен показательный деревянный дом, разработан первый огород, преподаны первые уроки грамоты, оказана первая медицинская помощь. Если бы вы видели, с какой жадной новостью откликнулись на это молодежь. И даже почтенные старейшины не только не препятствовали работе групп «Просвещение масс», но сами поощряли совместное освоение новых участков под рисовые поля. Наги талантливы и восприимчивы. Пройдет немного времени, и вы не узнаете их деревень. Тут я видел своими глазами, как становится недействительной старая формула, которую так любят повторять иные нелюбопытные европейцы: «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Меня, европейца, они принимали, как доброго гостя. И так они примут всякого, без различия цвета кожи, если он будет дружелюбен по отношению к ним. Я напишу о них книгу, потому что они мне нравятся. Но вот мы и приехали.

У Джи говорил по-английски. Он с таким уважением называл деревья, представляя их гостю, как будто это были его старые любимые друзья.

Такого сада Отто действительно никогда не видел.

— Это пальма катеку, она дает плод, который идет на изготовление бетеля. Это манго, одна из лучших пород. Там, рядом с лимонным деревом, вам известная магнолия. А это старый замечательный экземпляр чампака. Вот камфарное дерево. Здесь вы видите банановые деревья, они родились вместе с бирманцами. Еще есть арековые пальмы, помоложе...

У Джи был в легкой стальной цвета курточке, в светло-зеленого цвета юбке, туго накрахмаленной, усыпанной золотистыми крапинками. На голове была белая повязка, концы которой свешивались над правым ухом. Простые, грубые сандалии на голых ногах.

Он был ростом ниже Вингера, но его плотная, крепкая фигура, с которой можно было лепить молотобойца, его уверенная неспешная поступь и странный взгляд из-под полуопущенных век, как будто дремлющий и в то же время зорко наблюдающий за всем вокруг, говорили о большой затаенной силе знающего себе цену человека.

Он держался скромно, говорил негромко, не смеялся, жесты его были скупые, как и слова.

Удивительное спокойствие лежало на непроницаемом лице У Джи. И в то же время оно все светилось какой-то сдержанной лукавой веселостью, и эта веселость играла и на золотистых скулах, и на больших длинных губах, хранящих тонкую, чуть ироническую усмешку. На желтошафрановом лбу не было ни одной морщины.

С Вингером он говорил, как со старым знакомым, иногда переходя на бирманский. К Отто Мюллеру обращался с изысканной вежливостью. Отто обратил внимание на разбросанные по всему саду ящики самых разных размеров, в которых росли неизвестные ему растения.

У Джи что-то сказал на бирманском языке Вингеру. Вингер перевел Отто:

— У Джи говорит, что тут очень много нужных ему растений, местные названия которых ничего не скажут гостю, а он, к сожалению, не знает, как они называются по-английски. Но есть и такие, о которых он может сказать.

У Джи кивнул головой в благодарность за перевод и сказал:

— Каждое растение — тайна. Посмотрите на цветы: они могут быть красивыми и неприятными для глаза. Они могут быть полезными и вредными. Они могут служить человеку для добрых и злых целей. Меня называют «Врачующий травами». И это так. Я врачую, а не употребляю во зло силу трав и цветов. Природа дала им многое. Они живут простой жизнью, но в них скрыто и то, что надо найти и разгадать. Вы узнаете какие-нибудь растения?

Отто нерешительно указал на кусты с желтыми цветами.

— Это, кажется, жасмин?

— Да, это желтый жасмин. При его помощи можно вызвать разное зрение, но он же хорошо помогает при глазных болезнях. Рядом с ним — ночной жасмин, он снимает головную боль.

— А зачем вам кактус? — спросил Отто.

— Кактус? Они у меня разные, они прекрасные помощники при сердечных заболеваниях.

— Я узнаю гвоздику! — воскликнул Отто.

— Да, это гвоздика, чуть больше европейской, хорошее лекарство от головной боли. Вот, смотрите, это сумах ядовитый — добрый препарат против ревматизма и экземы.

— Я не называю ничего, — сказал, шагая между ящиков, Вингер, — я уже так давно знаю этот сад и его хозяина, что не хочу притворяться, будто все это вижу первый раз. Мне тут все знакомо. Вот смотрите, Мюллер, на эту травку. Это прехорошенькая травка — куркума. Желтая краска ее корней идет для соуса керри, жгучего, великолепного керри, чтобы он стал огненным желтым и жег не только горло, но и глаза.

Отто огляделся. Золотисто-розовое небо нависло над садом. Воздух был пронизан одуряющими запахами. Огромные листья банановых деревьев как будто прислушивались к жесткому шепоту пальмовых ветвей. Иные цветы зацветились и засверкали, как бабочки, ночной жасмин посылал сладкие, пронзительные потоки, которые смешивались с ароматами неизвестных цветов и трав. Все вокруг казалось ненастоящим, усыпляющим сознание, уводящим в какие-то неизведанные сновидения. Вечер опускался жаркий, душный, несший едва ощутимое дуновение востерка. Близо было большое озеро.

У Джи нашел, что гости достаточно посмотрели сад, и, низко кланяясь, пригласил их в дом, который отнюдь не представлял бамбуковую постройку, пол которой прогибается под ногами, а в щели видна улица. Это был среднего размера деревянный дом, всем своим видом говоривший, что он построен крепко и надолго.

Большая терраса, устланная коврами, широкие бамбуковые кресла, круглые столы и столики разных размеров. На стенах много мешочков с засушенными растениями и семенами. Бесшумно вошедший слуга внес чашечки и разлил всем ароматный чай. Вингер и У Джи перекинулись несколькими бирманскими фразами. Отто с удовольствием глотал горячий напиток, так непохожий на то, что называется чаем в далекой Германии. Действительно, этот напиток обладал какой-то освежающей силой и в душный вечер казался самым спасительным. Правда, дома Отто предпочитал пить кофе, но теперь придется привыкать к чаю.

У Джи обратился к нему с самой вежливой улыбкой:

— Наш друг Вингер сказал, что вы первые дни в нашей стране. Мы живем скромно,

и наше искусство, хотя оно и насчитывает много веков существования, не так известно во всем мире, как искусство вашего народа. Я буду счастлив, если наш скромный народный танец и народная музыка доставят вам некоторое удовольствие.

Сказав это, он покинул террасу. Вингер наклонился через стол к Отто:

— Он сказал так из скрытной гордости: их искусство великолепно. Вы в этом убедитесь сами. Конечно, оно сначала покажется вам необычным, непонятым. Но не обижайте хозяина и похвалите исполнителей как можно сердечнее.

У Джи вернулся не один. С ним пришел молодой бирманец. Он бережно нес музыкальный инструмент, напоминавший арфу. Это был саунг, который показался Отто похожим на маленький, изящный, тонко сделанный кораблик с высоко поднятым и резко загнутым бушпритом; на этом изогнутом грифе были натянуты четырнадцать струн. Молодой бирманец остановился и поклонился гостям церемонным, артистическим поклоном. На нем была белая рубашка, цветистая, вишневого цвета юбка, в смолисто-густые волосы были воткнуты розовые и белые цветы. Он был очень смугл и худощав. Поклонившись еще раз, встал рядом с У Джи.

— Это мой сын, — сказал тихо У Джи, — он очень любит музыку!

У Джи указал сыну место, и тот сел на низкую скамейку и начал устраивать саунг у себя на коленях. Корма этого маленького музыкального кораблика должна была висеть в воздухе, в то время как его середина была крепко зажата коленями. Раздался чистый, звонкий, прозрачный звук саунга. В дверях появилась легкая, как тень, юная девушка, чем-то похожая на хозяйина. У нее было такое же выражение лукавой веселости, с той разницей, что на ее губах светилась ослепительная улыбка и все лицо сверкало нежностью и юным задором.

— Это моя дочь, — тихо сказал У Джи и добавил чуть слышно: — Мать погибла в конце войны.

Он отошел и сел в стороне, сделав знак сыну. Музыкант коснулся арфы, четырнадцать струн зазвенели. Воздух наполнился удивительной музыкой. В ней звучали бесчисленные колокольчики невидимых пагод, проносился ветерок дальних гор, холодный и звонкий, как пастушеский рожок, слышались серебристые удары прибоя, ударающегося о скалы, волны пробегали по пустынным отелам, вздымались в ночную вышину и долетали до луны, задевая кроны пальм, и пальмы отвечали им тонкими шестами своих жестяных ветвей. Вдруг появлялось озеро тишины, и затем снова, как будто пронзая стены, звенели струны саунга.

Девушка в белой кофточке, в длинной золотистой юбке, испещренной узорами, с длиннейшим

шлейфом, танцевала свободно, страстно, самозабвенно, казалось, что она импровизирует, но это не было импровизаций. Это было тончайшим искусством, все ее существо строго подчинялось тому порядку танца, при котором руки, ноги, плечи, голова, пальцы рук и ног выполняли определенные положения классического танца с такой легкостью, что, казалось, ожила, влетела в дом из безумной тропической ночи огромная пестрая бабочка или дух леса, танцующий под луной на дикой поляне, посетил дом У Джи.

Все сложнее и сложнее звучала мелодия саунга. Все быстрее и быстрее кружились танцовщица. Кружась, ей приходилось все время отбрасывать ногой длинный свой шлейф, который опять и опять заплетался вокруг ног и мешал, но искусным поворотом ноги и туловища каждый раз был отбрасываем. Длинные ее волосы, перехваченные светлой лентой, украшенные серебряным цветком, падали черным ручьем на спину. Порой девушка во время танца пела, и тонкий ее голос словно нырял в музыкальный водопад. Саунг звенел неумимо, и неумимо изгибался легкий стан. Зажженная лампа смутно освещала террасу. Танцовщица непрерывно меняла позы, со стальной упругостью переставляла ноги, бесконечно откидывая тяжелый шлейф, и бросая руки к волосам, и склоняясь до земли.

В наступающие паузы, когда смолкал саунг и танцовщица садилась посреди комнаты прямо на пол и поправляла волосы и одежду, отдыхала, слуга вносил на подносе фруктовые соки и ставил их перед гостями.

Потом снова музыкант брался за саунг, а девушка с новой энергией начинала свое колдовство. В ней жило такое непреодолимое, такое неизвестное Отто Моллеру очарование, что он невольно поддавался под влияние этого безотчетно увлекающего музыкального вихря, этого танца, казалось потерявшего конец и похожего не на танец обыкновенных, подобных ему людей, а скорее — неизвестных пришельцев с другой планеты. Все было чудом ему в этом танцевальном экстазе, и все влекло его, и он невольно всем существом своим следовал изгибам этого девического тела, всем его движениям. Четкость этих движений, как мысль, преследующая человека неотступно, входила в его сознание и делала пленником неведомого.

И когда саунг последний раз пропел свою серебряную песню, последний раз взмахнула руками юная фея и скрылась после глубокого поклона, а музыкант поднялся и, неся свою арфу, как большую птицу, отклонялся тоже, Отто почувствовал, что мир опустел и требуется немедленное присутствие кого-то, кто мог бы его утешить после такой потери. Но Хильдегарды здесь не было, не было и не будет. Он начал аплодировать, как и Вильгельм Вингер.

— Ну как, Мюллер, хорошо скромное искусство? — сказал Вингер.

Отто поднял в воздух обе руки, сжав их, и глубоко вздохнул.

Они оба начали горячо благодарить хозяина за доставленное удовольствие. Они не жалели комплиментов.

У Джи почтительно слушал их.

— Пойдем дальше, — сказал по-бирмански Вингер.

«Прорицатель трав» внимательно посмотрел на Отто, потом на Вингера.

— А он хочет?

— Я сейчас спрошу! Отто, это была первая часть программы. Хочешь ли ты испытать вторую?

— А что для этого надо сделать?

— Надо выпить одну маленькую чашку травяного и цветочного настоя и увидеть нечто!

Отто вопросительно взглянул на У Джи.

У Джи сказал:

— Я лечу травами и цветами и приношу облегчение. Я не причиняю людям боли. Такин Вингер это знает!

Видя недоумение и колебание Отто, Вингер сказал тихо:

— Конечно, если вы не уверены в себе, лучше не делать этого опыта. Но уверяю вас, что он безопасен.

— Я согласен, — сказал Отто.

— Хорошо. — У Джи спросил Вингера по-бирмански: — Что вы хотите? Если что-нибудь тяжелое для него...

— Нет, нет! Я просто хочу знать, что у него в голове.

У Джи поклонился обоим.

— Я вас сейчас оставлю на некоторое время одних. Я должен подготовиться. Но это будет недолго.

Он покинул террасу спокойными короткими сильными шагами.

— Это будет какой-нибудь факирский фокус? — спросил Отто. — Я видел в цирке в Германии факира, который ел огонь, и ходил по саблям босыми ногами, и отгадывал, сколько в кошеле марок. Это было довольно скучно...

— Видите, наш друг У Джи оперирует только цветами и травами. Он прекрасно подбирает их и настаивает, его напитки доставляют совершенно новые ощущения, и вы не будете разочарованы.

Они пили ананасную воду и ели бело-земляничную мякоть лиловых больших мангустанов. В дверях появился У Джи. Он был так же невозмутим, и лицо его, полное веселого лукавства, не выражало никакого беспокойства. Но глаза не походили на те, полускрытые и дремлющие. Теперь они были как будто устремленными в пространство.

У Джи пригласил их следовать в другое по-

мещение. Слуга нес за ними лампу. Комната, в которой они теперь находились, была небольшой. Пол был устлан разноцветными бамбуковыми циновками. Три широких низких бамбуковых кресла, маленький круглый стол. Другой стол, побольше, стоял у дальней стены. На нем горела спиртовка.

Слуга ушел. У Джи открыл маленький, висевший на стене шкафчик и начал пересыпать какие-то порошки из мешочка в синюю тонкую чашку с крышечкой драконом. На спиртовке над крошечной кастрюлькой подымался голубой пар. Пахло чем-то терпким и горьким. У Джи приподнял крышку кастрюльки, помешал варено, сказал:

— Сейчас будет готово. Это можно пить и не совсем горячим, но не теплым.

Отто чувствовал себя все хуже и хуже. Нет, он не боялся того, что его отравят, он опасался, что он попробует какого-то немыслимого снадобья и его просто вырвет от отвращения. Он не хотел осрамиться перед этим молчаливым бирманцем и доставить удовольствие надменному, полоумному Вингеру. Ему не нравилось, что они временами перекидывались фразами на языке, которого он не понимал. Но он решил идти до конца. Пусть будет что будет.

Поэтому, когда У Джи поднес ему синюю чашку, полную зеленовато-мутной жидкости, напоминающей чай, в который бросили кусок мыла, он смело взял ее в руки и спросил:

— Пить возьм?

— Нет, — сказал У Джи, — пейте в пять глотков, с паузами. И ничего не бойтесь.

Отто приблизил чашку к губам. Острый опьяняющий запах захватил дыхание. Он увидел теперь широко раскрытые глаза бирманца и начал пить, делая паузы; он выпил весь напиток и сидел, окаменев. Потом судорога бросила его в глубину бамбукового кресла, и У Джи устроил его удобнее. Он сидел с закрытыми глазами, как будто уснул мгновенно и очень крепко.

У Джи подвинул ближе к нему столик, знаком попросил, чтобы Вингер сел ближе, и положил руку на лоб Отто.

— Первый приступ будет через пятнадцать минут. Мы должны условиться вот о чем. Он будет что-то говорить. Но говорить он будет на своем языке. Я его не знаю. Поэтому, если я не пойму, что происходит, вы скажете мне. Если вы не поймете его, я скажу вам...

— Как же вы поймете, если он заговорит? — спросил Вингер.

— Мне не надо слышать, что он говорит. Я увижу то же, что он увидит! А теперь молчание. Я должен приготовить еще одну порцию для продолжения.

Когда Отто проглотил содержимое чашки, он испытал странное облегчение, точно потерял вес. Потом черный мрак поглотил его сознание.

И вдруг вокруг него начали светиться огромные круги, радуги раскрывались над его головой, какие-то северные сияния стались ему под ноги. И он шел, наступая на яркие световые полосы, которые начали свертываться и превращаться в узкий коридор. Он опирался на стенки этого коридора, и лучи пружинили, как резиновые. Это было даже смешно, и сколько он шел по коридору, он не мог бы сказать. Ему показалось, что он шел несколько лет. Вдруг коридор оборвался, и жгучий вихрь подхватил его, закружил и бросил на песок. Он встал, отряхиваясь и оглядываясь. Что-то похожее на пальмы было справа. Что-то похожее на красную стенку было слева. Он пошел прямо вперед. Какая-то точка возникла на дальнем-дальнем горизонте — меньше мухи. Точка росла со страшной силой, а он шел ей навстречу. Точка стала величиной с собаку, потом она как-то разом выросла, и он увидел, как на него бежит огромный, бросающий клочья пены, чем-то взбешенный, разъяренный черный буйвол. Он, не помня себя от ужаса, повернулся и бросился бежать... Сердце его колотилось бешено. Он бежал и кричал изо всех сил: «Черный буйвол! Черный буйвол!»

— Он кричит «черный буйвол»! — воскликнул Вингер.

Руки сидевшего Отто стали качаться, как у человека, который размахивает ими на бегу. Пот катился по его лицу.

— Он бежит от черного буйвола, — сказал У Джи и приложил к голове Отто тряпку, от которой пахло муравьиным спиртом.

Голова Отто дернулась, руки упали на колени. Казалось, он тихо заснул.

Вингер хотел заговорить. У Джи предостерегающе поднял руку. Лицо Отто начало светлеть, как у человека, подставляющего щеки солнечным лучам. Он улыбался. Его руки искали что-то. У Джи подвинул к нему стол. Отто наклонился над столом, и дальше его движения походили на пантомиму. Вингер и У Джи молча смотрели, как он что-то высыпал из невидимого пакета, потом катал по столу, потом подносил к глазам, считал, останавливался, опять пересчитывал. Его губы шептали; Вингер вынул из кармана блокнот, написал на нем несколько слов и протянул бирманцу. У Джи прочел: «Он говорит почему-то: «Опал, изумруд, лунный камень, рубин...» У Джи написал на бумаге: «Он играет драгоценными камнями, сыпает в кучку и расспадет их».

Лицо Отто было спокойное и торжествующее. Вдруг он воскликнул:

— Хильдегарда! Хильдегарда!

«Я вижу женщину!» — написал на бумажке У Джи. — Что он кричит?»

— Он выкрикает ее имя, немецкое имя, — ответил Вингер.

Отто не слышал и не видел ничего. Он спал со спокойным розовым лицом, дышал ровно и тихо.

У Джи встал и отошел к своему шкафчику, поманил пальцем Вингера. Вингер подошел к нему. У Джи сказал, открывая шкафчик:

— Это примитивный случай. Он где-то видел буйвола, который его напугал на всю жизнь, и он хочет в Бирме достать для своей девушки драгоценные камни. Будем продолжать?

— Сколько он еще выдержит?

— Я дам ему еще полчаски, и этого будет достаточно. Но он должен спать полчаса. Мы можем попить чаю. Или вы хотите фруктов?

— Нет, — сказал Вингер, — я ничего не хочу. Посидим, поговорим, пока он спит. Надеюсь, на его здоровье это не отразится? Если мы продолжим опыт?

— У него будет завтра туманная голова, а потом все пройдет.

Они сидели и разговаривали. Потом У Джи поднял голову Отто, рот сидевшего сейчас же открылся, и Отто проглотил напиток с покорностью ребенка, принимающего горькое лекарство. Теперь Отто влился в какие-то необычайные зеленые просторы, где он начал расти и все вокруг него стало маленьким, таким маленьким, что он мог брать и срывать деревья, как спички, и их кудрявые вершины были с ноготок, он переходил врод море и поднимал пароходик, рассматривал его и ставил обратно на воду. Потом он вступил в какой-то оранжевый круг, и круг завертелся с такой силой, что Отто начал уменьшаться с каждым поворотом этого оранжевого солнца. И скоро он уменьшился до нормального размера и увидел, что он сидит на кровати и рядом — Хильдегарда, которая гладит его по волосам. Он растерянно потянулся, чтобы схватить ее, но перед ним на самолете с рюмкой коньяка уже возвышалась стюардесса с лицом Хильдегарды, и она была в купальном костюме, на котором стояло почему-то «САС». Какой-то туман напыл на него, кто-то закричал ему в ухо: «Рнм!» — и он провалился в этот туман, и когда он из него выбрался, перед ним мелькнула девушка, у которой было сходство с бирманцем, с каким-то почти знакомым человеком, но это было не то, другая девушка уже была в его объятиях...

— Он ничего не говорит, — шепнул Вингер, — что происходит?

— Он увлечен какой-то девушкой?

— Может быть, это немка Хильдегарда...

— Нет, она танцовщица.

— Он видит вашу дочь?

— Нет, она похожа на малайку, богато одета. Не знаю, мне плохо видно...

— Почему?

— Это не жизнь, это только призрак...

— Кто призрак? Девушка...

— Да, тише, что-то происходит!

Они смотрели на Отто и видели, как он ворочается в своем кресле, как он что-то шепчет, кого-то обнимает, смеется, гладит рукой кресло, целует воздух... На лице Отто написано было полное блаженство...

Пожимая плечами, У Джи пошел к шкафчику, и налил в чашку сильно пахнущей настойки, и положил в чашку желтый платок.

Перед Отто носились какие-то маски, рожи, морды с оскаленными клыками, накрашенные, как на карнавале.

Потом удар молнии раздробил девушку, лежавшую у него на коленях, на куски. Морды и маски набросились на него...

— Я не разберу, — сказал У Джи, — ему кажется, что его и девушку какие-то неведомые люди, кто, не знаю, раздели, и привязали к плоту, и плот бросили, в реку. Но все это не то...

— Что не то? — спросил Вингер.

— Это не жизненные явления, это миражи!

Отто хрипел и стонал, извивался в своем кресле; он переживал что-то очень мучительное, потом его скорчило, он обессиленно вытянулся и вдруг почти выпрямился в кресле и закричал страшным голосом:

— Крокодилы! Крокодилы!

Его крик, непонятный, но исходящий из мрачного, безвыходного отчаяния, смутил Вингера.

— Ему кажутся крокодилы, которые должны его сожрать, — сказал спокойно У Джи.

— Больше не надо! Довольно! — Вингер показал на бьющегося в истерику Отто. — Хватит!

— Хорошо! — У Джи положил руки на голову Отто и держал их, пока он не стих. Потом он вытер ему лицо желтым платком, смоченным очень резко пахнущей эссенцией, и поправил спящего, поудобнее усадив его.

— Все, — сказал он, взяв свое кресло и поставил его подальше от Отто.

Вдвоем они перенесли стол на старое место, и У Джи начал приводить в порядок свой шкафчик. Он убрал спиртовку, чашку, платок и долго пересыпал что-то из мешочка в мешочек. Потом он закрыл шкафчик на ключ, ключ спрятав в карман своей куртки и вернулся к Вингеру, сидевшему в задумчивости у стола.

— Вы довольны? — спросил он.

— Если хотите, да, — ответил Вингер. — Если бы мы еще кое-что встрясли из его головы, мне кажется, это нас не обогатило бы. Как вы думаете?

Непроницаемое лицо У Джи было наполнено, как всегда, скрытой веселостью, он пожал плечами.

— Когда он придет в себя, не спрашивайте его ни о чем. Дайте ему успокоиться.

— У него ночью не будет кошмаров?

— Нет, это все пройдет вместе со сном. Если ему не напоминать, он об этом сам никогда не вспомнит.

— А он будет помнить все, что пережил?

— Только отрывками, потому что это его же собственные мысли. Они всегда с ним.

— Сколько он должен спать сейчас?

— Полчаса... не меньше, но и не больше.

— Можно послать вашего слугу, чтобы он достал машину?

— Тут рядом можно достать машину у моего знакомого. Он отвезет вас. Я пошлю к нему слугу, чтобы он был тут через час.

Отто спал безмятежно, как в собственной постели. Никакие видения больше его не беспокоили. Какой-то большой покой опустился на его измученную кошмарами голову. Когда он проснулся, то с крайним удивлением обнаружил, что он сидит в бамбуковом кресле в неизвестной комнате и перед ним ходит медленно от стенки к стенке высокий, сутулый Вингер, а над Отто склонился бирманец с широкими скулами и неулыбающимся ртом — У Джи.

Сознание возвращалось к нему клочьями. Но он наконец вытянул руки, глубоко вздохнул, встал на ноги и зевнул во всю мощь. У Джи поднес ему стакан ананасного сока, к которому было что-то примешано, и он выпил его залпом. Много смутного было еще в его голове, но никакой боли он не ощущал. Он подошел к Вингеру.

— Все-таки я завтра утром должен лететь. И я бы хотел попасть в гостиницу.

— Через двадцать минут будет машина. Как вы себя чувствуете?

— Как после хорошего пьянства — и сладко и горько. Не знаю, почему вы это называли удивительными ощущениями...

— Мы поговорим дома, — сказал Вингер, чувствуя, что в Отто нарастает непонятная злость. — Что-то хочет сказать наш добрый хозяин?

У Джи сказал по-бирмански несколько фраз.

— Он говорит, что он озабочен тем, как чувствуете себя вы, и спрашивает, не хотите ли вы узнать что-нибудь из будущего. Он может в другой раз...

— Я скажу ему сам. — Отто подошел к У Джи и смотрел на него полусонными глазами. — Благодарю вас за сегодняшний вечер, теперь я хорошо узнал ваше народное искусство и ваше личное искусство врачевания. Я здоров и очень сожалею, что не имею любопытства заглядывать в будущее, хотя и говорят про меня, что я иногда делаю легкомысленные шаги, а я их действительно делаю... Нет, не будем заглядывать в будущий день. Удовольствуемся тем, что нынешний день кончается, к общему удовольствию. Большой привет вашей дочери и сыну, великолепным артистам, которые украсили бы самую большую сцену...

У Джи проводил их до машины. Отто всю дорогу сумрачно молчал, его не интересовали ночные улицы и площади, но, когда они доехали до Странд-отеля, он сказал Вингеру:

— Вы могли бы на минуту подняться ко мне?

— Пожалуйста, — сказал Вингер, — мне завтра нигде не надо уезжать, и я с радостью выпью с вами пинджину со льдом...

В номере, когда Отто принял душ, переоделся и совершенно спокойно сидел с Вингером, говоря о предстоящей поездке, он вдруг отставил стакан и, смотря насупившись в иронические глаза Вингера, спросил:

— Что это было?

— О чем вы говорите?

— Я спрашиваю, что было там, у этого садовода, с позволением сказать.

— Что было? Мы пили чай после осмотра сада, потом прекрасный музыкант сыграл нам прелестные пьесы, а очаровательная дочка хозяина исполняла искусно самые красивые народные танцы...

— Я спрашиваю не об этом. Это я хорошо помню... А о том, что было после, когда меня угостили с вашего разрешения каким-то мерзким пойлом, не хочу думать, из чего составленным...

— А что, у вас остались болезненные впечатления?

— К счастью, этого не было. Но я что-то, кажется, кричал? Или мне это казалось?

— Да, вы действительно кричали!

— Что же я кричал?

— Вы кричали почему-то очень испуганно: «Черный буйвол, черный буйвол!» Было впечатление, что вы от него бежите и он вас преследует. Ваш крик звал на помощь!

— Что было еще? О чем я еще говорил или кричал?

— Потом вам понравились камни!

— Какие камни?..

— По-видимому, драгоценные, потому что вы называли: рубин, опал, изумруд, лунный камень...

Отто встал со стула, потер лоб и снова сел, уставившись на Вингера злыми глазами.

— И еще вы называли некую девушку или даму по имени Хильдегарда... Редкое имя!

— Я что-нибудь говорил о ней?

— Нет, вы назвали только два раза ее имя, больше ничего.

— Что было еще? Говорите все.

— Потом у нас вышли какие-то неприятности с крокодилами...

— Не может быть, при чем тут крокодилы!

— Я же не сочиняю. Вы все это переживали так, как будто это все происходило на самом деле. Что-то говорили перед этим о девушке, с которой вы оказались в довольно бедственном положении на плоту, и тут на вас напали крокодилы, как раньше черный буйвол. Удивительные ощущения!

— Это — идиотское наваждение, — сказал Отто.

— Вы недовольны? А разве вы не пережили удивительных картин, снов, миражей в неизвестной стране? Вы купались в блаженстве и умирали от отчаяния. Для одного вечера сад, музыка, танцы и великолепные миражи — разве этого мало? Вы побледнели? Вам плохо? Это пройдет без всяких последствий...

Отто всхлипнул от этого холодного, сильного голоса, который звучал в его ушах как продолжение испытанных кошмаров. Он заговорил тихо, волнуясь:

— Послушайте, Вингер, мы с вами знакомы два дня. Против меня вы ничего не можете иметь. Зачем вы сделали это со мной?

Вингер улыбнулся и отвечал, тоже не повышая голоса:

— Разве вы не помните, что, когда я приглашал вас на вечер, фрейлейн Клара из нашего представительства сказала, что они все, то есть наши компаньоны, уже вкусили чудес. И она добавила, что вы тоже не будете жалеть. Вы жалаете?

— Нет, вы говорите не то...

Отто замолчал. Как это он дал себя так глупо провести да еще впутал сюда Хильдегарду! Он чувствовал себя, как будто стал стеклянным. Ужасно и то, что он никогда не узнает всего происходившего, что выплывал от него Вингер, который потом будет всем рассказывать об этом, издеваясь, глумясь. Вот что получилось от его дурацкого согласия на этот шантаж...

Вингер, внимательно присматривавшийся к нему, как будто прочел его мысли и сказал спокойно, словно это была простая дружеская беседа:

— Слушайте, Отто Мюллер, я даю вам честное слово, что никто никогда не узнает, что происходило в этот вечер, если только вы сами не расскажете об этом кому-нибудь и так, как вам захочется, как сочтете нужным. У Джи, как врач, обязан хранить тайну, и он никогда не нарушит слова. Он принял нас как гостей, как добрый хозяин и по нашей просьбе показал нам один опыт из практики врача-ветеринара, который является знатоком цветов и трав. И я думаю, что все, что я сейчас сказал, вам понятно.

Но Отто уже не слушал, что говорил Вингер. На него напал припадок непонятной злобы. Он сказал в полном бешенстве:

— Вы все это сделали нарочно! Я знаю, зачем вы это сделали! Вы заманили меня к этому шарлатану, чтобы выпытать из меня что-то! Но я презираю такие способы узнавать о человеке! Вы это сделали, чтобы унижить меня! Я вам этого никогда не прощу! Вы хотели осмеять и унижить белого человека при помощи самого дурацкого фокусничества, потому что вы с ними против нас!..

— Против кого — нас? — нахмурясь, спросил Вингер.

— Против тех, кто расово выше их. Но все равно я не приму вашего мнения об азиатах и не подчинюсь ему...

Вингер молча смотрел на разбушевавшегося Отто, и, когда тот в ярости вскочил и начал ходить по номеру, он тоже встал и сказал:

— Вы глубоко ошибаетесь, думая, что я хотел почему-то унижить ваше европейское достоинство. Я далек от этого. Сегодня европейское и азиатское достоинства равны. Вы поедете в глубь этой страны, и там во время ваших работ вы увидите много разных людей, вы вспомните меня и поймете, что здесь живут люди такие же, как в Европе, в Африке или на любом другом континенте. Если бы в Германии врачи проделали с вами такой же опыт, какой проделал по моей просьбе У Джи, вы бы не только не рассердились, а хвастались бы своей близостью к передовой науке. Вам ведь известно, что германские врачи проделывают бесстрашно опаснейшие опыты над собой. Ваш был детским экспериментом. Повторяю, вы в стране, где уже много нового, в стране, которая не остановится, она идет по пути общего прогресса, но со своим уклоном...

— С каким со своим?! Какой этот уклон, интересно знать?! — запальчиво закричал Отто.

— Я боюсь, что этот уклон называется социалистическим. И я не ошибусь, если скажу, что в ближайшие годы бирманцы будут делить помещичьи земли, национализировать нефтяные предприятия и монополизировать торговлю рисом. Пройдите в Рангуне в больницу или в университет, и вы увидите достижения бирманской культуры.

Отто молчал.

— И давайте расстанемся друзьями. Нам не из-за чего ссориться.

Отто гордо выпятил грудь.

— Что бы вы ни говорили, мы создадим новую колониальную Германскую империю...

— Создавайте, если сможете, если вам это так хочется! Создавайте, желаю вам успеха! — Он иронически поклонился. — Но мои слова вы вспомните не раз! А сейчас ложитесь спать: ваш самолет летит очень рано. Вам надо выспаться!

И хмурый, но чем-то довольный Вильгельм Вингер покинул Странд-отель, оставив Отто в довольно большой задумчивости.

Самолет был маленький и всем своим видом говорил, что он много пережил на своем веку, но никогда не сдавался и готов еще поспорить с трудностями и летать, пока хватит сил. Казалось, что бравая наружность маленького кораблика похожа на искателя приключений, с лицом, изборожденным шрамами. Отто усмехнулся, увидев странное сооружение, и тут же придумал, как он будет рассказывать дома об

этом полете: описывая пассажиров, он обязательно скажет, что они сдились, не обращая внимания на то, что фюзеляж был весь в дырках и в трещинах, сквозь которые просвечивало небо, но, чтобы заткнуть самую большую дыру в хвосте, посадили толстого, в оранжевой хламиде монаха...

Но самолетик самоотверженно выполнил свой долг и благополучно приземлился там, где положено.

После перелета земля с ее пронизывающим до костей жаром показалась такой знакомой, точно Отто уже давно видел эти равнины, окруженные холмами сожженной бурой зелени, деревни, где женщины в одеждах поливали друг друга водой тут же, на улице, и шли по своим делам.

Старенький, подпрыгивающий на бугристой дороге «джип» уносил его в сторону от этой равнины, и с каждым поворотом дороги лес все гуще смыкался вокруг маленькой машины, в которой был только шофер, Отто Мюллер и «похожий на кузнечика стройный, спокойный бирманец небольшого роста, инженер, увозивший Отто к его шефам в неизвестную даль. У Тин Бо, несмотря на его худобу, казалось, весь состоял из железных мускулов, тонких, но гибких. Он выпрыгивал из «джипа», как акробат, соскакивавший с проволоки, — легко и привычно. Его лицо было хорошего, шафранового цвета. Оно походило на лицо взрослого ребенка. Оно могло от улыбки становиться чрезвычайно добрым и вдруг делаться непроницаемым. В такие минуты он как будто погружался в далекие мысли, и окружающее переставало существовать для него.

Отто Мюллер ехал в «джипе», сохраняя предельное, невозмутимое, чисто германское самодовольство. Он хорошо себя чувствовал в этой тропической обстановке, где его положение привилегированного специалиста, которого уважают, выписали издалека, которым дорожат, давало ему уверенность в своем беспорном превосходстве над этими маленькими, быстрыми в движениях людьми, одетыми в белые рубашки и пестрые лонджи — полосы матери, охватывающие, как юбки, их бедра. Правда, его сосед У Тин Бо был в легком европейском сером костюме, голову украшала темно-коричневого фетра шляпа с широкими полями, и только сандалии у него были, как у любого бирманца, надеты на босу ногу.

Когда они совсем уже въехали в непролазную гущу леса, а дорога все продолжала петлять и то взбираться на холмы, то сбегать в мягкие котловины и уже появилось ощущение, что так они будут ехать день за днем, У Тин Бо заговорил:

— Вы видите, какое у нас лесное богатство. У нас есть не только лес. Есть в на-



шей стране и нефть, и олово, и вольфрам, и железная руда, и медь, и цинк, и драгоценные камни всех сортов...

— Мы поможем вам, — снисходительно сказал Отто, — мы придем вам на помощь. Вот только жара... Скажите, у меня будет человек, чтобы носить за мной зонтик?..

— Будет, — сказал пристально посмотревший на него инженер.

— А будет у меня человек, который будет носить за мной складной стул и необходимые приборы? — снова спросил Отто.

— Будет, — сказал бирманец, смотря на Отто так, точно начинал сомневаться, того ли специалиста он везет в горы.

Но Отто посмотрел голубыми прозрачными глазами, ничего не выражавшими, кроме бесконечной надменности.

— Вы хотите создать у себя в стране новое хозяйство, основанное на достижениях передовой европейской культуры и техники?

— Да, — ответил У Тин Бо. Его детское, открытое лицо стало теперь сосредоточенным, а глаза приняли холодное выражение, точно ему хотелось сказать что-то злое, но он слушал дальше молча.

Отто продолжал:

— Без нас вам не удастся сделать, чтобы Бирма расцвела. Но вы хорошо поступили, что пригласили специалистов, не политиков, а специалистов, потому что ни от каких речей не прибавится выработки железа и добыча цветных металлов. Лучше германских специалистов сейчас нет никого. Вы где учились?

— Я учился в Рангунском университете. У меня не было денег ехать в Европу... Я добился знаний большим трудом.

— Хорошо, — сказал Отто, чувствуя, что этот маленький человек с упрямыми глазами как бы признает его непоколебимое превосходство над собой. — У вас очень хорошие леса...

Бирманец ничего не ответил. Они ехали на стоящих джунглями. Вокруг не было ни людей, ни деревьев. Ни одна крыша охотничьего или дорожного домика не нарушала беснующееся море зеленых красок. Никакой художник не мог бы найти столько оттенков зеленого, сколько здесь щедрая кисть природы представляла изумленному глазу.

С трудом следя за этой бесконечной смесью деревьев, кустов, лиан, цветов, Отто должен был сознавать, что почти все ему незнакомо. Редко-редко он, казалось, ловил глазами что-то знакомое, дерево или куст, похожий на далекого европейского собрата, и снова летели зеленые видения, а «джип» все бежал, натаужась и поскрипывая, сквозь это изумрудное чудо.

Он посмотрел на примолкшего бирманца и, не сдерживая полноты чувств, которые требовали, чтобы кто-то разделил их, сказал:

— Возьмите эти джунгли! Дикие, мрачные, недоступные дебри! Я знаю, что туземцы боятся джунглей. Туземцы боятся их потому, что, будучи невежественными, населяют их духами, нечистой силой, привидениями. Они боятся их потому, что не могут бороться с дикими зверями; европеец же входит в них и делает все, что хочет. Он покoraл различные джунгли, умирим быстро и эти. Конечно, без нас вы ничего не сделаете. Мы, специалисты, подчиним эту дикую силу на пользу вашей стране...

Бирманец чуть наклонился к шоферу и сказал на своем языке, Отто не мог понять этих слов.

— У пятого поворота останови машину. Скажи, что не в порядке мотор. Остановка на полчаса. Так нужно...

Шофер не выразил никакого удивления. Он только переспросил для точности:

— У пятого?

— Да!

У Тин Бо сказал Отто:

— Эти шоферы ездят иногда здесь с поразительной небрежностью. Они совсем не следят за дорогой. В джунглях даже днем случаются неприятности и с людьми и с машинами...

— Да, я слышал, у вас гражданская война, — ответил Отто. — Но ведь нас, иностранных специалистов, это не касается. Мы нейтральны...

У Тин Бо заметил, что дорога в этих местах совершенно безопасна и что он имел в виду совсем другое. Мало ли что может случиться с мотором, и потом сиди и жди часами среди девственного леса, обитатели которого иногда излишне воинственны...

У Тин Бо надолго замолчал.

Он вспомнил один рассвет далеких времен, тот, когда с ним случилось необычное происшествие. У Тин Бо командовал тогда разведчиками партизанского отряда в джунглях. Он уже не раз участвовал в тяжелых экспедициях в этом зеленом аду. Выслеживая японских захватчиков, нападая на их посты, он приобрел опыт разрушения дорог и мостов, сражений с многочисленными врагами, но, кроме того, пребывание среди бирманских партизан открыло ему глаза на многое.

Он вел беседы с рядовыми партизанами о войне, рассказывал, что делается на фронтах, в далекой Европе. Люди знали от него о том, как Советская Армия разгромила под Сталинградом гитлеровцев, как гонит захватчиков со своей земли и что, видимо, война идет к концу. У Тин Бо говорил и о том, что, победив, бирманский народ перестроит всю жизнь в родной стране. Он уже понимал, что не всякий европеец — враг бирманца и не всякий азиат — друг его. То, что партизаны убивали самураев, было только справедливо. Самураи — безжалостные убийцы мирного населения, не ща-

дили ни женщин, ни детей, сжигали селения, вешали, рубили головы, грабили и уничтожали все, что могли.

У Тин Бо привык к джунглям. Он бесстрашно бродил по самым глухим дебрям. В то утро, когда туман поднялся и можно было уже ориентироваться в болотистых бамбуковых зарослях, отличный проводник вывел разведчиков в полосу твердой земли, где можно было разбиться на маленькие группы и прочесать нужный район, двигаясь безостановочно.

Резкий вопль обезьяны-ревуна прорезал сырой воздух. Это был условный сигнал, и он означал: внимание!

Сначала У Тин Бо услышал дальний шорох, потом треск ветвей, и хотя там были очен колючие кусты, рвавшие и одежду и тело, приближавшийся, видимо, не обращал на них внимания.

Он стремился выйти на твердую землю из топких низин, и скоро У Тин Бо, встав за большое тамиридовое дерево, увидел смельчака, бросившего вызов джунглям.

Вид этого человека поразил его. То, что это не японец и не бирманец, понятно было с первого взгляда. Жалкие лохмотья едва прикрывали его. Обросший клочковатой рыжей бородой, с большим суком в руке был, несомненно, европейцем.

Но кто он? Откуда взялся в этой жуткой чаще? И У Тин Бо решил: верно, этот человек рисковал на невозможное — бежал из японского плена в джунгли, не имея ни оружия, ни компаса, ни продовольствия... Как он выжил? Куда шел сквозь тысячи неведомых опасностей, проводя ночи, видимо, на деревьях? Чем питался? Все было загадкой. Одно было ясно: человеку невероятно повезло, он в конце концов вышел на партизан.

Когда человек, шатаясь от неимоверной усталости, приблизился к дереву, за которым стоял У Тин Бо, тот сам шагнул ему навстречу и сказал по-английски:

— Остановитесь, не бойтесь, мы бирманские партизаны, враги японцев...

Человек стоял шатаясь, и его глубоко ввалившиеся глаза, воспаленные, в лихорадочном огне, и его лицо и тело в кровоподтеках, ссадинах, ранах, шрамах были живым свидетельством того, что он пережил.

У Тин Бо и его товарищи с трудом довели человека до своего лагеря. Он оказался англичанином, который поведal обычную историю тех трагических времен.

Взятого в Сингапуре в плен, его пригнали прокладывать дорогу через джунгли. Его рассказ был страшен, и все слушали в глубоком молчании.

Отчаяние дало пленному силы, счастливая случайность вывела на партизанские посты.

Он долго отлеживался, встал в конце концов на ноги, но силы его были подорваны, и хотя он принимал участие в боях и отличался особой храбростью, но все знали, что дни его сочтены, потому что перенесенные им мучения и лихорадка джунглей сломили его.

Наконец он умер. Его похоронили в хорошем, сухом месте, и память о нем осталась у людей, с оружием боровшихся за свободу страны.

И потом, когда пришла победа, его вспомнили еще и потому, что много европейцев-друзей пришло в Бирму. Пришли друзья из Советского Союза, из социалистических стран, из многих других стран. Каждый народ имеет плохих и хороших людей. Но вот такие, вроде этого молодого немца, они не представляют себе действительности, не имеют понятия, что Азия изменилась, в них по-прежнему живет скрытый дух старого, презрительного отношения к «туземцам». И надо их, думал У Тин Бо, воспитывать, надо им показывать, кто мы и что сейчас нас невозможно больше угнетать. Надо вежливо сказать этому молодому человеку, что мы хотим не сохранения старого порядка, а новой страны — передовой, равной другим странам...

Машина продолжала мчаться так быстро, что казалось, зеленый навес превращается в какой-то подводный коридор, точно машина мчится по дну зеленой реки. Вдруг машина сделала какой-то страннй скачок, что-то застучало в моторе, и «джип» остановился. Шофер с застывшим лицом пробормотал несколько слов и соскочил на землю.

У Тин Бо показал неодобрительно головой, вылез вслед за ним. Шофер поднял крышку капота. Потом инженер сказал озабоченно Отто Мюллеру:

— Нам придется немного погулять. С мотором что-то случилось. Я как будто предчувствовал, что будет не все хорошо с этой машиной. Ну что ж, пока он копается, мы разойдем ноги. Прощу вас...

Он хотел помочь Отто вылезти, но Отто прыгнул сам, слегка отстранив маленькую коричневую руку инженера, упругую, как пружина. Отто понимал кое-что в машинах, но сейчас, при этой, вероятно, небольшой аварии, ему, европейцу, лезть в присутствии двух азиатов в мотор и копаться там, как простой слесарь, техник, было просто невозможно.

Он сделал вслед за бирманцем несколько шагов и остановился, чтобы оглядеться. Сбоку лежало подобие поляны, так густо заросшей неизвестными ему травяными высокими растениями, что пробраться через них не представлялось никакой возможности. Но, пройдя немного, миновав эту удивительную поляну, бирманец и Отто увидели что-то вроде тропы. Как будто здесь непролазная чаща раздвинулась,

и в эту узкую щель можно было углубиться в джунгли.

— Это тропинка, — сказал У Тин Бо, — пройдите немного по ней.

Отказываться не было причины, и Отто вступил вслед за бирманцем в глубину темно-зеленой чащи. Тропинка была узкая, самого дикого вида. Она обходила высокие, выше человеческого роста, подпорки. Эти подпорки поддерживали могучие деревья, уносившие свои кроны в такую высоту, что разглядеть что-либо там, где все перепуталось ветвями, где листья всех оттенков слились в один шатер, было невозможно. Под ногами клубились какие-то завязанные узлами ветви с длинными шипами. Всевозможные лианы взползали на деревья, обвивали их и уходили вверх в густой сумрак.

Отто медленно, пораженный величием окружающего леса, шел за бирманцем, молча поглядывая по сторонам.

Бирманец остановился.

Несколько минут он, не говоря ни слова, всматривался в это первозданное зеленое царство. Порядка, какой Отто привык видеть в лесах на родине, здесь не существовало. Это было буйство неслыханного, ничем не сдерживаемого творчества зеленых сил леса. Гиганты, создав себе отвесные, серые, как бетон, подпорки, чтобы стоять с могучей прямой, гнали к солнцу стволы исполинской толщины. Они поднимались из зеленого мрака, где лианы свисали длинными гирляндами, путаясь с воздушными корнями, штурмуя высочайшие ветви и стелясь по земле... Все, что могло жить и приспособиться к жизни великого леса, все было погружено в хаос ветвей, лиан, упавших и сгнивших деревьев. Только пригладившись, глаз мог обнаружить гигантские моховые ковры, лишай, папоротники. И повсюду ослепительно сияли яркой густотой цветы, распространявшие сотни запахов — от самых удушливых до тончайших ароматов.

— Много ли вам известно здесь растений? — спросил У Тин Бо, указывая на подавляющую роскошь первобытного мира.

— Я вижу орхидеи, только они здесь значительно больше, чем на моей родине... — сказал Отто, не могший скрыть некоторого волнения. — Деревья, сознаюсь, мне незнакомы...

— То, которое видите впереди, такое, с гладким стволом, — это наше дерево, его зовут пинкадо, а за ним исполинское, очень многоветвистое, могучее — это царь наших лесов — пынмо... Посмотрите, сколько папоротников, цветущих лиан и орхидей, но они растут не на земле. Они поднимаются, как на руках во все этажи леса, забираются по стволам и сучьям. Им не надо почвы... Посмотрите...

В воздухе было душно и влажно, точно весь этот сумрак был пронизан вредными, тя-

желыми испарениями. На мгновение Отто почувствовал легкое головокружение, чаша чуть сместилась перед ним. Он закрыл глаза, и когда открыл их, холодная струйка пробегала у него по спине. Ему показалось, что бирманец исчез и он остался один на один с этой свирепой, жуткой зеленой чащей. Да и в самом деле Отто стоял на непонятной тропе. Неужели он сошел с прежней? Все вокруг как было и все-таки не так. Появилось неприятное ощущение, что все эти моховые и папоротниковые завесы мгновенно опустились и закрыли ему выход. Ему показалось, что сквозь эти струящиеся, нависшие над головой, ползающие по земле ветви, кусты, сквозь пестрые, ядовито-зеленые листья на него и сверху и с боков смотрят глаза, много разных глаз и цвет этих глаз меняется, точно кто-то освещает их электрическим фонариком.

Он сдержал невольный крик, когда зашевелилась большая ветвь, усыпанная ярко-красными цветами, — зверь! Черт возьми, до чего все глупо! Ветвь с сухим шелестом обломилась. Из-за нее вышел У Тин Бо. Он был вежлив, в его глазах светилось детское любопытство, и его лицо было лицом большого ребенка, которому нравится игра.

— Эта тропа ведет куда-нибудь? — сказал Отто, стараясь сохранить равновесие духа.

— Возможно, в какую-нибудь лесную деревушку. Но ее прорубили недавно. Если по ней не ходить несколько времени, она исчезнет бесследно. Лес работает днем и ночью. Его работники никогда не отдыхают, — добавил он с легкой иронией.

— А в этом лесу есть дикие звери?

— Сколько угодно... Я думаю, нам пора вернуться, посмотреть, как дела у нашего шофера... Зеленая тьма, — Бирманец показал в чащу, где действительно все сливалось в одну непроницаемую темно-зеленую пелену.

— Зеленая тьма, — повторил Отто, — это очень точно. Вы определили правильно.

— Это не мои слова, — сказал У Тин Бо, и они быстро зашагали к дороге.

Шофер еще был занят. Вокруг него на тряпках лежали разные инструменты, и он, полуголый, гнул какую-то проволоку, обрывая ее клещами. Он крикнул что-то У Тин Бо. Бирманец ответил и обратился к Отто, который только сейчас почувствовал, что он весь мокрый, то ли от сырости леса, то ли от приступа слабости, который только что испытал в чаще. Это ощущение чем-то походило на перерывания в доме «Врачующего травмами».

— Шофер просит немного подождать... Мы можем сесть на этот камень... Зеленая тьма, — произнес бирманец задумчиво, — это сказал один молодой человек, историю которого я могу вам коротко рассказать, пока шофер возится с машиной.

— Пожалуйста, — сказал Отто, вытирая большим белым платком затылок и шею, покрытые липким потом.

— Молодой человек был англичанином и жил в Сингапуре. Он жил, как все белые, служил на хорошей службе, играл в теннис, флиртовал с девушками, ездил на охоту, помещался в хорошем доме, где работали фены; слуги были исполнительны и дорожили вниманием хозяина. Он не успел обзавестись семьей. Он хотел сначала кое-что скопить. Он пребывал в идиллическом мире белого человека и был абсолютно уверен, что нет такой силы на свете, которая может помешать его спокойному, раз установленному образу жизни. Небо, земля и море принадлежали британскому империализму, и никто не смел посягнуть на это великое могущество.

Поэтому, когда наступили события, молодой человек сначала не мог представить себе, что это не сон. И когда пал Гонконг, японские генералы одним ударом захватили Индокитай, молодой англичанин все еще верил в силу белого человека. Японцы пустили ко дну английский флот, уничтожили авиацию и угрожали Сингапuru, то есть всему благополучию молодого человека. Но он верил в силу фортов непобедимого Сингапура, который строили годами и убили на те миллионы фунтов.

Японская армия не приближалась к Сингапuru.

«Они не посмеют, — говорил себе и друзьям молодой человек. — Видите, их солдат перед Сингапуром нет!» Бедный молодой человек! Если бы он в те дни отправился на охоту в джунгли и встретил бы группы скромных людей, пробиравшихся по тропинкам среди бамбука, он сказал бы, что это крестьяне, или охотники, или носильщики, но он бы жестоко ошибся, этот молодой человек. Это и была японская армия, которая отказалась от старых способов ведения войны.

Армия проникла в джунгли; оставив свою обычную форму, она шла в трусах и без единого автомобиля. Англичане ждали появления длинных автоколонн, а в джунглях пробирались по коленам в воде, по невидимым тропинкам бойцы, которые несли на себе патроны, легкое оружие и питались тем, что пошлют джунгли. У них были таблетки, которые они кидали в стакан болотной воды, и эту воду можно было пить, потому что таблетки убивали всех микробов. Бойцы несли неприкосновенный запас — рис и консервированные овощи. Эту пищу не стал бы есть ни один английский солдат. Впереди японцев шли разведчики и люди, которые ненавидели англичан. Они провели японцев к самому Сингапuru. Молодому человеку, которому казалось, что он видит неприятный сон, пришлось убедиться,

что сон перерос в кошмар, потому что японцы в самое короткое время разгромили все английские силы и вступили с распушенными знаменами в Сингапур, сначала отрезав крепость и город от источников пресной воды. Английский гарнизон капитулировал, и молодой человек проснулся от кошмара к самой страшной действительности.

Японские империалисты — люди непомерной злобы и хитрости. Им не нужны были десятки тысяч пленных белых — англичан. Но надо вам представить себе, сколько сотен лет белые угнетали жителей Азии. Вы меня слушаете, вам интересно?..

— Мне очень интересно, — ответил Отто, хотя ему вовсе не нравилась эта история, но ему хотелось дослушать, куда приведет ее этот тихий маленький желтый человек.

— Японцы хотели унижить белых перед лицом угнетенных ими народов, истребить их мучительной, медленной, специально придуманной смертью. Они послали их строить через джунгли стратегическую дорогу. Войти в это царство зеленого мрака не так просто. А выйти из него целым — счастье одиночек. В зеленую тьму вступил и тот молодой человек, который жил обыкновенной беспечной жизнью белого господина, которому каждое утро приносили в кровать завтрак, каждую ночь стелили постель и исполняли его любой каприз. И вот эта армия пленных-строителей, сопровождаемая конвоем, вошла в океан джунглей. Вы их сегодня видели, лесные дебри, вы даже сделали несколько шагов по случайной тропе. Джунгли приняли вызов этих несчастных. И началось нечто, о чем никто из них не мог даже думать и воображать.

Они жили в джунглях, работали с утра до вечера, прорубали дорогу и устилали ее своими трупами. Умирали каждый день. Им казалось, что они при жизни попали на тот свет, в ад, где все пытки не имеют конца. Сколько их просыпалось с черным языком и блестящими серебристыми глазами, в сильном ознобе, с болью во всем теле, точно их ломали на куски! Это была лихорадка джунглей, коварная англичан, как будто выкашивала просто поляну за поляной; она сменялась желтой лихорадкой, которая сводила людей с ума. Бесчисленные клещи, вонзавшиеся в тело в жалких шалашах, разносили клещевую болезнь, вызывавшую расстройство памяти и буйное помешательство. Японцы просто пристреливали таких больных или отравляли их.

Джунгли переходили в наступление. Тигры похищали людей, отошедших в сторону от дороги, леопарды ходили по лагерю ночью, загрызая спящих на месте или утаскивая в сумятице и панике, вызванной их нападением. Мошкар джунглей разъедала исхудалые, по-

крытые потом тела, представлявшие сплошную рану, никогда не заживавшую. Большие комары кусали со злостью летающих собак. С деревьев сыпались пиявки, которые всасывались в спину, в ноги, в руки, и их нельзя было оторвать от тела, ими кишела высокая трава, и ноги работающих были в кровавых ранах от непрерывных нападений этих бесчисленных врагов. Муравьи, страшные муравьи джунглей проникали всюду, пожирали съестные припасы и так кусали, точно в человека вонзались куски раскаленной проволоки. Клещей просто невозможно было извлечь из тела, они сосали кровь, как настоящие вампиры.

Тысячи потревоженных змей бросались в ярости на работающих, и бывало, что весь лагерь, не выдержав этих ужасов джунглей, съедаемый ими, в кровь и в рубище, оставляя мертвых в коричневой жиже болот, устремлялся в паническое бегство, и даже безжалостная стрельба стражей по людям не останавливала бегства.

И сами охранники приходили в ярость и иступление. Тогда власти отзывали на время работающих, и в эти места посылались самолеты. На бреющем полете они сбрасывали бомбы, которые рвали, крошили на куски джунгли, валяли вековые деревья, убивали диких зверей, распугивали их. Потом с самолетов спускали бомбы с ядовитыми газами, чтобы заставить зверей и гадов бежать из своих убежищ. И снова люди шли в джунгли, и все начиналось сначала.

Потоки дождей валили с ног ослабевших, голодных, обезумевших от этого непрерывного ада мучеников. Японцы глядели на них со злорадством. Мы долго были господами цветных, и вы смотрели, как они работают для нас, теперь сами испытайте на себе всю прелесть империалистического рабства. Вы слушаете меня, интересно?..

— Интересно, — сказал мрачно Отто, — чем же это кончилось?

— Несколько раз отступали из джунглей, отступали перед зверями и змеями, встретив такие дребни, которые страшнее всех лихорадок и мучений. И снова принимались бомбить и отравлять газами чащу. И снова мертвые лежали вокруг, и их даже не успевали хоронить. Их бросали по ночам подальше в чащу, и гиены или шакалы кончали с ними к утру.

Теперь вы представляете себе, что испытывал молодой человек из Сингапура, стоявший с лопатой в руках по колено в грязи джунглей, осыпанный пиявками, слышавший рев леопарда ночью рядом со своим шалашом, вытаскивавший из-под мышек клещей, сражавшийся с гадами, со всех сторон угрожавшими ему... что испытывал он под окриком японского унтера, который считал себя по

меньшей мере раджей в сравнении с этим белым, почти потерявшим человеческий облик...

Но и молодой человек, вспоминавший теперь прошлое, как видение другого мира, конечно, не раскаивался во всех грехах империализма, в которых был повинен и он, ведя жизнь господина, каждое повеление которого было законом, и если у него еще были какие-то душевные силы, то эти силы спасали его не раз в трагические минуты полного распада сознания и усталости, которой нет имени.

Но когда маленький, с глазами сумасшедшей болотной крысы японский тюремщик ударил его бамбуковой палкой и раз и два, он больше не видел ничего, кроме этого перекошенного лица из старой желтой кожи, оскаленного рта и пены на губах. Он вырвал у него палку, одним ударом свалил палача в грязь и заставил его хлебнуть грязной жижи, а потом прыгнул, как прыгают в пропасть, в глубины джунглей, и гром выстрелов вслед ему прозвучал, как голос из далекого мира, с которым у него нет больше ничего общего. Точно он умер, и тело само по себе, еще по инерции продолжает двигаться, а дух уже свободно парит в вершинах этих лесных великанов, до которых не достанешь глазом.

Что он пережил, бродя в джунглях, передать трудно. Когда он вышел на нас, он не был похож на того молодого человека, с которого началось мой рассказ...

— А что вы делали в джунглях? — спросил Отто, кусая губы и чувствуя, что попал в трудное положение. Он слышал и дома рассказы о так называемых лагерях смерти, но здесь было нечто другое...

— Мы были партизанами, которые встали против угнетателей бирманского народа. Мы мстили за его мучения и, как могли, уничтожали японских палачей. Мы долго не могли привести в себя этого молодого человека. Мы отвели его на нашу лесную базу; он с трудом пришел в себя, его долго лечили. Когда он отдышался, он рассказал, что с ним произошло. Мы знали об этой дороге. Много угнетателей уложили наши пули в джунглях. Мы были хозяевами этих дебрей, и даже ответные головорезы из врагов боялись встречаться с нами.

— А англичанин? Что случилось с ним дальше?

— Он уже не мог вернуться к нормальной жизни. Он был уже не в себе. Он много рассказывал о прошлом. Но продолжалась борьба. Война шла всюду, и в джунглях тоже. Мы знали, что пленных, строивших дорогу, мало уцелело. Англичанин с каждым днем становился все слабее. Наконец джунгли добились его. Он умер, и мы его похоронили в сухом, хорошем месте... Он сражался вместе с нами. Он умер нашим другом,

— Как его звали?

— Он не назвал своего имени. И только сказал, умирая, когда я спросил его, кого известить о его смерти, он сказал серьезно: «Все человечество!» Я подумал, что он бредит, но он снова приподнялся и, сжав мою руку, добавил, как в лихорадке: «Напишите на могиле: здесь лежит неизвестный англичанин, который хочет, чтобы история его жизни была широко известна всем людям на земле...» Вот почему я познанил вас с нею, раз судьба свела нас в сердце джунглей, у пятого поворота этой дороги...

— Зеленая тьма, — повторил не без вдоха Отто. — Да, это так. Печальная история для белого человека...

— Я думаю, что она была бы печальна и тогда, когда в ней участвовал бы человек желтой или какой-либо другой кожи, — сказал У Тин Бо.

Отто не успел ответить. Шофер издал знакомыми показывал, что можно садиться. И когда они сели, бирманец не продолжал разговора. Он только посмотрел на часы и сказал:

— Мы приедем прямо к обеду.

Машина снова помчалась через джунгли. Махали и махали со всех сторон зеленые ветви, точно провожали едущих, но совсем другими глазами смотрел теперь Отто Мюллер в то светлеющую, то почти зелено-черную лесную тьму, пронизывшую мимо него. Так они ехали долго. День начал потухать, когда резким поворотом машина вырвалась на холмы. За ними вставали серые с зеленым горы, а внизу в листве замелькали серебристые и красные кришки небольших домов.

— Я сойду в самом городке, вас шофер доведет до дома, где вас ждут. Потом попозже я зайду к вам, когда вы пообедадите и отдохнете с дороги. О делах мы поговорим завтра...

И машина проехала через маленькое местечко, которое как бы спряталось в гуще большого букета — так много вокруг было цветущих белыми и лиловато-желтыми цветами деревьев.

Отто Мюллер, вымывшийся, побрившийся, переодевшийся в чистый, просторный колониальный костюм, сверкающий белозной накрахмаленной рубашки, с бедным галстуком и манжетами, в которых светились голубые узоры запонки, сидел за обеденным столом, таким же чинным и знакомым, как будто он никуда не уезжал из Дюссельдорфа и не было этого длинного, чрезмерно пестрого пути через моря и страны.

И по бокам его сидели два важных господина, вполне пожилых и порядочных, со свежесбритыми щеками, тоже в накрахмаленных рубашках, легко касались различных блюд вилками различной величины, как полагалось по этикету средневропейского стола. Он слушал их, и в его глазах светилась и предан-

ность этим старым немецким характерам, и гордость, что он вызван ими в такую далекую страну, и что они будут советоваться с ним, как со специалистом, и он будет жить размеренной, насыщенной всеми благами и радостями жизнью, как... «Как молодой человек из Сингапура», — подсажал кто-то из глубины памяти.

Чепуха! Лукавый спутник-инженер выдумал эту историю, чтобы напугать его. Отто Мюллера, человека из военной семьи; его дядя был известен лично самому Роммелю, полководцу, которого уважают даже враги.

Обед был сервирован на террасе небольшого дома, где жили специалисты; теперь здесь будет жить и Отто. Дом стоял на высоких столбах. Из сада на террасу вела лестница, похожая на трап; по такому трапу поднимаются на палубу какого-нибудь речного парохода. Почтенные хозяева уже объяснили Отто, что так здесь строят дома во избежание сырости, наводнений и от нашествия разных гадов, которых тут довольно много, и от них стоит принимать меры предосторожности. На столе горели свечи, не потому, что в доме не было электричества, но старики потребляли уют. Действительно, желто-розовое пламя, вокруг которого кружились дымными стайками прозрачные разноцветные мошки, напоминало какие-то идиллические времена, какие-то воспоминания ронлись в теплом воздухе, и, запивая вкусным французским коньяком душистые яства, приготовленные местным поваром с поправкой на европейский вкус, то есть с известным послаблением по части перца и дурманящих и обжигающих горло соусов, можно было предаваться беседе, забыв о далеком северном городе, где сейчас мартовская слякоть и холодный ветер несет ключую труху в красные лица озабоченных пешеходов.

Уже за первым были обсуждены все вопросы, связанные с приездом Отто, переданы приветы от дяди своим друзьям в тропических краях, рассказаны последние западногерманские анекдоты и новости политической жизни. Сообщены сведения о знакомых, упомянуто про письма, которые он привез. Отвечено на вопросы, как он летел и что с ним было в дороге. Старинки — умницы, они все понимают, недаром старые вояки! Правда, Отто не помнит их в военном, но дядя показывал их портреты, где они были в полной боевой амуниции. Да, жалко, что ему было только четырнадцать лет тогда, когда война кончилась так внезапно... Русские взяли Берлин, союзники вошли в его родной город — Дюссельдорф. Дальше нечего было делать... Какие безвыходные времена, как им было с дядей худо! А вот опять все как будто ничего. И дядя на пенсии, и он на настоящем пути. Молодой человек из Дюссельдорфа, а не из Сингапура, да, как бы ни

намекал хитрейший У Тин Бо. Никакие джунгли ему не страшны. И Хильдегарда получит свой рубин, опал, лунный камень и изумруд и сумочку из крокодиловой кожи! Обязательно получит! Немного лишнего пьют эти два старичка, но ведь они бывшие военные. Воображаю, как они кутили в дни побед. Один, правда, был на русском фронте, — ох, там и морозы, где бродят белые медведи! — зато другой испытал весь жар пустыни в африканском корпусе.

Слуга появлялся, как привидение. Бесшумно приносил он тарелки, убирал ненужные вилки и ножи со стола, менял салфетки, наливал ледяную ананасную воду, раскладывал мясо и гарнир, кланялся и бесшумно исчезал, точно уходил в стену.

Отто знал — он не впервые обедал с такими гордыми, немного напыщенными стариками, — что они должны закончить стол разговором о самых высоких предметах. К сладкому они раскачивались для высказываний такого иногда фантастического порядка, что их нельзя выносить ни в какую аудиторию, кроме домашней.

Старики насытились. Они были живописны. У них были розовые, теплые щеки, глаза блестящие, сухие губы точно тронуло акварельной краской, седые волосы стали казаться более густыми, уши заметно покраснели.

— Я хочу продолжить вчерашний наш разговор, — сказал Хирту Ганс фон Шренке. — Ну почему ты не хочешь видеть, что смена владельцев этого азиатского наследия вполне естественна? Посмотри в сухие страницы истории, и они тебе ответят самым красноречивым, самым научным образом. Разве португальцев не сменили голландцы в этих тропических краях, а голландцев — французы и французов — англичане? А где теперь англичане здесь, на Востоке? Здесь мы и американцы. Я знаю, ты скажешь, что надо читать в другом порядке: американцы и мы! Изволь, отдам должное твоему педантизму в серьезном вопросе. Но разве не естественно нам, немцам, прийти сюда? Именно не с армией. Сейчас не нужен Роммель, чтобы сидеть нам вот за этим столом. Война перешла в экономические действия. Мы еще будем иметь победу. Азия есть Азия! Мы специалисты. Что эта или другая страна Азия без специалистов? Будущее этих стран в наших руках... Ты согласен, Отто?..

— Совершенно согласен. Только сегодня в дороге я сказал моему спутнику, туземному инженеру, что выше германских специалистов нет никого на свете. Даже американские атомные и всякие другие бомбы сделаны ими. Это не секрет...

— Вот видишь! Молодое поколение того же мнения...

— А если, Ганс, они все же столкнут-

ся? — сказал Генрих Хирт, странно вытянутая голова которого напоминала редьку.

— Кто они? — спросил Шренке, беря зубочистку из маленького граненого стаканчика.

— Советы и США! Мне страшно представить это столкновение, похожее на землетрясение, от которого покачнется мир. Но если оно произойдет, на чьей стороне будет тогда старый воин, неустрашимый Ганс фон Шренке, носитель многих орденов, гроза пустыни?

— Я думаю, что не может быть другого ответа. Мы цит Запада, и мы должны снова встать против сил Востока. В моей юности кайзер Вильгельм нарисовал сам — он был букет талантов — картину, изображавшую желтую опасность, опасность с Востока. Там, на горизонте, сидело чудовище вроде будды, и шел вал огня и истребления. А на горе стояли все европейские страны в виде женщин со щитами, как валькирии, и впереди всех Германия, закрывая щитом Европу против новых нашествий. Так должно повториться! И сегодня в Европе нет ни одной армии, которая имела бы свойства и силу германской. Бундесвер — единственная защита всех европейских стран, единственная! Все в страхе, все боятся, одни мы сидим в седле!..

Он засмеялся, бамбуковое кресло под ним затрещало, когда он приподнялся, чтобы взять зажималку, лежавшую на отдельной тарелочке.

Шренке отрезал ножичком кончик сигары, сложил ножичек, светлый всплеск зажималки походил на вспыхнувшего внезапно мотылька. Огонек осветил хмурые, собравшиеся вместе седые брови.

— Я тебе скажу фантастическую вещь, и ты не отвергай ее сразу. — Генрих Хирт помолчал, ожидая, когда бесшумный слуга исчезнет, поставив на стол фрукты. — В случае этого катаклизма мы должны идти вместе с Советами...

— Я, по-видимому, стал плохо слышать. — Шренке даже вытянулся в сторону говорившего. — Если можешь, повтори, что ты сказал...

— Мы должны идти вместе с Советами...

— Почему? — спросил еле слышно, как будто из другой комнаты Шренке.

— Послушай меня. Ты сам знаешь, что катастрофа, которая разразится, не будет даже походить на то, что было в Европе сорок пятиого года. Все будет серьезнее и масштабнее. Мы знаем новые разрушительные средства. Их силу, их действие. Все материнки пострадают серьезно. Я не верю, что человечество исчезнет или будет обречено на вымирание. Оно не исчезнет. Ведь и в Германии во время Тридцатилетней войны и после волки ходили по дорогам, а чума уносила жертвы в городах, откуда бежали жители. Все было! Будет и здесь всякое! Но главное — будут руины и необходимость организовать восстановление.

Если победят американцы, то в этом мире будут господствовать только они. Они не пустят никакого чужестранца к этому выгодному всемирному предприятию. Только американский инженер, только американский предприниматель!.. Но если победят Советы, какие понадобятся организаторы для восстановления разрушенного в мире! Кто отказывается и отказывался от германского специалиста? К нам обращались в первые годы Советов коммунисты из России. К нам обращаются сегодня страны Азии и Африки и все, кто хочет организовать у себя свое производство. Кто откажется тогда среди руин и растерянности от наших услуг? И мы выйдем спасти человечество, когда огонек цивилизации будет едва тлеть. Мы раздуем его...

— Но ведь коммунисты не позволят тебе заняться этим восстановлением, как и американцы...

— Нет, — воскликнул Хирт, — ты ошибаешься. Они будут просить нас, а мы... мы охотно придем им на помощь, потому что тогда мы все будем коммунистами...

— Ты бредишь, это пахнет уже юмористическим фантастическим рассказом. Чего ради мы станем коммунистами?..

— Не все ли равно, как мы будем называться, когда мы станем во главе всемирного восстановления человечества? Ты забыл, что наши предки, сражавшиеся с языческими римлянами ради своих богов, спокойно стали христианами и ничего не потеряли, только выиграли. Мы лучшие организаторы, в этом ты прав, но единственный выход в случае катаклизма может быть только таким...

Шренке молча сосал сигару. Окутанный синим дымом, он сидел, напоминая Отто рангунских будд, окутанных синим тяжелым дымом толстых сигар-черутта, которыми дымили в лицо бога прелестные женщины в белых прозрачных кофточках и синих длинных юбках.

И вдруг Отто стало не по себе. Наверное, это сказывалась все-таки усталость непрерывного, долгого пути. Он поднялся и поклонился, когда замолчали оба старых доморощенных философа.

— Прошу прощения, но я хочу немного заняться своими чемоданами, разобрать вещи... Благодарю вас, я пойду...

— Иди, это правда, мы тут разговорились, а ты с дороги, — сказал, отнимая сигарету от мокрых губ, Шренке.

Хирт приветливо помахал ему большой жилистой рукой.

Отто прошел к себе в комнату, долго разбирал вещи, развешивал костюмы, рассортировывал разные мелочи и, кончив со всем этим, вышел в сад и обошел дом, чтобы подышать неизвестным ему запахом какого-то слад-

ко, удивительно тонко пахнущего дерева, в ветвях которого блестили большие, широкие, как розы, цветы.

Под деревом стояла скамейка. На ней сидел человек. Подойдя, Отто не сразу узнал сидевшего. Но когда сидевший поднялся, он увидел, что это У Тин Бо.

— У Тин Бо, вы хотите видеть инженеров? Они сидят на террасе.

— Я пришел сказать, что заседание завтра откладывается на после ленча: наши специалисты запаздывают. Самолет сделал вынужденную посадку. Вы знаете, есть старые самолеты. Они уже устали летать. — Он улыбнулся, показав острые, мелкие зубы.

— Мы тоже могли сесть, потому что и наш самолет имел довольно усталый вид, — сказал Отто, садясь рядом с бирманцем на скамейку. — Я хочу вас спросить вот о чем. Сегодня вы мне рассказывали про дорогу, которую японцы строили через джунгли. Но вы мне не сказали, была ли дорога построена.

— Была, — ответил У Тин Бо, и теперь у него засветились не только зубы, но и глаза.

— Вот видите, значит, дорога все же была построена!

— Конечно, вы же стояли сегодня на одном из ее участков.

— Я не понимаю вас, — сказал Отто Мюллер, чувствуя, что в этом неожиданном матче он получит какой-то странный нокдаун.

— Вы стояли, — сказал тихо и медленно У Тин Бо, — в лесу на тропе, на том самом месте, где проходила дорога...

— Не может быть, — сказал Отто Мюллер громче, чем хотел, — что же случилось?

— Японцы вернулись в Японию, уцелевшие англичане — в Англию, джунгли вернулись к себе домой...

— И никакого следа...

— Вы видели! Прошло больше десяти лет! Тропа, которую мы с вами видели, исчезнет через несколько дней...

Что-то задрожало внутри Отто Мюллера. Точно все деревья вокруг вместе с домиком, видневшимся недалеко, стали уменьшаться до игрушечного размера.

Он поборол это темное смущение.

— Скажите еще, — спросил он с внезапной строгостью, точно допрашивал. — Этот английский молодой человек из Сингапура сам все рассказал, или вы за него все придумали?

— Сам, я не прибавил ни одного слова. И слова, что он просил написать на могиле его...

— Они существуют?

— Да, как и могила! Но она далеко отсюда. Она в джунглях. Почему вам показалось, что я рассказываю вам выдуманную историю?..

— Меня смутили джунгли, должен вам сказать. Я даже могу вам признаться, что там,



в лесу, меня охватил на мгновение, правда, только на мгновение, страх, липкий, противный, гнусный страх. Но я его прогнал...

У Тин Бо помолчал. Потом он встал и сказал:

— Прощайте, до завтра! Скажите вашим шефам, что заседание откладывается. Что я скажу вам: вы идете в зеленую тьму! Вы смело шагаете, но вы не знаете нас, как не знаете джунглей. Не надо идти по старым следам. Они часто приводят в никуда. Не повторяйте истории молодого человека из Сингапура, молодой человек из... не все ли равно, откуда. Прощайте! Покойной ночи!

И он ушел, растворился в темноте, этот маленький, похожий на металлического кузнеца человек с железными нервами, который вверх в смятение Отто Мюллера. Отто пошел к дому. Подходя к лестнице, он услышал голоса наверху. «Господи, старики еще тараторят, как старые бабы», — родилась в нем еретическая, мятежная мысль, но она не могла не родиться. Старики действительно говорили, сидя за столом, попивая виски с содовой и дыма сигарами, так что над террасой плавало лилово-сизое облако, в котором кипела, пропадая, разноцветная мошкара, летевшая к зазывающему огню свечей, воткнутых в подсвечники, помнившие времена допотопной Виктории.

Когда он подымался по лестнице, его кликнули:

— Это ты, Отто?

Он ответил и прошел в дальний угол террасы, где стояло такое удобное, широкое бамбуковое кресло, что он, не колеблясь, погрузился в него и, что делал страшно редко, только когда на него находило смятение чувств, вынул из кармана трубку, набил ее крепко табаком и начал курить, как курят любители: бестолково, неритмично затягиваясь, покашливая и непрерывно зажигая ее, так как она гасла все время.

До него долетали теперь яснее, чем снизу, голоса двух стариков, лица которых он видел какими-то неестественными, дряблыми, сизыми и шершавыми. Их волосы казались приклеенными. Руки были красные, в синих жилах. Старики просто купались в дыму. Голоса их звучали так ясно в спокойном воздухе, точно он сидел с ними за столом.

Говорил Шренке:

— Ты никогда не был в пустыне, Генрих. Ты не можешь себе представить черные скалы в белых, как сахар, песках и светло-желтые дали. Солнце не печет, оно бьет человека, как будто тяжелым, горячим мешком. Я вылез из броневтомобиля, чтобы ориентироваться. Я зашел за песчаную дюну и осмотрелся. Тель-эль-Мампсра горела. Черный дым стлался по песку. Мне казалось, что времена я

вижу даже бледные столбы пламени. Я взглянул в другую сторону. Танки шли черной подковой, будто намеченной в песках пунктиром. Это не могли быть наши. «Это англичане!» — закричал я и бросился за дюну: ты можешь представить мое состояние. Мой броневтомобиль исчез.

Вокруг был раскаленный песок, дым горащей Тель-эль-Мампсры на горизонте и черные машины, которые приближались, как на экране. Только мгновение я стоял, не веря происходящему. Потом я побежал. Никогда в жизни я не бегал по такому глубокому, тяжелому песку. Я падал, я могу тебе сознаться, дорогой, что было искушение кончить все одним выстрелом. Я падал, проваливался по колени и лежал, дыша, как рыба, выброшенная на берег, и снова подымался и видел, как неумолимо, как страшно медленно приближаются танки. Я спотыкался, рот мой был полон песчаной пыли, в ушах гуло. Раз даже с тонким свистом над моей головой прошел снаряд, не знаю, в кого целивший. Я даже не слышал его разрыва: так я был возбужден. Сердце прыгало как бешеное. Я упал на песок и лежал. И вдруг я услышал рокот мотора. Я бросился на этот рокот. Мне показалось, что звук мне знаком. И тут на меня пошел бронетранспортер. Я вынул пистолет, чтобы не сдаваться. В висках стучало. Как я бежал! Из бронетранспортера меня окликнули. Я опустил пистолет. Ко мне прыгнул его дядя, этого Отто, мой старый Ганс. Мы обнялись. «Ты герой!» — кричал он мне, показывая на пистолет. Он думал, я иду в атаку на английский бронетранспортер. Я не сказал ему, в чем дело. Я только спросил: «Ты видел, как я бежал?» — «Нет, — сказал он, — тебя скрывала дюна. Но давай скорее. Надо отходить на Фука. Если Роммель жив, еще не все погибло». Да, у меня даже бывает род кошмара, когда мне снится, как я бегу, изнемогая, и песок все выше, и я все больше изнемогаю, и просыпаюсь весь в поту...

— Это сердце, это годы, — отвечал Хирст. — Ты хоть убежал, а я нет...

— Да, я знаю, — проговорил тихо Шренке.

— Ты бежал в ослепительном свете тропического солнца, по раскаленной пустыне, а я... Если бы ты знал, что за тоска зимний военный русский лес, ты бы на всю жизнь перестал смеяться. Белые, как смерть, сугробы снега, мороз, который убил землю, лес, людей, все живое. Нельзя отдохнуть — больно горлу, щеки обжигает, как огнем. Не помогают ни шарфы, ни перчатки. И, кроме того, тьма, проклятая тьма, вьюга метет, ничего не видно в двух шагах. Проваливаешься в какие-то ямы, куда идти — невозможно разглядеть. Разрывы снарядов ослепляют еще больше. Облака снега

крутятся вокруг тебя. Я пошел проверять цепь — русские были уже на этом берегу Невы. Я не нашел из своих никого. Лежали двое убитых, их засыпал снег. Снаряды рвались всюду. Бои шли по дуге, и казалось, что уже никого в живых нет в этом страшном лесу, где елки стояли, как белые медведи, растопырив снежные лапы. Я искал своих, я нашел унтер-офицера, и он сказал, что наши еще есть — направо, и он повернул туда. Я сказал, что, судя по следам, налево прошел танк, но чей? Если русский, то мы в кольце. Я пошел, проваливаясь в снег. Мне было так тяжело, что, когда я увидел дом, жалкий брошенный дом, я вспомнил, что там должен быть пункт связи. Я распахнул дверь, и меня обдало снегом и снежной пылью. Половину крыши сорвало снарядом. Сугроб с крыши обвалился внутрь. В той половине, где еще сохранилась крыша, стоял стол; на нем был разбитый полевой телефон, оборванный провод и перед столом кожаное кресло. Откуда оно взялось в лесу — не знаю. Я сел в это кресло и закрыл глаза. Когда я снова услышал стук двери, я спросил, не подымая головы: «Это ты, Фриц?» — так звали унтера... В ответ я услышал сказанное на плохом немецком языке: «Кто вы?»

Я встал. Передо мной стояли люди в полушубках. Один из них направлял на меня автомат, другой заглядывал в разрушенную часть дома. Но третий был широкоплечий и спокойный, по-видимому, командир. Это он повторил свой вопрос: «Кто вы?»

«Я командир батальона», — сказал я. Мне ничего больше не оставалось.

Человек в желтом полушубке (у тех были черные) сказал: «Где же ваш батальон?»

«Об этом я хотел бы узнать у вас», — ответил я.

Он засмеялся вдруг совершенно мирно, а я отступнул и положил на стол свой пистолет. Вот и все... Дальше, в плену, я долго помнил подробности этой ужасной зимней прогулки в русском мертвом лесу... О, я не хотел бы пережить это еще раз...

Отто слушал нехотя, но слова долетали до его уха и вызывали какую-то тревогу, непонятную ему. Чего старики разоткровенничались?

Он услышал голос, похожий на скрип двери. Это говорил Шренке:

— Ты сделал, по-моему, единственную ошибку в моем затруднительном положении...

— А именно? — спросил глухим голосом Хирст.

— Ни к чему было отвечать им и говорить, что они знают, где твой батальон. Твой батальон геройски погиб...

— Ты хочешь сказать, что я...

— Нет, ты меня не понял. Тебе надо было сказать этим белым или красным медведям: «Мой батальон погиб геройски...»

— Но он не погиб геройски...

— А где же он был?..

— Часть его бежала, часть была уничтожена, часть сдалась в плен...

— Да, да, — сказал Шренке, — как давно это было... Как давно! Кто из нас тогда мог предполагать, что мы будем сидеть вот такой теплой ночью в этих удивительных краях... Какая изумительная тишина, какие звезды! Посмотрите, это какая-то зеленая тьма...

Отто поднял голову. Он встал, прошел к перилам и облокотился на них. Где-то в другом мире далеко-далеко от него горели свечи и две старые головы, повернувшись в профиль, не двигались, точно прислушивались к чему-то, что надвигалось из этой зеленой тьмы.

А зеленая тьма все густела и густела, подбывая все ближайшие деревья и кусты. Она двигалась на дом, и Отто показало, что сейчас она, как волна, подымет и скроет его в своих зеленых недрах. Он закрыл глаза, точно почувствовал прикосновение этой тяжелой волны. Она уже тронула его плечо. Он вздрогнул.

— Это я, — сказал ему старый Шренке, положив свою морщинистую руку ему на плечо. — Пора спать, Отто! В такую ночь можно получить малярию. Вон сколько вьется комаров, коварные твари, эти анофелесы!.. Иди спать, мальчик!

— ...из Дюссельдорфа, — сказал почти резко Отто.

Старый воин чуть отодвинулся.

— Что ты сказал?

— Я сказал: мальчик из Дюссельдорфа!

— Ах да, правда, ты ведь из Дюссельдорфа. Ну, все равно иди отдыхать. Мы славно посидели сегодня, не правда ли?

## ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

### ПОВЕСТЬ

Если жизнь людей большого, зеленого острова, именуемого с незапамятных времен Ланка, но более известного под именем Цейлона, в пятидесятых годах двадцатого века во многом

изменилась, то природа острова, климат его не удивляют никакими неожиданностями.

Так же как и в былые времена, температура воздуха понижается с приходом муссонных

дождей, начиная с июня, и неизменно повышается в марте, когда солнечные лучи падают отвесно, нестерпимо накаляя к полудню кирпично-красную землю, перед тем как на нее обрушится быстрая, шумная стена грозового ливня.

Так повторяется каждый день, к великой радости коренных обитателей этой древней земли. Так же как декабрьские и февральские дожди очень нужны чайным плантациям горных районов, — эти ослепительные, звонкие ливни марта просто необходимы для рисовых полей, в пору их подготовки к новому севу.

Но это касается полей, а в городе есть другие заботы. Миссис Айлен Броуден стояла на большой, открытой террасе своего старого дома и рассеянно смотрела на давно знакомую улицу, с ее привычными оградами и садами, на однообразные, выплывшие крыши невысоких старых домов, невыразительных, скучных, похожих, как близнецы.

Раннее мартовское утро, как всегда, было жарким. На другой стороне улицы, на краю заросшей канавы, в тени, прислонившись к садовой ограде, сидел рикша в серой заносенной соломенной шляпе, в потерявшей цвет, выгоревшей на солнце, мятой курточке без рукавов, на которой у правого плеча ярко блестела большая круглая бляха с номером.

Он курил сигарету, осторожно затягиваясь, а плотный, невысокий человек, с шафрановым лицом метиса, небрежными движениями молча наполнял его пустую коляску с опущенным верхом всевозможными вещами. Он появлялся из двери в ограде, нагруженный пакетами, тючками, мешками, всевозможными свертками, не говоря ни слова, и, не обращаясь к рикше, бросал их как попало друг на друга в коляску, и снова исчезал, чтобы через минуту появиться с новыми вещами.

Рикша, полузакрыв глаза, равнодушно смотрел, как суровый метис с презрительной поспешностью, точно желая поскорее отделаться от грязной работы, набросал целый маленький холм, и казалось, стоит тронуть коляску, все эти тючки, мешки, пакеты, свертки как на крыльях разлетятся во все стороны.

Метис, бросив последний пакет и поставив еще большую корзину поверх всего, обернул руки о бока своего белого, плотного комбо, что-то быстро и повелительно сказал рикше и пропал за оградой, крепко хлопнув дверью.

Рикша не спеша докурил сигарету, сплунул окурком в канаву, поднялся с земли и медленно, как бы разминаясь, пошел к груде бесформенного багажа.

Потом он с удивительной быстротой начал снимать все вещи с коляски. Он снял корзину, разобрал пакеты, отсортировал тючки, сложил в сторону мешки. Опустошив коляску до самого

дна, он с искусством жонглера начал подбирать вещи так, чтобы они ложились плотно, аккуратно, одна к одной, он распределял их по весу и объему, делал между ними прокладки из мелких пакетов. Снова вырос холм вещей, но теперь это было аккуратное, незбылемое сооружение.

Стянув его тщательно веревкой, он встал перед коляской, еще раз взглянул на нее, нагнулся, подхватил длинные узкие оглобли, положил на них руки, так чтобы пальцы правой руки были около звонка, укрепленного на оглобле, шатнул коляску и, подавшись чуть назад, вдруг примерился и сразу взял с места, рванул и пошел, все ускоряя шаг и переходя в бег.

Проводив рикшу глазами, миссис Айлен Броуден вздохнула. Если бы так искусно можно было распределить тяжесть своих дней, чтобы вещи потеряли свой злой, тяжелый вес.

У нее была плохая ночь. Очень плохая ночь. Опять ее замучили боли. Тяжелые мысли и эти боли прогнали сон. Она не могла спать от мучительного ощущения, как будто ее колот раскаленными иглами.

Измученная, она бродила по всему дому. У нее замирало сердце в этих пустынных ночных комнатах. Под высокими потолками шуршали ящерицы. Вздрагивая, шуршали фены. Сквозняк шевелил листы бумаги на письменном столе покойного доктора. В рабочей комнате холодно сверкали металлические приборы, инструменты в стеклянных ящиках, колбы и микроскопы. В другой комнате рояль под коричневым чехлом походил на дремлющего слоненка, вставшего на колени. Пустые кресла и стулья напоминали о людях, когда-то посещавших дом. Кровати с кисейными пологам, опущенными до полу, вызывали в памяти тоскливый писк москитов. Большие книги на полках казались мертвыми темными кирпичами.

Все было чисто, опрятно, и от этого еще больше веяло одиночеством и печалью опустошенного жилища. Тот, кто привык видеть Айлен Броуден веселой, всегда приветливой, дружелюбной улыбающейся, никак не признал бы ее в этой согнувшейся от боли женщине, сжимавшей зубы, чтобы не закричать от нестерпимой муки.

Она боялась таких ночей и дрожала перед ними, хотя всегда была мужественной в жизни. Кто такая Айлен Броуден? Вдова известного доктора Генри Броудена, умершего недавно от жестокой тропической лихорадки в научной экспедиции в Новой Гвинее.

Единственный их сын Эмрис погиб в джунглях Ассама, защищая Индию от японцев во время второй мировой войны. Брат — наивный человек, искал справедливости и законности, перессорился со всем начальством, и ему ничего не оставалось, как начать пить, курить опиум, бросив службу, умереть, раствориться в

дебрях каучуковых плантаций Саравака, среди непроходимых тропических болот. Все они так или иначе исчезли, оставив ее одну перед лицом неизвестной болезни, которая все больше приобретает власть над ней.

Такие ночи, как вчерашняя, стали повторяться все чаще. Но к утру миссис Айлен являлась бодрой, обычной, такой, к которой привыкли друзья и знакомые и которая скорей бы умерла, чем показала себя несчастной на людях.

К утру ей стало лучше. Она даже немного забылась, подремала, приняла душ, долго сидела перед зеркалом, наводя порядок на свое измученное лицо, и как хозяйка вышла на террасу навстречу дню.

Все было как всегда. На бледном молочно-голубом небе шевелились легкие бледно-зеленые вырезные ветви кокосовых пальм. Рядом она видела садовника, косившего траву на дворе соседнего участка.

Эта трава выростала каждое утро, и каждое утро садовник выкашивал ее. Если бы он не косил ее, весь круговой подъезд к парадному входу дома зарос бы высокой травой. Каждый день садовник косил траву. Остановись он — прекрати свою ежедневную работу, — неумолимое время промчится дальше, и трава забвения все покроет своей зеленой, спокойной пеленой.

Очнувшись от своих невеселых мыслей, миссис Айлен только теперь ясно услышала крик, который она и раньше слышала, как только вышла на террасу, но он как-то не доходил до ее сознания. За углом террасы неистово кричали вороны. Они каркали на разные голоса, как будто хотели привлечь к себе внимание этим черным многоголосьем.

Вороны — привычные на острове, самые нахальные, крикливые, неугомонные птицы. Но кто обращает на них внимание? Их всегда много у моря, там, где порт, пароходы; на берегу, где склады и где всегда им может что-то перепасть. Да они и рыбу ловят, как чайки, прямо из волн. А почему они кричат сейчас, здесь, рядом с домом? Какой содом!

Она перешла на самый край террасы, откуда был виден маленький дворик, посреди него росла старая вельможная магнолия. Там были разные сарайчики, пустой небольшой водоем, несколько кактусов и агав и прижившийся случайно куст дикой лантаны с ее густыми, пронзительно-розовыми цветами.

Рядом с пустым водоемом, под темно-лаковыми листьями пышной магнолии, посреди дворика лежала на спине, раскинув крылья, большая черно-серая ворона. Вокруг нее ходили, бегали по дворику, сидели на ветвях дерева, непрерывно каркая, десятки больших и малых ворон.

Каждую минуту подлетали новые птицы. Айлен ничего не понимала. Кто убил ворону?

Зачем? Птиц не убивают, хотя здесь их великое множество. Если она умерла от старости... Почему здесь, у нее во дворе? И почему это касается всех ворон?..

Она услышала шаги за спиной и обернулась. Перед ней стоял с морщинистыми, вальными щеками, с тонкими, почти мальчишескими руками, худой тамил, ночной сторож. С ним рядом терлась о его босые фиолетово-коричневые ноги похожая на шакала собачонка с вытертыми боками. Они всегда спали ночью вместе на одной соломенной циновке, на старом тряпье, прижавшись друг к другу, и собака мгновенно будила его, если слышала подозрительный шум.

— Что это такое? — спросила старика Айлен.

Старик смотрел на ворон и вытирал слезящиеся глаза большим желтым платком с обтрепанными краями.

— Не знаю, мэсэб. Это их дело. Прогнать их?

— Не надо, — сказала она, полная неожиданного смущения.

Вороны были так суетливы, так чем-то напоминали деловитых и печальных людей, что в голову приходили самые странные мысли. И с этими мыслями Айлен вернулась в дом. Обычный завтрак она ела без опаски, что боли вернутся. В утренние часы они ее оставляли. Она съела овсяную кашу, отказалась от яичницы, проглотила несколько кусочков желто-розовой, похожей на дыню, папайи, у которой внутри, запутавшись в волокнах, густо лежали черные семечки, съела мякоть темно-малинового мангустана и жадно выпила две чашки чаю с молоком. Вошел слуга и доложил о приходе гостя. Она попросила провести гостя в столовую.

Она еще с вечера послала ему записку, чтобы он пришел. Это был друг ее погибшего сына. Он воевал в Ассаме вместе с Эмрисом. Его звали Джон Паркс. Вошел долговязый, костистый, высокий, спортивного вида человек. Он был школьным товарищем Эмриса. Они когда-то охотились вместе на диких зверей. Он — большой знаток регби. Служит в паровой компании «Синей звезды», океанские лайнеры, контора в Форте, в Коломбо. У него жена, двое детей. Ему тридцать семь лет: он старше Эмриса на несколько лет.

Он сел за стол. Айлен налила ему чаю:

— Как жизнь, Джон?

— Обыкновенная, миссис Айлен.

— Как семья?

— В семье все здоровы, ездим освежаться к морю или, когда есть возможность, в Нувара Элию, дети растут, жена увлекается теннисом...

— Как с политикой?

— У меня нет никакой политики. Я ее давно бросил. Без нее дышать легче. Мне все равно, где жить и работать. А в остальном — ведь это

же как повезет. Слепое счастье у тех, кто ожидает, когда какой-нибудь богатый родственник умрет. А у меня нет таких родственников. И у Мод — тоже. Значит, дело в работе. Ну, а люди не оставляют старого способа сообщений. Наша линия «Синяя звезда» не может жаловаться. И пассажиры, и туристы, и товары плывут еще в наши края и через нас в Австралию, в Полинезию, в Японию, в Индонезию... Это путь обжитой. Так и живем... Вот бедному Эмрису не повезло. Как вспомню, злость берет. И война-то шла к концу. Но эти япошки перехитрили тогда нас. Мы не умели воевать в джунглях. Были, конечно, отдельные отряды, те здорово им всыпали, появляясь из таких мест, где и ожидать нельзя было. И маскировались замечательно. А мы не умели. Не привыкли. Еще индийские войска — те воевали лучше. Особенно Пятая дивизия, которая пришла позже. Япошки устроили засаду в лесу, и наши попали в ловушку. Эмрису не повезло. Но, правда, мы япошек поколотили так, что, когда их отбросили от Кохимы, они бежали через Тиз на восток, ополоумев от страха. Давно это уже было...

— Джон, я хочу вам сделать один подарок!

— Я буду очень признателен, миссис Айлен! А что именно вы хотите мне подарить? Какие-нибудь игрушки для детей?

Айлен отрицательно покачала головой, ушла и через несколько минут вернулась в столовую, держа в руках охотничье ружье. Она подала его Джону.

— Что это?

— Это любимое ружье нашего дорогого Эмриса. Он с ним всегда охотился. Я хочу в память вашей с ним дружбы, которая началась еще с детских лет, подарить его вам...

— А почему вы не хотите сохранить его на память? Оно так украшало комнату...

Айлен посмотрела на него пристально светлыми немигающими глазами. Улыбнувшись, она сказала:

— Потому что у меня бывает ночью желание покончить с собой, и это ружье очень соблазнительно. Оно может нечаянно само выстрелить. У вас ему будет спокойнее...

Джон Паркс нелепо и смущенно ухмылился.

— Вы всегда шутите, миссис Айлен! У вас всегда такое бодрое настроение... — Он рассматривал ружье. — Я знаю это ружье. Мы вместе охотились с Эмрисом. Это, конечно, не двести семьдесят пятый калибр, с каким можно убивать леопардов и слонов, но ружье стоящее. Это хороший «Вестлей Ричардс». Вы смело пошутили. Из такого ружья приятно и застрелиться. У меня нет тенденции к самоубийству, и оно пригодится в моем хозяйстве. Большой

это подарок. Я вам очень, очень благодарен. А как вы себя чувствуете?

— Прекрасно... Окруженная друзьями и хорошими людьми, миссис Айлен Броуден может поделиться своей жизнерадостностью со многими, кому не хватает жизненной энергии.

Джон засмеялся смехом уравновешенного человека: спокойствие это необходимо даже в самых исключительных обстоятельствах. Вот ведь и на охоте бывает всякое, как на войне.

— Раз, в том же Ассаме, мы хотели поохотиться на тигра. Но он никак не попадался нам. Нас утешали местные охотники: завтра он обязательно выйдет на нас. И, усталые от поисков, мы устроили попойку. Наш товарищ праздновал день рождения. В охотничьем бараке в лесу мы хорошо выпили. И когда все галдели и поднимали пьяные тосты, дверь распахнулась, и что мы увидели... На пороге — огромный леопард. Представляете себе? У нас в комнате ни одного ружья и окно, которое закрыто. Мы прижались к стене, и самые очаянные замолчали. Наступила тишина, как в строю по команде «смирно!». И что вы думаете? Мы все протрезвели, а наш леопард втянул в себя воздух, и весь наш пьяный угар пополам с дымом труб, и сигар, и сигарет ударил ему в нос. Он попятился, страшно чихнул и пропал в ночи. И тогда начался такой хохот, что, ей-богу, он был похож на истерику. Мы схватили ружья в соседней комнате, выбежали как безумные в лес, но его и след простыл. Он сцапал какую-то собаку одного шикари и смылся... А вы знаете, что на нашем Цейлоне есть пьяные слоны?

— Как? Те, что дают представление в зоосаду, они пьют? Никогда не слышала.

— Нет, те, в зоосаду, непьющие. А в джунглях, где есть еще дикие слоны. Вот они напиваются каким-то пьяным соком, приходят в такое состояние, что им ужасно хочется все разнести вокруг. Они выходят на дорогу, правда, в одиночку и вспоминают все старые обиды, совершенно как пьяные люди. И тогда они вспоминают, что их главные враги — машины, особенно грузовики, которые воняют на все джунгли грязным бензином. И такой пьяный слон валит дерево на дорогу. Перед завалом останавливается несчастный водитель, думая, что это сделал ветер. А слон, как гангстер, выскакивает из засады и начинает разносить в щепы грузовик. Счастье, если шофер сумеет быстро взобраться на ближайшее дерево. Оттуда он смотрит, как слон громит его грузовик. Лесной бродяга работает хоботом, бивнями, ногами, деревом, как рычагом, ломает машину, топчет колеса. Не успокоится, пока не превратит ее в кучу обломков...

Он, наверно, думает, что мстит какому-то слону, ставшему в руках людей неузнаваемым

и дурно пахнущим. Я раз сам напоролся на такого слона. Я ехал на легкой. Встречный шофер предупредил нас, что на таком-то километре буянит пьяный слон. Я спросил, когда он его встретил. Он сказал. Ну, я думаю, что он уже ушел. Прошло несколько часов. Я просил шофера развить на подходе к этому месту наивысшую скорость. Он мчался, как мог. И мы проскочили. Было темно. И вдруг что-то непонятное затрубило нам в уши, что-то шлепнуло за нашей спиной в машине и исчезло. Мы, оглушенные этой трубой, сначала даже не поняли, что слон хотел остановить нас и его хобот попал в открытое окно машины, — к счастью, за нашей спиной. Его рвануло, и он, боясь оставить хобот в машине, поспешно вырвал его, предварительно заорав во всю силу, и оглушил нас... А что это у вас за вороний концерт? Я давно хотел спросить, чего так разгались вороны?

Они вышли на террасу. Джон, увидев такое множество ворон, пожал плечами. Разглядев лежащую посреди дворика мертвую ворону, он шутиливо закричал:

— Смотрите, миссис Айлен, кто-то уже начал охоту, и вот трофей! Вот как дать по ним, — он поднял ружье к плечу, — сразу бы разлетелись кто куда... А чего они орут?

— Пусть орут, — сказала Айлен, тронув его за плечо. — Не надо в них стрелять. Они берут пример с людей...

Джон свистнул и сказал восхищенно:

— Ох, вы и скажете, миссис Айлен! Так скажете, как никто не умеет сказать!..

Широкоплечий, грузный, почти квадратный, похожий на боксера тяжелого веса, доктор Норман Райт чувствовал себя в доме миссис Айлен Броуден как дома. Это была очень старая дружба, не омраченная никакими размолвками. Доктор вместе с Генри Броуденом участвовал во многих экспедициях и обследованиях, знал тропики как никто, провел много времени среди глухих, труднодоступных мест, среди диких первобытных племен, населяющих такие острова, как Новая Гвинея, Андаманские, Соломоновы острова.

Сейчас он уезжал надолго в Европу, и зашел проститься с Айлен. Слуга принес чай, печенье, прохладительные напитки. Жара уже заполнила дом, налила комнаты какой-то огненной сухостью, и вороны кричали так, точно умирали от жажды.

Сидевшие за чайным столом переговаривали о всех делах, связанных с отъездом Нормана Райта в Европу, у него такое событие было не частым. Его старшая дочь кончала в Лондоне художественный институт. Из Лондона они собирались проехать к друзьям в Париж, а оттуда на Всемирный конгресс врачей в Рим. Это не такое малое путешествие, если принять

во внимание еще одно обстоятельство, что дочь собирается выходить замуж.

— Так что надо все посмотреть и принять решения, — сказал Норман Райт. — Вам ничего не нужно в Лондоне?

— Нет, — сказала Айлен, — я в свое время взяла от Лондона все, что может взять женщина, когда она молода. Сейчас у меня другие заботы и мой возраст не тот. Но я давно хотела задать вам, дорогой Норман, один вопрос, который вам, может быть, покажется странным, и я бы и не задала его, если бы вы не уезжали так надолго. Он меня давно мучит, и я хотела спросить именно вас...

— Пожалуйста, спрашивайте. — В ее голосе он уловил оттенок какого-то беспокойства. — Мы такие старые друзья, что даже если это какая-то тайна, то я нем как могила. Но я смеюсь — какие у нас тайны... Все известно, все понятно...

— Не все известно, не все понятно, Норман. Скажите, что такое, по-вашему, тропики, вот все эти окружающие нас страны, которые совсем недавно мы называли своими колониями?

Норман Райт даже улыбнулся, как улыбается серьезный человек на вопрос наивной девушки, начитавшейся книг про дикарей и приключения. Но перед ним была Айлен, старая знакомая, вдова его друга, известного доктора Генри Броудена, и, по-видимому, в ее вопросе было что-то другое. И поэтому, немного подумав, он отвечал со всей серьезностью и как бы в раздумье:

— Тропики! Видите ли, Айлен, они разные для разных людей. Для людей искусства — это чудеса и тайны, для деятелей мирового рынка, людей торговли и коммерции, банков и биржи — это неслыханные богатства природного сырья, земных недр, дешевого труда, для политиков — это большая игра, в которой играют головами миллионы людей, для туристов — праздничная поездка, отдых и удовольствие...

Все это так! Но для нас, врачей, нет праздничных тропиков, мы не играем на бирже и не участвуем в заговорах, для нас не существует восторгов праздных путешественников, ищущих острых развлечений, восторгов туристов, которые восхищаются при виде голых людей, в костюме Адама и Евы, или в неизвестных европейцу живописных одеяниях. Для нас, врачей, тропики полны больных и голодных людей, живущих в тяжелых, антисанитарных условиях. И те, кто считает себя господами, так же, в сущности, больны, как и последние нищие, но больны по своей вине... В этих краях вся природа ополчается против людей. И в воздухе, и в траве, и в лесу — всюду вредные, очень вредные бактерии...

— И они ведь не похожи на европейские, эти злешные болезни? — сказала Айлен.

— Нет, не похожи, здесь целая галерея — набор каких-то библейских редкостей, начиная с желтой лихорадки и кончая проказой. Только позавчера я осматривал крестьян, больных вулканеризмом — слоновой болезнью. Поздно — уже нельзя помочь. А похожая на проказу фрамбезия...

— Да, я видела этих несчастных довольно много, — спокойно сказала Айлен, — их тела, покрытые ярко-красными пятнами и язвами, трудно забыть.

— Фрамбезией, как вы знаете, болеют миллионы. И она не такая безвредная — она вызывает деформацию костей. Ею переболели целые народы. Сейчас мы разгадали ее и можем изгонять этого страшного беса простым пенициллином... А шестизоматос...

— Я все-таки жена врача. — Айлен тяжело вздохнула. — Мне о нем рассказывал Генри. Он занимается этой болезнью. Это страшный зуд от личинок, проникших через кожу.

— Их много, этих тропических бичей: тропическая малярия, билгардиоз — те же личинки, вызывающие цирроз печени, общее истощение организма, черная оспа, паратифоз, который гнездится в клешнях краба. Ну, и царицы бала — чума, холера. Но вы все это знаете от Генри, который всю жизнь боролся с ними. Зачем вам сейчас нужны эти болезни?

Айлен покачала головой:

— Конечно, я слышала о них, но меня сейчас интересуют не болезни, другое...

— Простите, Айлен, я вас тогда не понял, но вы спросили про тропики. Я сказал, что я о них думаю как врач.

— А скажите, исходя из вашего опыта врача, могут европейцы жить в тропиках совершенно спокойно?

— Совершенно спокойно жить — это формула не для нашего нервного века. Кто сейчас живет спокойно где-нибудь? Тем более в этих странах Азии, где все бурлит и все меняется. — Норман, а зачем белые вообще пришли в эти страны?

Доктор Райт искренне засмеялся:

— Все знают, Айлен, ваше неизменное хорошее настроение, ваш оптимизм и остроумие. Но, дорогая, этот вопрос касается историков и политиков. Я только врач — меня не интересуют вопросы эволюции человечества. Зачем арабы и монголы приходили в Европу? Путь на это ответят специалисты...

— Ну, хорошо, я хотела еще спросить — могут ли, по-вашему, белые люди естественно жить в тропиках с желтыми и черными?

— Могут, но, конечно, им жить труднее, чем цветным народам, старожилам этих мест.

Например, даже лошади не могут жить на Цейлоне. Они живут, им это не очень нравится. На Цейлоне не растут яблоки, груши, виноград. Но белые люди — враги сами себе. Они привезли из Европы слишком много ненужных привычек. Они погибают от пьянства, от того, что едят много больше, чем нужно человеку, причем не то, что нужно есть в тропиках. Они слишком расстроили свои нервы, многие из них ведут сидячий образ жизни, они злоупотребляют табаком, сигарами, наркотиками. Ну, а за последнее время выросли психические заболевания на почве подавленности психики, «атомной истерии», тревоги за себя и за свое шаткое безбедное существование. Это все укорачивает их жизнь. Если бы они соблюдали правила гигиены и задумались бы над своим образом жизни, они жили бы дольше...

Потом, они погибают от своего сверхвластолюбия, эгоизма и от одиночества. Как ни странно, они очень одиноки, эти покорители тропиков. Ну и от неизвестных нам, пока еще не разгаданных болезней. Мы — европейские врачи — хотим разгадать все загадки этих древних стран. Наш старый друг Генри погиб от лихорадки с примесью какой-то болезни, нам пока неизвестной. Фактически мы только начали наступление на все эти болезни, которыми болеют здесь миллионы людей. И мы не хотим заноса их в Европу!

Айлен спросила так тихо, что доктор Норман Райт должен был наклониться к ней, чтобы расслышать, что она сказала:

— А большие неприятности доставил бы европейцам, если бы он явился в Европу с неизвестной или известной, но ужасной азиатской болезнью, с тропической болезнью?

Норман Райт даже положил трубку на стол и взмахнул руками, точно отгоняя видение.

— Невероятные неприятности, Айлен, вы не можете себе представить, что произошло бы, если бы такой человек по приезде в Европу умер и было бы установлено, что болезнь неизвестна или что она что-то вроде черной оспы. Пришлось бы поднять мировую тревогу, на всей пройденной им дороге, на всем маршруте, которым он пользовался, отыскать всех, кто с ним встречался, кому он что-то посылал, с кем он беседовал, пил и ел. Ведь он может стать носителем страшной эпидемии, о которой в Европе или мало знают, или не знают ничего. Такие случаи — увы — бывали... Но это слишком печальная и мрачная тема, дорогая Айлен... Почему вам это пришло в голову?

— Да, почему мне это пришло в голову? Я знаю — почему. Я последнее время читала много фантастических романов, и там как раз и неизвестные болезни, и эпидемии, но это хорошо, что это только в книгах, а в жизни всего этого кошмара нет...

— Ну, читать ужасы в книгах — это бесполезно. Книги, полные медицинских происшествий, отклонений от нормы, сейчас дело обычное. Есть специальные фильмы ужасов и извращений. Это, кстати, тоже свидетельство расшатанной психики, нервных потрясений нашего времени и неуверенности в будущем...

— Да, мы слишком много говорили об ужасных вещах. Это все порождение нашего века. Мы, белые, вырастили в трудных тропических условиях целые поколения людей, которые принесли много пользы человечеству своими знаниями, своими трудами...

— Конечно, Айлен. Нам надо передать наши знания людям других рас, чтобы получить помощников в борьбе с бедствиями человечества. Те болезни, что мучают народы, изучены нами — европейцами, — и мы не скрываем своих знаний ни от кого. Скажите, Айлен, совсем о другом. Алиса, конечно, уже виделась и говорила с вами о нашей поездке?

— Да, я очень благодарна ей, что она была у меня. Мы долго сидели с ней. Когда вы вернетесь, мы соберемся, и я буду целый вечер слушать ваши рассказы. Вы уезжаете ведь надолго?

— Не очень. Месяца на три. Я еще хочу поработать с нашим общим другом Оливером в его институте. Он пишет труд о некоторых тропических болезнях, как наш знаток доктор Клиффорд.

— Норман, дорогой, подождите минуту, не уходите. Я хотела бы сделать один подарок нашей милой Алисе...

Она поднесла доктору маленький голубой футляр. Раскрыв его, он минуту то смотрел на то, что было в футляре, то на Айлен. На бархатной подушечке лежал драгоценный камень. и его удивительный блеск освещал футляр, как будто по нему пробегал солнечный луч.

Камень был сильной, ослепляющей яркости.

— Это мой любимый темно-синий сапфир, мой любимый камень, — сказала Айлен.

— Так почему вы его дарите Алисе?! — воскликнул доктор Норман Райт, не сводя глаз с чуда в коробочке.

— Ее день рождения через месяц, когда вы будете в Англии. Она моя любимая подруга. Мы прожили вместе несчетное количество лет. И мне очень хочется, чтобы она имела это, как память от меня...

— Это царский подарок, Айлен. Я никак не могу прийти в себя. Ведь Алиса вернется через три месяца. Вы подарите ей сами...

— А прошу вас вручить мой подарок не сейчас, а в Лондоне, в день ее рождения. Я хочу, чтобы в этот день она вспомнила меня. А сейчас спрячьте этот сапфир. И скажите ей, что этот камень приносит счастье...

Когда они вышли на террасу, они услышали то же карканье, что было и утром и днем; может быть, оно стало чуть тише, потому что птицы прилетали теперь поодиночке и многие сидевшие с утра уже улетели. Айлен показала Норману дворик с лежащей посередине старой вороной. Он увидел ворон, ходивших вокруг нее...

Он сказал.

— Впервые вижу подобное. Это какой-то ритуал. Правое, там стоит досмотреть это до конца. За ваши наблюдения мой товарищ, орнитолог Эвердж, он живет в Мадрасе, будет вам очень признателен.

Айлен не успела как следует подремать в своей комнате, как явилась миссис Моррис. В своей миссионерской черной одежде, с сухим шакальим выражением лица, с острыми злыми огоньками в глазах, она бесшумно вошла в дом, оглядываясь по сторонам, точно сомневаясь, туда ли она попала.

Она смотрела на Айлен, как будто хотела сказать что-то очень официальное, которое могло начинаться: «Именем закона...» Но сейчас же, став сладкоречивой, она повела речь об общих знакомых, рассказывала о своей поездке в Индию, к хайдарабадским сестрам во Христе, о жизни их религиозной общины, и Айлен никак не могла понять, зачем пришла эта черная, недобрая женщина.

Излив поток ластивых похвал в адрес Айлен, она вдруг спросила самым обыкновенным голосом:

— Мы слышали, что вы хотите продать ваш дом. Вы, кажется, уезжаете к своей двоюродной сестре в Англию?

Айлен стало не по себе. Ей хотелось грубо ответить этой лицемерке, но она сдержалась:

— Моя двоюродная сестра живет в Австралии, а не в Англии, и я не собираюсь ни уезжать, ни продавать свой дом, как вы говорите...

Но мрачная женщина, пробормотав что-то про себя, уныло взглянула и сказала, как будто не слышала слов Айлен:

— Нам говорили, что вы уезжаете в метрополию, чтобы поправить свое здоровье. У меня в Мейдстоне, около Лондона, брат — хороший терапевт. Я могу дать письмо к нему...

Краска бросилась в лицо Айлен. Это уже чересчур! Но она ответила почти с благодарным поклоном:

— Мое здоровье отлично. Спасибо, я не нуждаюсь в хорошем терапевте. Я чувствую себя вообще хорошо. А какие ваши успехи, вероятно, большие?

Черная кукла заговорила металлическим голосом:



— Наши успехи все хуже и хуже. С этими новыми временами, с этими новыми реформами, туземцы не хотят поддерживать нас. Они наравливают на нас банды буддистов, индустов, даже католиков...

— А что, они возвращаются к вере старых богов? — рассеянно слушая ее, спросила Айлен.

— Нет! — резко возразила черная женщина. — Они стали безбожниками, они стали коммунистами. Иностранцы боятся за свои жизни в случае беспорядков...

— Я боюсь, что вы преувеличиваете. Конечно, существовать сейчас не просто. Страна должна подумать, как жить в такое сложное время. Им не до философии. Надо накормить и одеть народ, надо позаботиться о завтрашнем дне!

— Пока здесь были англичане — порядок был и никто не имел забот о завтрашнем дне. А потом, хотя они и черные, но душа у них есть. И эту душу наша обязанность приблизить к свету истины...

— Не знаю, — сказала растерянно Айлен.

— Не знаю, так говорят все, кто, как Пилат, умывает руки, — начала миссонерша сурово, но сейчас же стала тихой и благостной и спросила очень вежливо: — Простите, но я слышала какой-то странный слух!

— А что именно вы слышали? — настороженно спросила Айлен.

— Нет, это, конечно, просто слух. Смешно даже... о нем говорить всерьез. Я не хотела бы об этом говорить именно с вами. А с другой стороны — с глазу на глаз...

— Пожалуйста, говорите. Я, вы это знаете, — прямой человек.

Гостья ехидно улыбнулась:

— Нет, я, конечно, не верю, говорят, есть такой слух, что вы хотите подарить ваш дом буддистам в пику нам — христианам?

На Айлен смотрела жестокая маска, в прорезях которой застыли хитрые глаза. Они ждали ответа.

Айлен задумчиво посмотрела на нее.

— Я не собираюсь в моем доме устраивать молельню. И он не подходит под монастырь. У меня в доме нет даже будд, кроме одного, которого мне подарил один хороший человек.

Миссонерша встала, как будто ее подняла пружина.

— Не волнуйтесь, дорогая миссис Айлен Броуден, — сказала она с самой холодной вежливостью, — я тоже так думала. И я не поверила этому слуху. Правда, ваш покойный муж, — сказала она уже на ходу, — доктор Броуден не очень-то уважал тяжелый, благословенный и благородный труд миссионеров...

Уже стоя на террасе, она продолжала:

— Но его уже взял господь, справедливый и милостивый судия, взял в свои владения, и

не нам судить его деяния на земле, и да простятся ему все его прегрешения.

Она уже хотела спускаться по ступенькам во двор, но ее остановило воронье карканье. Миссонерша подбежала к краю террасы и увидела дворик и ворон, которые были и в воздухе и на земле. Ее стало трясти при виде этого зрелища.

— Вороны! Боже мой! Это же все силы черного колдовства окружили ваш дом! Надо освятить его немедленно! Надо дать отпор черной силе. Я сейчас прочту одну молитву, и они — эти слуги нечистой силы — исчезнут! Надо их сейчас же разогнать!

И она было начала какое-то закликательное молитвословие, но Айлен, взяв ее под руку, повернула к выходу, твердо сказав:

— Нет, не надо их разгонять. Никакого колдовства тут нет. Мы все-таки живем в век атома и космоса. А это — особенности местной природы. Конечно, в Англии этого не увидишь!

— Это настоящая нечистая сила, самая настоящая нечистая сила! — кричала миссис Моррис, спускаясь с террасы.

— Я думаю, — сказала устало Айлен, — что это чистая сила биологического процесса, одинакового как у людей, так и у животных. При чем тут бог?!

— Я не могу слышать, крада богохульствуют! — воскликнула уже у ворот миссонерша. — Хотя сейчас все люди забыли бога. Я ужожу! Но вам это особенно надо помнить. Когда человек болеет, да еще так тяжело, как вы, он должен чаще смотреть на небо и думать о том, что дни его в руках всевышнего...

— Хорошо, хорошо, — сказала Айлен, — смотрите лучше за своим здоровьем, мое вас не касается...

Черная женщина своим приходом истощила нервные силы Айлен. Ее бросало в жар и в холод. Начались боли, тягостные вестники непонятной болезни, о которой никто не знает, кроме доктора Клиффорда. Было в этом неясном поединке с болью что-то угнетающее, пригибающее ее к земле. Где она могла получить эту болезнь? Может быть, в тот год, когда ливнями были разрушены древние плотины на севере и вода прорвалась, погибли деревья, скот, люди, образовались болота среди лесов, и там среди испарений, по колено в красной грязи она спасала детей и женщин и помогала устраниваться беженцам. Мириады москитов летали там, болото отравляло людей гнилостными испарениями. Много больных прошло через ее руки при эвакуации бедняков из разоренных деревень.

Она лежала в тягостном изнеможении, и когда находил покой обморока, начинались

бреды, которые мелькали, как перепутанные кадры непонятных фильмов. А когда она открывала глаза, дом становился призрачным.

То ей казалось, что все живы и Генри Броуден, и ее брат, и Эмрис сидят за одним столом и она разливает им чай, а они собираются в новую далекую экспедицию, то все это проваливалось в бездну и сплошной грохот разноцветного базара обрушивал на нее прибой голосов, криков, воя. На стенах мелькали красные пятна, как от бетеля, который плюют во все стороны. Горы анаанос разлетались брызгами. Какие-то медные блюда танцевали, стоя на ребре. Вся внутренность Петтаха, этого квартала торговли и нищеты, выворачивала перед ней свои внутренности. Кокосовые орехи стучались о прилавки, где были разложены шелковые и сатиновые ткани, которые водопадами всевозможных красок падали на разноцветные фрукты и зонтики. А кругом кишели люди — мужчины и женщины в одеяниях такого странного цвета и покроя, что все это казалось маскарадом, праздником Перяхеры, с разряженными слонами и танцорами.

Потом вырастали подстриженные аллен и с детства знакомые улицы большого Лондона, и Темза с набережными, и силуэт адмирала Нельсона, и барашки, которые в честь королевы Виктории пасутся в Южном Кенсингтоне, — и все это на фоне золотых, черных, синих облаков. Голос матери, и густой смех доктора Генри Броудена, и тихий голос доктора Клиффорда, говорящего почти на ухо: «Будем пока знать об этом мы двое. Но вы — сильная женщина. Не показывайте только никому вида». И тут она увидела черного буйвола, стоящего по плечи в зеленом пруду. Он поедал розовые лотосы, и когда он съел последний, набежала новая толпа видений. Картины жизни, с которой надо проститься. Но почему? Но как? «Похорошему, — сказал голос из мрака. — К вам пришли!»

Она приподнялась на постели. Слуга, наклонив голову, сказал:

— К вам пришли, мэсаб!

Это не видение. Это голос живого человека. Она посмотрела на часы. Какой длинный день! Да, это пришел сам Маналагара. Она сказала:

— Проведи его в столовую. Я сейчас выйду. Приготовь чай и соки.

Сама она ничего не хочет, не может есть. Она только выпила чашку бульона и съела немного мяса.

Да! Она пригласила на этот час Маналагару. И он пришел. Опять кричат эти вороны. Это тоже походит на бред. Неужели они никогда не останавливаются? Будут кричать непрерывно — день за днем! С ума можно сойти!

В столовой сидел Маналагара. Это — лучший друг дома, может быть, лучший человек

острова. Его знают далеко за пределами Цейлона. Можно подумать, послушав рассказы о нем и не видя его, что это великан, что он могуч, как Рама, и что сильнее его нет никого среди всех носящих оранжевые тоги. На самом деле это человек среднего роста в одежде буддийского монаха.

У него бритая голова, широкие улыбающиеся добродушно губы, легко обозначенные скулы, на лице спокойствие человека, знающего истинную цену всему.

Он бережно положил коричневый портфель на стул. Движения его неторопливы. Он носит большие круглые очки в простой оправе. За очками такие глаза, что, поздоровавшись с ним, оправившись от сонного бреда, Айлен сказала ему так естественно, как говорят человеку, которому открыто сердце:

— Знаете, какие у вас глаза? Вы смотрите так, как будто хотите сказать какую-то правду, которую сказать еще не пришел час, но вы ее скажете. Да?

Лицо его как будто слепо из красноватой земли этого острова. Он улыбается такой светлой улыбкой:

— Может быть! Возможно!

— Вы счастливый человек — вы верите! — сказала Айлен.

Глаза его заискрились:

— Я раздумываю, я рассуждаю... Есть вечные истины, и есть вечный их искатель — человек, которому дано пройти по пути истины всего несколько шагов, иногда в темноте...

— А я, — сказала она, запнувшись, — я не верю ни в какое высшее божество, ни в какую силу свыше...

Маналагара давно привык к ее иногда вызывающему на спор тону, но он обладал даром доброй беседы. Он только спросил:

— Вы искали, но как вы искали и что вы нашли?

Она тяжело вздохнула. Нет, более не было. Она могла говорить, не корчась и не притворяясь здоровой. Она сейчас здорова.

— Что моя жизнь? — сказала она. — Что я искала? Когда я была девушкой в Англии, я жила просто, весело, беспечно, не думала ни о каких народах и странах. Я не знала ничего об обществе, в котором жила. Не имела понятия об ответственности. Ничего я не знала. Я жила на простой, понятной земле. Как это было хорошо! Почему я не осталась в Англии навсегда? У меня была бы другая жизнь. другие впечатления, другие воспоминания. Но что об этом? Я встретила Генри, отчаянного, смелого, стремящегося. Я пошла за ним. Я покинула Лондон, я первые полгода провела беззаботно, и вдруг сразу поняла, что у меня нет ничего за душой, что я ничего не достигла, что я бесполезный для общества человек, что я не могу

помогать мужу, потому что ничего не знаю о странах, куда мы приехали с мужем жить и работать.

Я стояла, как перед каменной стеной, с которой на меня смотрели не то демоны, не то боги, не то маски непонятных мне существ. И пошел этот Восток годами вбирал меня в свою странную, нелепую, удивительную жизнь. Я увидела насилие, неравенство, ужас бессилия, безвыходность жизни, такую нищету, такое народное бедствие, что невольно стала спрашивать, что за мир вокруг меня. Почему все нищие и голодные?

Это был такой необъяснимо жестокий мир, что, если бы Генри не объяснил мне многого, я сошла бы с ума. Но с годами я стала понимать, что случилось здесь с людьми, со странами, со временем и со мной.

Иногда, читая историю покорения европейцами этих стран, мне казалось, что мы только и занимались грабежами и убийствами. Вот, говорят, что мы убили всех ткачей Бенгалии и на их костях достигли процветания нашей промышленности. А как мы умирляли народные восстания, как мы задерживали культурное развитие порабожденных народов, как мы заставляли миллионы людей умирать с голоду! Я потеряла мужа, сына, брата в этих странах. Я думала, что это просто возмездие мне, но тут же впадала в горькое раздумье: возмездие мне — за что? Муж спасал простых людей от страшных болезней, мой сын, юный, сильный, не испытывавший радостей жизни, защищал Индию от японских самураев, завоевателей, несших новое иго, может быть тяжелей английское; брат мой, полный лучших надежд, как-то хотел помочь туземцам, но был осмеян. Кому нужно благоустраивать жизнь каких-то дикарей Саравака? Его загнали в безвыходность, в отчаяние, в смерть! Мне объясняли умные люди, называвшие себя патриотами, что все это нужно для величия Англии, для истории человечества. Я заблудилась в этом мире и начинаю верить, что история — самая жестокая богиня, поглощающая бесконечное количество жертв и всегда алчущая их, всегда требующая угнетения и насилия, и все это бесконечно. Что вы скажете мне, дорогой друг Маналагара!

Он сидел, не шевелясь, углубившись в себя. Можно было подумать, что все, что здесь говорилось, не доходит до его слуха, до его понимания. Но после минуты молчания он заговорил, лицо его точно осветилось изнутри, глаза расширились, губы уже не улыбались.

— Я — уроженец этого острова и я — священник-буддист, который был свидетелем многих печальных событий в жизни Цейлона. Я учился в молодости в Индии. И там я понял, что надо свергать иго англичан. Сначала мне показалось, что политика непротivления, нена-

силия — это правильный путь. Но скоро я убедился, что она требует все равно жертв и не дает ничего народу. Я перешел к тем, кто занимался террором, кто нападал открыто и убивал представителей власти, где только удавалось. Я лично не убивал, но сочувствовал этим людям, с оружием идущим на врага. Но это тоже не привело к победе. Меня сажали в тюрьму и в Индии и на Цейлоне.

Я за многие годы научился отличать настоящих борцов от простых говорунов, видел бесстрашие и честность коммунистов, видел людей многих партий, но мое сердце стало понимать, что только когда весь народ поднимается, как волна, он сметает угнетателей. Так и случилось.

Мы получили политическую самостоятельность, но сейчас этого мало. Импералистический мир стоит против мира миролюбивых народов и думает, как бы вернуть потерянное. Этот мир создал атомную опасность. Он стал угрожать жизни всех народов на земле.

Те иностранцы, которые потеряли власть над бывшими колониями и желают возврата времен насилия, — они не должны вернуться в наши страны. Хорошие люди есть у всех народов. Ваш муж был таким. Он шел всегда помогать и беднякам. Он согласился сразу ехать со мной и другими на остров Рождества, когда там вставали смертельные столбы атомных взрывов, чтобы воспрепятствовать новым ядерным испытаниям.

И мы благодарны всем, кто бескорыстно помогает жить освободившимся народам, помогает найти сокровища, скрытые в сердцах людей и в недрах их земли. Мне жалко злых, потому что их злоба породит их гибель...

— Но бывают в жизни такие положения, когда трудно делать добро, — сказала, сжав руки, Айлен.

— Какие?

— Если человек, к примеру, заболел в чужой, тропической стране неизлечимой болезнью, смертельной, — его болезнь неизвестна и, может быть, представляет опасность для окружающих. Как должен такой человек вести себя?

— И у медицины нет средств спасти его?

— Допустим, нет...

— Он должен вести себя так же, как вел до болезни. Он не должен подчиняться ей, не должен ожесточаться, меняться к худшему. Он должен оставаться самим собой до конца. И принести людям добро до конца!

— Преодолев боль силой воли?

— Боль можно всегда преодолеть, если подчинишь ее себе всем напряжением своего существа...

— Скажите мне, правда ли, что мой муж доктор Генри Броден, когда решил отправиться с вами на остров Рождества, он знал, что это почти наверняка может кончиться смертью?

— Да, знал!  
— Как и вы?  
— Как и я! Мы оба знали, и наши друзья, что были с нами, шли на это, чтобы люди узнали о нашей смерти ради своего же будущего. Мы своей гибелью предупреждали всех о том, что надо остановить преступную руку, готовую задуть человечество.

— Тогда скажите мне, что такое смерть?

Ни одна жилка не шевельнулась на сосредоточенном лице Маналагара.

— Я лучше скажу вам, сестра, что такое жизнь, потому что смерть только переход из одной формы жизни в другую, скрытую за темным занавесом. А жизнь, как говорит моя вера, — это непрерывный поток последовательных состояний, связанных законом причинности. Это одно мгновение вечности. Посмотрите на мою оранжевую одежду, ту, что на мне. Она сделана, скроена, выкрашена и сшита в один день. Хлопок собрали рано утром, и в тот же день до заката солнца была соткана материя и стала одеждой. Так есть утро, день и есть вечер жизни, а ночь — это уже новый хлопок, новая одежда, новый момент, то, что называется вами душой, а на самом деле — непрерывный поток сознания переходит из одного тела в другое. Вы живете иллюзией о существовании постоянной души, и это является причиной вашей привязанности к миру страданий.

Потому вы и не в силах побороть страдание и освободиться от него. Любите не страдание, любите жизнь неиссякаемую, торжествующую, необозримую.

Вы прожили счастливо свои годы, потому что все ваше существо дышало и дышит добротой. Вы прошли все круги положенного: вы были юной, были девушкой, были женой, матерью, в вечер жизни вы окружены друзьями и любовью добрых людей.

Один мой ученый и мудрый друг, его труды известны во всем мире, однажды сказал так: «Смысл жизни не в том, чтобы усложнять ее, а в том, чтобы уметь быть счастливым и делать других счастливыми. Для этого не нужно ни телевидения, ни радио, ни многих других достижений цивилизации. Не они дают счастье. Радость дают самые простые вещи. И нужно уметь находить время, чтобы спокойно сесть и размышлять».

Сегодня у нас у всех одна задача — спасти человечество от гибели. В мире сейчас слишком много ненависти. В мире душно от ненависти. Она все растет, и к ней прямо призывают. Человечеству не легко нести свою жизненную ношу. Только общими усилиями можно облегчить ее. Соединим же их!

Он замолчал.

— Вы — замечательный человек, дорогой друг Маналагара, мне с вами так хорошо, что

я могла бы, не считая часов, слушать вас. Теперь я лучше понимаю многие вещи. В награду за вашу доброту я хочу сделать вам подарок... Я подарю вам весь этот дом со всем имуществом...

Маналагара встал и слегка склонил голову:

— Благодарю вас, сестра, но я, как монах, не должен иметь никакого имущества.

— Я знаю, что вы не можете принять сами этот подарок. Я решила, когда я перемену, как вы говорите, место обитания души, — отдать этот дом сиротам, которых вы отберете. Я оставлю деньги, чтобы этот приют был школой, где бы их учили ремеслам. А чтобы все было по закону, этим в свое время займется один достойный человек, которому можно верить. Вы его знаете — это доктор Клифорд.

— Вы хотите сделать доброе дело, но я думаю, что вы слишком рано говорите о нем. Вы здоровы и полны жизни.

— О да, я всегда здорова и всегда жизнерадостна, как говорят мои друзья. Но бывает в жизни всякое, а я одинока, как моя магнолия...

Потом они стояли на террасе. Вороний крик, не такой уже горластый, но все же шумный и тоскливый, висел в воздухе.

— Вы все знаете, — сказала Айлен. — Что такое происходит здесь с утра? — И она рассказала о вороньих прилетах, которые длятся весь день...

Они прошли на конец террасы. Ворона все так же лежала посреди двора, как она лежала и рано утром. Но птиц вокруг стало заметно меньше. Одни, видно прилетевшие позже всех, стояли полукругом вокруг лежавшей или прохаживавшейся перед ней. Вороны, сидевшие на ветвях, перекликались с теми, что сидели поодаль на стенке маленького пустого водоема и под стеной сарайчика.

Маналагара не выражал никакого удивления. Он спокойно смотрел на них, потом сказал:

— Вы знаете, что у животных нет рабства, как у людей. Им неизвестен колониализм. Они не воюют из-за пищи. Я видел, как слоны хоронят своих мертвецов. Это поучительное зрелище. Оставьте их! Мы никогда не вмешиваемся в их жизнь. Эта ворона, вероятно, была хорошей птицей, иначе к ней не прилетали бы со всех сторон ее сородичи и друзья со всего города, как вы говорите, чтобы отдать ей последнюю почесть. Она выбрала ваш дом. Это — добрый знак высокого доверия. Мы любим животных и птиц и бережем их. Европейцам всегда было все — все равно. Они похода истребляют все живое. Хотя не всё и не все. Доктор Генри, ваш муж, был добрым и смелым. Он спас много жизней, и он не смотрел, желтые они или черные, христиане или буддисты.

Некоторые вороны посмотрели в его сторону, точно поняли, что речь идет о них.

Маналагара издала благословил их, как благословлял деревья в своем монастыре и людей, работающих в поле.

— Животные, — продолжал он, — не знают человеческой разраженности и жажды убийства ради убийства, из ненависти и жадности. Они питаются только тем, что нужно их организму, не истребляя из любопытства или из кровожадности, и никогда не убивают, чтобы любоваться мучением своей жертвы. Они прекрасно знают, какие листья, цветы, плоды, травы им полезны, какие нет, они знают, чем лечиться от ран, от болезней, от старости. Они знают, как найти целебные источники. А главное, они не угрожают миру и будущему человечества. Оставьте их в покое!

И он еще раз сказал им какие-то уже непонятные, на священном языке пали, слова, которые прозвучали как прощальное приветствие.

После этого он попрощался с хозяйкой и пошел своим неторопливым шагом, и его оранжевая тога, открывая голое блестящее правое плечо, светилась живым огнем. Было совсем не смешно, что этот, похожий на древнего отшельника, человек нес в правой руке большой коричневый портфель.

После легкого, быстрого, светлого ливня, как раз к пятичасовому чаю приехал Дональд Геймс. Всякий раз, как он приезжал в Коломбо из своей высокогорной Нувары Элии, он обязательно навещал дом Броуденов. Первое знакомство произошло очень давно, и с этого первого знакомства Айлен почувствовала, что Дональд Геймс следит за каждым ее движением, смотрит на нее какими-то удивленными глазами, хочет привлечь к себе ее внимание.

Одним словом, с течением времени ей стало ясно, что для старого холостяка, каким был Дональд Геймс, она представляет предмет некоего неясного обожания. Но, несмотря на всю внешнюю сторону такого положения, когда Дональд ничем, никогда не нарушил семейного порядка дома Броуденов, всегда подчеркивал свое уважение к доктору Броудену и свое преклонение перед Айлен Броуден, он не снижал любви и особой дружеской симпатии, которая могла бы родиться за долгие годы знакомства. Это имело свое объяснение. В доме Броуденов любили людей большого, самозабвенного труда, а такие баловни природы, как Дональд Геймс, там не пользовались уважением, и к ним относились довольно иронически.

Он был далеко уже не молод, но у него был свежий вид человека, проводящего много времени на воздухе в хорошем климате и не обремененного никакими мучительными заботами.

Чайные плантации, которые достались ему в наследство от дяди, управлялись специалистом, взявшем на себя всю ответственность. Когда-то он учился всяким наукам и в Англии, и даже немного времени в Соединенных Штатах, но по приходе в дом дяди на Цейлон, подавшись чарам восхитительной природы Нувары Элии, чей прохладный климат так не похож на знойный ад Коломбо, он зажил, как он говорил, сытой провинциальной жизнью, ленивой и медлительной, и единственно, что соединяло его с цивилизованным миром, это то, что он рассеянно следил за разными философскими европейскими и американскими журналами и сам фантазировал немало в этом направлении.

Он терпеть не мог никаких разговоров о революциях, переворотах, народных движениях. Его, как кошмар, пугала самая мысль, что ему придется обратиться в бегство от воставшего народа, расстаться с таким привычным образом жизни, очутиться, как в лодке, посреди бушующего океана.

Дональд Геймс был распространенный тип маленького колонизатора, спрятавшегося за спины тех властных и шумных деспотов, которые расправлялись с народом кнутом и пулей. Мало что знал, что тихий философ — большой любитель выпить.

В европейских кругах Коломбо к нему относились равнодушно. С особым чувством приходил он в дом доктора Броудена. Туда его влекло удивительное, непонятное ему явление, которое звалось Айлен Броуден. Ему трудно было объяснить самому себе, что в ней ему нравилось. Когда-то она казалась ему женщиной, вышедшей из картины и опять ушедшей в картину. То он воображал ее героиней какого-то фильма, то она становилась видением его любовных фантазий, особенно после хорошей выпивки с чайными феодалами Нувары Элии. Бывая в Коломбо, он привык вести с ней бесконечные беседы, рассказывал ей свои философские сны, любил, когда она смеялась, слушая его, и глаза у нее становились веселыми.

После смерти доктора Генри он приезжал утешать ее, но слова утешения были какие-то бесцветные, и он прекратил это бессмысленное занятие. Сегодня он приехал, очень надменный, подчеркнуто строго одетый, с видом человека, решившего сделать большой шаг в своей жизни.

Айлен поила его чаем, но неожиданно для него принесла виски и сказала:

— Это шотландское — «Кинг Джордж Четвертый». Очень хорошее, попробуйте...

И даже налила рюмку себе. Они выпили, и все стало как-то проще. Айлен сидела против него, возбужденная, порозовевшая от виски, в новом белом костюме с короткими рукавами.

— Вы сегодня чем-то взволнованы, и к вам это идет, — сказал он и попросил разрешения курить. — Я давно заметил, что, когда вы взволнованы, вы становитесь еще красивее...

— Я слышу это уже не первый раз, — сказала она с некоторым лукавством.

— Да, мы с вами знакомы целую бесконечность. И за это время не было для меня большей радости, чем видеть вас и говорить с вами...

— Милый Дональд, это тоже я уже слышала. Последний раз в прошлом году на дне моего рождения...

— Тут ничего не поделаешь, Айлен. Вы сегодня в хорошем настроении. Я вас давно не видел такой. Вы меня радуете...

— Ах, я всегда, как вы знаете, стараюсь не докучать людям скукой. Все так заняты, так загружены работой, такими большими заботами, у всех жены, дети, дела. Надо их понимать и бодрить их. А потом — надо самой быть доброй и внимательной. Это всегда было моим правилом в жизни и вам, по моему, мое поведение нравилось. Не правда ли?

Дональд Геймс в душе побаивался Айлен. Кто знает, что там у нее, на самом дне ее сказочного колодца. Она может сделать такое, что вся ее доброта исчезнет в один миг и неизвестно какой дракон бросится на Дональда в самый неожиданный момент.

— Вас иногда называют в обществе, — сказал он, — «Эта смешная миссис Броуден». Или: «Эта странная миссис Броуден». А иные: «Эта фантастическая миссис Броуден. Она не устает нас удивлять». А я бы сказал: «Эта прелестная миссис Броуден», но почему вы вдруг стали серьезной, очень серьезной?

— Но и вы сегодня очень чем-то озабочены. Что-нибудь случилось? Как ваша жизнь отшельника? Вы что-то давно не были в Коломбо?

— Последнее время приходится возиться с моими чайными плантациями, самому заниматься этим делом. Там не все благополучно. Есть участки, зараженные какими-то паразитами, борьба с которыми трудна. Помните, как было с кофе...

— Я не помню, как было с кофе. — Она покачала головой, и ее пышные каштановые волосы засверкали в солнечных лучах.

— В один ужасный для всех хозяйств острова день выяснилось, что все кофейные плантации захвачены ржавчинным грибом и безвозвратно погибли. С тех пор кофе исчез из экономики Цейлона и заменился чаем. Но на чай, по крайней мере на мой чай, напали враги. Я уже сваялся со специалистами, и они обещали помочь в беде, изжить паразитов. Эти враждебные личинки все-таки влиют на мое настроение, потому что мои чайные плантации — мой капитал, добытый большим трудом

моей семьи. Но это скучная история. У меня есть кое-что повеселее...

День приближался к концу. Айлен боялась одного. Если боли появятся сейчас, она встанет и уйдет и бросит этого уже хмельного гостя на произвол судьбы. Но от виски, кажется, становится легче. Она пила его маленькими глотками и чувствовала, что от выпитого как-то светлеет голова, становится легче дышать, приходит легкость речи и можно даже смеяться. Но, взглянув на Дональда, она заметила, что Дональд пьет виски, почти не разбавляя содовой. Его загорелое лицо стало кирпичным, и он удивительно напоминал чем-то портрет португальского диктатора Салазара, когда тот был помоложе. Этот портрет она видела в старом иллюстрированном журнале. Этому сходству можно было посмеяться, но смеяться было нельзя.

— У вас есть кое-что повеселее... Я буду рада услышать что-нибудь радостное, что касается вас...

Дональд поднял руку, как дирижер, призывающий оркестр к вниманию.

— Не только меня! Как вы себя чувствуете?

Она засмеялась: ну, конечно, он похож на Салазара средних лет, но она этого не сказала. Она сказала:

— К счастью, у меня нет таких личинок, которые портят жизнь...

И вдруг он спросил, нахмурившись:

— Вы были у Клиффорда?

Айлен ни на мгновение не задержала ответ.

— Я пойду к нему завтра, — сказала почти небрежно, точно речь шла о прогулке в магазин на Прайнс-стрит.

Дональд как-то странно заерзал на стуле.

— Дорогая, зачем вы меня обманываете? Вы были у него вчера.

— Вы так следите за мной. Ну, хорошо, я была у него вчера. Он пригласил меня на чай.

— И что он сказал вам?

Смотрите, какой любопытный этот Салазар средних лет.

— Видите, Дональд, я могла бы не отвечать на этот вопрос, но вам, по старой дружбе, отвечу. Пусть это будет между нами. Клиффорд сказал, что я просто мнительна и волнуясь по пустякам. Это возрастное. И волноваться не следует. Нервы должны быть спокойными у человека моих лет. Вот видите, и в наказание за любопытство я вам налью еще «Кинга Джорджа Четвертого»...

Они чокнулись и выпили дружно, как молодые студенты.

— Ничего со мной не происходит. Происходит со всем миром, ну, и с каждым, кто в этом мире живет. Я все поняла — мы не принадлежим себе. Вы любите философию, и дайте мне немного пофилософствовать... Мы не принадлежим себе. Мы принадлежим истории, госу-

дарство, и оно с нами делает, что хочет, то, что ему нужно и полезно. Это называется, Дональд, прогрессом, правда, кого только я ни спрашивала, никто не мог мне объяснить, что такое прогресс и почему от него одним хорошо, а другим худо...

Дональд широко развел руками.

— То, что вы сказали о Клифорде, меня устраивает. То, что вы сказали о прогрессе, это верно и неверно. По Флюидингу — близится век космополитизма и все достижения, все открытия будут наднациональны. И человек не будет принадлежать какому-то одному государству. Он будет гражданином мира. Но, по Расселу, личность, созданная общественными условиями, сама изменяет эти условия. Для Англии это будет сделано только англичанами, а не какими-то там пришельцами-иностранцами. Ясно одно, что мы с вами живем среди вихреобразных систем, теорий и событий, в жестоком мире, желающем тщетно скрыть свою жестокость, и в такие времена, как наше, никто не позаботится о нас с вами, если мы сами не позаботимся о себе...

— А это возможно? — спросила Айлен, прислушиваясь к затихающему вороньему карканью. Оно становилось все тише, как будто птицы устали кричать.

— Возможно! И я хочу вам сказать, что пришла пора, когда вы должны выслушать меня самым серьезным образом! Это смелый, я бы сказал, дерзкий шаг с моей стороны, может быть, и я для храбрости налью себе еще этого доброго напитка. А вы?

— Я с удовольствием сегодня пью с вами. Такой тихий, спокойный, дружеский вечер. Такой добрый «Кинг Джордж Четвертый»! Так все ясно...

Дональд выпил свое виски и посмотрел на нее, чуть сбивший с толку.

— Ясно! Что ясно? Вам все ясно?

— Конечно, а вам нет?

— Что же вам ясно?

— Но я всегда чуть опережаю вас, Дональд. Ясно, что вы сейчас скажете, что вы давно, до бесчувствия в меня влюблены, и что теперь самое время нам быть вместе... Правда, вы это скажете. Ну, скажите. Я жду!

— Да, Айлен. Это так. — Он отер пот с лица и поправил галстук. — Как хорошо, что вы почувствовали это так же, как я. Значит, нам не надо даже погружаться в воспоминания...

— Не надо, это совершенно лишнее, — сказала Айлен, — тем более что они не такие, какие могли бы нам пригодиться сейчас!

В его голосе послышалось подобие волнения:

— Вы помните, как после смерти доктора Генри Броудена я просил вас не чувствовать себя одинокой. И помнить, что около вас друг, друг, который всегда будет рядом. Я знаю, что

такое одиночество. Оно терзает меня уже много лет. И теперь оно терзает вас. Согласитесь! Что сказал доктор Клифорд: это возрастное, и волноваться не следует! Согласитесь, что это так!

— Соглашаюсь, — бодро сказала она, — соглашаюсь — я одинока, но рядом старый, верный друг...

— Конечно, Айлен! Я сейчас открою вам свои планы. Они будут нашими планами. У меня есть брат, он младше меня, но он большой бизнесмен. Мы с ним очень дружны. У него в Бугенвиле, на Соломоновых островах, хорошее современное хозяйство. Там прелестно. Я приведу в порядок, при помощи специалистов, свои чайные плантации, продам их, продам старый дом, и мы уедем в совершенно другую страну. Там вечерами — сказка. Я там был несколько раз. Над нами будут колонны старых, огромных кокосовых пальм. Солнце будет зажигать океан. И мы, как первые люди, в тени кокосовых пальм будем лежать на песке, купаться в воде, где нет ни акул, ни морских ежей... Вы улыбаетесь?

— Я улыбаюсь потому, что я еду от одних кокосовых пальм к другим кокосовым пальмам. Я шучу. Я понимаю: те пальмы — другие. Нам будет, конечно, хорошо. Только вот как с первыми людьми на песке. Из нас не очень-то выйдет Адам и Ева. Вы забыли свои и мои годы!

— Айлен, при чем тут годы? Вы не должны оставаться одной. Мы продадим и ваш дом...

— Мой дом? Кому? Найдется на него покупатель?

— Я уже нашел. Миссионеры готовыкупить его в первую очередь. Миссис Моррис. Я ее встретил вчера, и она сказала, что будет говорить с вами...

— Она была у меня сегодня!

— По этому вопросу?

— Да!

— И что же вы ей ответили?

— Я сказала, что подумаю...

— О, Айлен, милая, вы опережали всегда мои мысли. Нам так будет хорошо на райском острове — Бугенвиле.

— Наш остров здесь тоже зовут райским, и у него огромные кокосовые пальмы и тоже есть места, где можно купаться, не опасаясь акул и морских ежей, и есть плантации, мы с вами знаем его достаточно.

Дональд замахал руками, как на футбольном матче, когда мяч у ворот и болельщики готовы на все:

— Нет, нет, там совсем другое. О, как хорошо, что вы согласны ехать со мной туда, где нас не знает никто и никакое прошлое не будет нам препятствием. Я чувствую, что я начинаю новую жизнь, вернее, без вас у меня не было бы жизни. Теперь дайте я выпью еще стаканчик за нашу жизнь в Бугенвиле. Как приятно пить

с вами. Мы кутим у себя в Нуваре Элии, иногда я целую ночь пью один и философствую. Но пить одному мрачно, скучно. Я все сделаю, чтобы поскорее приступить к ликвидации плантаций и наших домов... Айлен, неужели я слышу это своими ушами, что вы согласны...

— Вы, кажется, сказали, Дональд, что вы поедете сначала к брату в Бугенвиль?

Он пошатнулся, и вдруг она увидела, что он пьян, сильно пьян. Его красные щеки стали малиновыми. Его глаза потускнели. Он твердил одни и те же слова, растягивая их, не договаривая. Иногда к нему возвращалась четкость речи, и он чувствовал себя оратором перед массовой аудиторией.

— Конечно, я поеду, да, я поеду сначала один, я должен посмотреть вкусный участок с домом, все приготовлено для переезда. Чтобы и плантация была в порядке и чтобы подыскали хорошего покупателя...

— А сколько же это все займет времени?

— Я думаю, что для этого хватит, да, хватит и в Бугенвиле и в Нуваре Элии три месяца, да, не больше трех месяцев...

— Три месяца, хорошо! А скажите, только честно, Дональд, вы, если бы не было на свете меня, все равно перебрались бы в Бугенвиль или нет?

Дональд погрозил ей пальцем, нахмурился, потом вдруг, к удивлению Айлен, подмигнул ей, прежде чем заговорить.

— Я скажу честно! К счастью, это совпало. Прежде чем заговорить, я открою одну тайну — между нами. Один верный человек сказал мне, чтобы я быстрее ликвидировал свои чайные плантации, потому что там такая эрозия почвы, что ее никак не поправишь, кусты постарели, вырослись, никуда не годятся. Этот проклятый управляющий, я его выгону, отхлещу стеклом, он работал как хищник, он обескровил все плантации, а там еще болезнь, которую можно задержать только на время и надо продавать, пока все не погубило. И надо бежать, бежать подальше. Когда откроется, что я продал плантации не в том виде, лучше быть в другой, чудесной стране. Это замечательно, что вы согласились. Это совпадение жребиев судьбы. Что нам до жестокого мира?! Там, в Бугенвиле, мы будем далеки от всех треволнений и угроз. Я все сказал честно...

Айлен поднялась со стула и стояла, испытующе смотря на потевшего от возбуждения, тяжелооплечего, большого, пьяного мужчину, который раскрывал перед ней райские картины будущего.

Веселым голосом она провозгласила:

— Старый, честный Дональд, благодарю вас от всего сердца за вашу открытость. Теперь я вижу, какой вы — верный друг и какой предусмотрительный человек. Я, кажется,

совсем пьяна, простите меня. Я никогда не пила столько, тем более «Кинга Джорджа Четвертого». Я пьяна и от шотландского виски, и от неожиданности, которую вы принесли...

Он тоже вскочил, вытирая лицо салфеткой.

— Мы едем, Айлен!

— Мы едем, Дональд, через три месяца мы едем!

— Да, — сказал он, дрожащими руками доставая сигарету и раскуривая, — да, к сожалению, дорогая, раньше это не удастся, но мы ждали годы. Я годами, скажу теперь не таясь, завидовал, честно скажу, счастью Генри, я искренне удручен его смертью. Сколько в этих краях еще опасностей для жизни белого человека. Я сам чуть не зарезали какой-то лихорадкой, но меня вовремя вылечили. А теперь пусть завидуют мне. Какое счастье, Айлен!..

— Когда вы уезжаете в Бугенвиль?

— Я кончу за этот месяц все расчеты с Нувары Элией и через месяц выезжаю в Бугенвиль, а оттуда я явлюсь, никто не будет знать об этом, никто. Это будет сюрприз для наших друзей и для нас самих...

— Прекрасно! Через три месяца мы отправляемся в страну неведомого!

— Да, мы уедем в такие места! Здесь больше жить нельзя. Тут меняется все: условия жизни, люди, наступает хаос, как во всех этих сбросивших, как они говорят, яго колонизаторов государствах, где нас еще вспомнят и позовут на помощь, но будет уже поздно...

Он говорил неожиданно трезвым голосом:

— Нас, белых, осталось тут несколько тысяч — пустяки. Правда, они делают большие дела. Мне, знаешь, тоже предложили включиться в графитную спекуляцию. Графит сейчас очень нужен. Он требуется в атомную промышленность, он нужен для хранения атомных и водородных бомб. А здесь, на Цейлоне, его добывают до десяти тысяч тонн. Но мне осточертели эти дикари, и даже большими деньгами меня не соблазнишь. Я твердо решил расстаться с Цейлоном. Тут нельзя ждать ничего хорошего для делового белого человека...

— Видно, для такого философа, как вы, выхода нет, — сказала Айлен, иронически улыбувшись. — Я вижу, что вам действительно надо оставить этот остров. Он вас раздражает и таит многие угрозы. Не будем говорить об этом. Вы совсем становитесь другим, когда говорите о Цейлоне.

Дональд Греймс сделал несколько шагов к выходу. Он чувствовал, что он сильно пьян, но что-то очень важное совершилось сегодня в этой комнате в этот вечер. Какой-то туман мешал ему до конца понимать происшедшее. А может, эта женщина все-таки выпустила своего дракона со dna колодца, и все еще неизвестно...



Прилив смешанных чувств качал его, и он, уже выходя на террасу, остановился и сказал от всей, как ему казалось, глубины сердца:

— Простите, Айлен, старый друг, дорогая, но эти голые туземцы — неблагодарные скоты и невежественные дикари, грязные и больные. Их напрасно лечил Генри. Их не вылечишь. Посмотрим, как они обойдутся без нас. Посмотрим! В Бугенвиле, — он помахал шляпой в воздухе, точно уже подплывал к Бугенвиллю и приветствовал своего брата, — в Бугенвиле еще крепкие порядки, там можно жить. Мой брат — сильный человек. И я — сильный человек, — добавил он и вдруг, изменив тон, сказал, наклоняясь к Айлен: — Я исчезаю! Я исчезаю на три месяца. А через три месяца — в Бугенвиле!

— Конечно, — сказала усталая Айлен, — в саду райского острова, под огромными кокосовыми пальмами!

Он сделал слабую попытку обнять ее, но это ему не удалось. Он ушел в золотистую туманность вечера, шатаясь, разговаривая сам с собой и обмахиваясь большой серой шляпой.

Айлен стояла одна, прислушиваясь к тишине вечера. Она стояла и смотрела на золотистый занавес неба, сотканный из неисчислимых светящихся нитей, струившихся на землю. Черные вырезные ветви пальм, как черные птицы с узкими крыльями, засыпающие после долгого дня, сливались с чернотой листвы. Где-то в море уходил гигантский раскаленный шар, и по мере того, как он опускался в волны, красно-золотистый занавес темнел и становился сиреневым, и по небу, как фламинго, проходили высокие розовые облака, а потом хлынула легкая синяя мгла, и на ней как будто начали, зазвенев, тихо двигаться звезды, и одна из них напоминала тот сияющий темно-синий сапфир, какой она подарила сегодня доктору Райту.

В густой синеве сверху и внизу замелькали несчетные искры сверкающих светляков.

Теперь ее окружала тихая ночь. Она задержалась на террасе, медленно прошла до того угла, с какого виден был дворик. Ей захотелось засмеяться, но на глазах выступили слезы. Она сказала, не вытирая слез: «Счастливая, всегда веселая Айлен. Ты действительно уедешь в райские края раньше чем через три месяца. Это правда! Доктор Клифорд сказал мне под страшной тайной. Он сказал: «Вам осталось жить не больше двух месяцев. У вас неизлечимая болезнь. В последний месяц она валит человека с ног. И больше не отпускает. Вас ничто не может спасти. Вы можете быть в последний период опасны для окружающих. Никто не должен знать об этом, потому что иначе я вас должен изолировать. Оставайтесь на свободе. Я прослежу, чтоб вас не беспокоили. Простите меня — я сделал все, что мог. Но это из тех болезней, которых не одолел и доктор Броуден. У вас в распоряжении еще три недели... а дальше...» Вот что сказал доктор Клифорд только вчера, бедная Айлен!»

Взошла луна, окруженная дымчатыми вуалью облаков в голубовато-зеленом нежном небе. Айлен стояла у края террасы. Перед ней на пустом дворике лежала мертвая ворона. При свете звезд и луны она была сказочно красива. Она отливала черным и серым шелком. Айлен стояла и смотрела на нее, не отрываясь. Неловко подошел ночной сторож со своей облезлой собакой. Айлен сказала ему сквозь слезы, указывая на ворону:

— Это я, старая добрая ворона, а может, и не такая добрая!

Старик не понял ее. Он пробормотал что-то собаке и спросил, отступив на два шага:

— Можно ее убрать, мэмсаб! Солнце село! Все птицы улетели!

Айлен вздрогнула, но сейчас же сказала:

— Конечно, но ты закопай ее под магной. Раз она выбрала это место — пусть там и будет!

# Larisa\_F

Николай Семенович Тихонов  
ПОВЕСТИ



Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ

Редактор Ю. СЕНЧУРОВ

Художественный редактор Г. Андропова

Технический редактор Л. Платонова

Корректор Г. Суриц

Фото Н. Кочнева

Сдано в набор 13/IV 1967 г. Подписано в печать 21/VI 1967 г. А01554. Бумага 84 × 108/16—6 печ. л.—10,08 усл. печ. л. 12,37 уч.-изд. л. Занав № 985. Тираж 2 850 000, 5-й завод: 2 500 001—2 850 000 экз. Цена 25 коп.

Издательство «Художественная литература»  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 28.

Отпечатано в типографии «Красный протезерий», Москва, Краснопротарская, 16.  
Заказ № 612.

По собственному признанию Николая Тихонова поэтом его сделала Октябрьская революция.

Страстные баллады первых книг Тихонова, вышедших в свет в 1922 году, — это взволнованный рассказ о крушении старого уклада жизни, о мужестве и подвиге советского человека в гражданской войне. Во весь голос звучала в балладах тема Октября и пролетарского интернационализма, пробуждения революционного самосознания народов колониальных стран Востока, тема ненависти к империалистическим войнам, жлоб предчувствие тех новых и страшных испытаний, которыми грозили человечеству империалисты Европы и Америки. Эти темы продолжают жить и развиваться во всех произведениях Николая Тихонова — поэта, прозаика и публициста — вплоть до сегодняшнего дня. Верность высоким стремлениям, выраженным в творчестве, определяет и весь путь Тихонова — общественного деятеля.

Знаком жизни, социалистической культуры большинства республик Советского Союза, Николай Тихонов во многом помог делу взаимного обогащения литератур, создал образы замечательных людей братских республик в своих стихах, повестях и рассказах.

Участник четырех войн — первой мировой, гражданской, финской и Отечественной — солдат, военный журналист, награжденный многими боевыми орденами, Тихонов стоит в первом ряду борцов за мир и дружбу между всеми народами нашей планеты, за помощь угнетенным против колонизаторов.

Депутат Верховного Совета, бессменный председатель Советского комитета защиты мира, Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Николай Семенович Тихонов в день своего семидесятилетия был первым из советских писателей удостоен званием Героя социалистического труда. Таков жизненный и общественный путь этого человека, родившегося в 1896 году в семье петербургского ремесленника.

Широкий общественный кругозор, опыт и знания Николая Тихонова определяют ту политическую и историческую проницательность, которая не позволяет устареть и тем его произведениям, которые созданы много лет назад. Так, написанная в начале тридцатых годов повесть «Война» — это не только история преступлений против человечества, совершенных империалистическими государствами в первой мировой войне... Многие страницы повести звучат так, как будто они написаны сегодня, когда льется кровь свободолюбивого вьетнамского народа, в ФРГ подымает голову неонацизм и наука капиталистических стран мобилизована на поиски все новых и новых средств массового уничтожения.

В повести «Война» изображены и жертвы преступлений империализма, такие, как сестра милосердия художница Алида фон Штарке, и такие «выполнители» приказов, как лейтенант Шрекфус. Но основная сила повести — в изображении круговой поруки, связывающей капиталистов, генералитет и представителей науки, вставших на службу преступной политики. «Гуманитарий» — профессор Бурхардт, несомненно, через несколько лет станет деятельным членом министерства Геббельса, блестящий циник, большой ученый профессор Фабер и в наши дни будет продолжать свои опыты с отравляющими веществами, если не в ФРГ, то в США, так же как и маньяк человекоубийства — изобретатель газомета Хитченс. Иступленная ненависть, жажда разрушения сочетается в нем с несомненной исторической проницательностью. Именно он — космополит, наемник малой войны против любого противника — уже видит в своих мечтах новую большую войну, которая охватит мир. И он же с восторгом приветствует то символическое рукопожатие, которым обмениваются на банкете в Лондоне — защитник немецких колоний Восточной Африки Леттов-Форбек и покоритель этой же части континента, английский генерал Смутс. И как не вспомнить при этом нынешнего альянса военщины Бонна с законами фашистского режима ЮАР.

Две небольшие повести Николая Тихонова «Зеленая тьма» (1966) и «Длинный день» (1967), действие которых происходит на Цейлоне и в Бирме в середине прошлого десятилетия, показывают распад колониальной системы, новые формы существования азиатских стран, новых людей Азии, сложность их сегодняшних отношений с представителями европейского мира.

Николай Тихонов, как один из руководителей движения сторонников мира, побывал не только в большинстве стран Европы, но и почти во всех странах Азии: в Индии и Пакистане, в Китае, Бирме, Цейлоне, Сирии, Ливане, Индонезии. Поэтому его повести насыщены реальным ощущением характеров людей, жизни, быта, красочными картинками природы.

Основная мысль этих произведений заключается в том, что внести полезный вклад в сложную жизнь современного Востока человек Запада сможет, лишь отбросив старую мысль о «превосходстве белого», если он узнает и будет уважать реальные особенности национальных традиций, культуры, быта страны. В этом случае он станет другом и «добрым гостем», таким, как ученый этнограф Вингер («Зеленая тьма») или вдова врача Айлен Броуден («Длинный день»). В противном же случае он станет на Востоке перенятником колониализма, достойным презрения отщепенцем — таким, как владелец чайных плантаций Дональд Геймс. Подобная же участь может грозить и герою повести «Зеленая тьма» Отто Мюллеру — поверхностному и пустоватому «мальчику из Дюссельдорфа».

Собранные вместе, эти три повести показывают историческую зоркость, талант, цельность мировоззрения одного из больших художников нашей страны.

хзу выступил в «Роман-газете» с повестью «Время таяния снегов», нанайский писатель Г. Ходжер — с книгой «Конец большого дома», писатель-коми Г. Федоров — с романом «Когда наступает рассвет», мансийский поэт Ю. Шесталов — с поэмой в прозе «Синий ветер каслания». Книги этих писателей народов Севера, не имевших до Октября даже своей письменности, нашли отклик в сердцах читателей всех национальностей нашей многоязычной страны. Москвичка Шуманова, например, пишет: «Роман «Конец большого дома» произвел на меня сильное впечатление. Для меня, русской женщины, большая радость узнать, что из такой темноты, из такого бесправия родился большой писатель. Это могла сделать только наша революция!»

Произведения зарубежной прозы, отбираемые «Роман-газетой», утверждают идеи интернационализма и боевой пролетарской солидарности. В годовых комплектах издания читатель найдет знаменитый роман «Огонь» А. Барбюса, «Овод» Э. Войнич, «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека, «Слово перед казнью» Ю. Фучника и многие другие всемирно известные произведения, полные пафоса борьбы против порабощения человеческой личности и захватнических войн. Такие представители зарубежной литературы, как чешский писатель З. Плугарж и польский писатель И. Неверли, венгр Л. Мештерхази и англичане Д. Олдридж, Б. Дэвидсон, писатель Монгольской Народной Республики Ч. Лодойдамба, Германской Демократической Республики Э. Шриттматтер, гаитянский писатель Жак Стефен Алексис, датчанин Г. Шерфиг, австралийская писательница Д. Кьюсак, в своих лучших произведениях утверждают идеи гуманизма, антиколониальной борьбы и социализма.

К настоящему времени определился профиль «Роман-газеты». Она призвана популяризировать наиболее значительные произведения писателей Российской Федерации, братских республик Советского Союза, социалистических стран и прогрессивных зарубежных литераторов. «Роман-газета» издает лучшие новинки журнальной и книжной прозы. Ее девиз — современность, понимаемая в самом широком смысле этого слова: современны те книги, которые помогают жить и строить коммунизм, изображают в неразрывном единстве драматичные подлинные события и социальный оптимизм народа — творца истории.

В преддверии 50-летия Октября «Роман-газета» все большее место отводит книгам, которые несут правду о революции и социалистической родине, вдохновенно повествуют об историческом прошлом Советского государства. Таковы, например, романы К. Федина «Костер», Е. Пермитина «Первая любовь», Г. Маркова «Отец и сын», С. Сартакова «Философский камень», В. Смирнова «Открытие мира», И. Мележа «Люди на болоте», А. Нурпеисова «Сумерки», А. Кешокова «Вершины не спят», рисующие картины народной жизни на протяжении целых десятилетий.

Через многие произведения проходит образ гения революции, учителя и друга всех трудящихся В. И. Ленина. Еще в 1930 году в «Роман-газете» вышла книга воспоминаний Н. К. Крупской о Владимире Ильиче, которая помогала писателям найти верное решение ленинской темы. В наши дни писатели все чаще и чаще обращаются к образу вождя. Роман «Первая Всероссийская» М. Стагиня, дилогия писателя-сибиряка А. Колтелова «Большой зачин» и «Возгорится пламя», повесть М. Прилежневой «Удивительный год», роман С. Дангулова «Дипломаты» переносят читателя в то время, когда зарождалось революционное рабочее движение в России, рассказывают о деятельности В. И. Ленина и его соратников в годы, предшествующие Октябрю, и в первые месяцы жизни молодой Советской республики.

«Роман-газета» печатает произведения самые разнообразные не только по содержанию, но и по жанрам. Читатели помнят полные гражданского пафоса очерки В. Овечкина «Районные будни», лирические повести «Владимирские проселки» В. Солоухина, повесть в новеллах «Хлеб — имя существительное» М. Алексеева, «Липяги» С. Крутилина, написанные в форме записок учителя, страстную лирико-публицистическую книгу О. Берггольца «Дневные звезды», научно-фантастический роман «Туманность Андромеды» И. Ефремова и повесть Н. Амосова «Мысли и сердце», соединяющую строгую научность с художественным повествованием.

«Роман-газета» показывает широкую картину роста литературных сил нашей страны. По ее выпускам видно, что большая литература создается у нас повсюду, усилиями всех писателей, где бы они ни жили. «Роман-газета» привлекла к многомиллионному читателю талантливых прозаиков из разных концов советской земли: краснодарца Г. Федосеева, сибиряков С. Залыгина и А. Иванова, тбилисца Н. Думбадзе, рязанца В. Матушкина, В. Быкова из Гродно, алмаатинца А. Ананьева, Ф. Мухаммадиева из Душанбе, И. Рахима из Ташкента, саратовца Г. Коновалова и многих других писателей.

«Роман-газета» постоянно ведет поиски значительных и интересных книг, предвещая высокие требования к форме, стилю и языку публикуемых произведений; нередко они даются в новой редакции.

Большое внимание уделяется подготовке критико-библиографических очерков, сопровождающих очередные выпуски. В массовом многотиражном издании они должны быть надежным ориентиром для читателей, тем более что подчас это первое критическое суждение о писателе и его книге.

«Роман-газета», пожалуй, самый неутомимый путешественник из всех наших изданий: каждые две недели она отправляется в отдаленные уголки страны и несет туда новинки художественной литературы. Ее ждут с нетерпением. Свидетельством доверия к идейной направленности и художественному вкусу «Роман-газеты» стал непрерывный поток читательских писем, неуклонный рост тиражей — от 50 тысяч в первые годы ее существования до 3 миллионов в наши дни. Орбита распространения «Роман-газеты» — 83 страны мира. Ее выпускают люди разных профессий, национальностей и возрастов, различных вкусов и привычек. Читатели называют ее «журналом для всех».

Но популярность обязывает. Редакция неизменно прислушивается к мнению читателей, учитывает их пожелания и замечания. Полнее удовлетворяет возрастающие духовные запросы советских людей — вот основная задача издания, ставшего «последними известиями» художественной литературы.